МШолохов

2

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

Собрание сочинений

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

Собрание сочинений в восьми томах



Москва
«Художественная литература»
1985

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

Собрание сочинений

Том 2

ТИХИЙ ДОН

Роман в четырех книгах



Москва
«Художественная литература»
1985

Р2
Ш78

Составление
М. Манохиной

Оформление художника
Ю. Боярского

Шолохов М. А.
Ш78 Собрание сочинений. В 8-ми т. Т. 2. Тихий Дон: Роман в 4-х кн./Сост. М. Манохиной.— М.: Худож. лит., 1985.— 352 с., портр.

Во второй том вошел роман «Тихий Дон» (книга вторая).

Ш $\frac{\textbf{4702010200-127}}{\textbf{028(01)-85}}$ **подписное** **ББК 84Р7**
Р2

ТИХИЙ ДОН

Книга вторая

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Тысяча девятьсот шестнадцатый год. Октябрь. Ночь. Дождь и ветер. Полесье. Окопы над болотом, поросшим ольхой. Впереди проволочные заграждения. В окопах холодная слякоть. Меркло блестит мокрый щит наблюдателя. В землянках редкие огни. У входа в одну из офицерских землянок на минуту задержался приземистый офицер, скользя мокрыми пальцами по застежкам, он торопливо расстегнул шинель, стряхнул с воротника воду, наскоро вытер сапоги о втоптанный в грязь пучок соломы и только тогда толкнул дверь и, пригибаясь, вошел в землянку.

Желтый стяг света, падавшего от маленькой керосиновой лампы, маслено блеснул в лицо вошедшему. С дощатой кровати приподнялся офицер в распахнутой тужурке, провел рукою по всклокоченным седеющим волосам, зевнул.

— Дождь?

— Идет,— ответил гость и, раздевшись, повесил на гвоздь у входа шинель и обмякшую от влаги фуражку.— У вас тепло. Надышали.

— Мы недавно протопили. Скверно то, что выступает подпочвенная вода. Дождь, черти б его нюхали, выживает нас... а? Как вы думаете, Бунчук?

Потирая руки, Бунчук сгорбился, сел около печурки на корточки.

— Настил положите. В нашей землянке — красота: босым можно ходить. Где же Листницкий?

— Спит.

— Давно?

— Вернулся с обхода и лег.

— Будить пора?

— Валяйте. В шахматы поиграем.

Бунчук указательным пальцем смахнул с широких и густых бровей дождевую сырость,— не поднимая головы, тихонько окликнул:

— Евгений Николаевич!

— Спит,— вздохнул седоватый офицер.

— Евгений Николаевич!

— Ну? — Листницкий приподнялся на локте.

— В шахматы сыграем?

Листницкий свесил ноги, долго растирал розовой мягкой подушечкой ладони пухлую грудь.

К концу первой партии пришли офицеры пятой сотни — есаул Калмыков и сотник Чубов.

— Новость! — еще с порога крикнул Калмыков.— Полк, по всей вероятности, снимут.

— Откуда это? — недоверчиво улыбнулся седоватый подъесаул Меркулов.

— Не веришь, дядя Петя?

— Признаться, нет.

— По телефону передал командир батареи. Откуда он знает? Как же, ведь он вчера только из штаба дивизии.

— В баньке попариться не плохо бы.

Чубов, блаженно улыбаясь, сделал вид, будто хлещет себя по ягодицам веником. Меркулов засмеялся.

— В нашей землянке остается котел лишь поставить: воды хоть отбавляй.

— Мокро, мокро, хозяева,— брюзжал Калмыков, оглядывая бревенчатые стены и хлюпкий земляной пол.

— Болото под боком.

— Благодарите всевышнего, что сидите у болота, как у Христа за пазухой,— вмешался в разговор Бунчук.— На чистом наступают, а мы тут за неделю по обойме расстреливаем.

— Лучше наступать, чем гнить здесь заживо.

— Не для того держат казаков, дядя Петя, чтобы уничтожать их в атаках. Ты лицемерно наивничаешь.

— Для чего же, по-твоему?

— Правительство в нужный момент попытается, по старой привычке, опереться на плечо казака.

— Ересь несешь.— Калмыков махнул рукой.

— Как это — ересь?

— А так.

— Оставь, Калмыков! Истину нечего опровергать.

— Какая уж там истина...

— Да ведь это же общеизвестно. Что ты притворяешься?

— Внимание, гас-па-да афицеры! — крикнул Чубов и, театрально раскланиваясь, указал на Бунчука: — Хорунжий Бунчук сейчас начнет вещать по социал-демократическому сонпику.

— Петрушку валяете? — ломая глазами взгляд Чубова, усмехнулся Бунчук.— А впрочем, продолжайте — у всякого свое призванье. Я говорю, что мы не видим войны со средины прошлого года. С той поры, как только началась позиционная война, казачьи полки порассовали по укромным местам и держат под спудом до поры до времени.

— А потом? — спросил Листницкий, убирая шахматы.

— А потом, когда на фронте начнутся волнения,— а это неизбежно: война начинает солдатам надоедать, о чем свидетельствует увеличение числа дезертиров,— тогда подавлять мятежи, усмирять кинут казаков. Правительство держит казачье войско, как камень на палке. В нужный момент этим камнем оно попытается проломить череп революции.

— Увлекаешься, милейший мой! Предположения твои довольно-таки шатки. Прежде всего, нельзя предрешить ход событий. Откуда ты знаешь о будущих волнениях и прочем? А если мы предположим такую вещь: союзники разбивают немцев, война завершается блистательным концом,— тогда какую роль ты отводишь казачеству? — возразил Листницкий.

Бунчук скупо улыбнулся.

— Что-то не похоже на конец, а тем более блистательный.

— Кампанию затянули...

— И еще туже затянут,— пообещал Бунчук.

— Ты когда из отпуска? — спросил Калмыков.

— Позавчера.

Бунчук, округляя рот, вытолкнул языком клубочек дыма, бросил окурок.

— Где побывал?

— В Петрограде.

— Ну, каково там? Гремит столица? Э, черт, чего бы не дал, чтобы пожить там хоть недельку.

— Отрадного мало,— взвешивая слова, заговорил Бунчук.— Не хватает хлеба. В рабочих районах голод, недовольство, глухой протест.

— Благополучно мы не вылезем из этой войны. Как вы думаете, господа? — Меркулов вопрошающе оглядел всех.

— Русско-японская война породила революцию тысяча девятьсот пятого года,— эта война завершится новой революцией. И не только революцией, но и гражданской войной.

Листницкий, слушая Бунчука, сделал неопределенный жест, словно пытаясь прервать хорунжего на полуфразе, потом встал и зашагал по землянке, хмурясь. Он заговорил со сдержанной злобой:

— Меня удивляет то обстоятельство, что в среде нашего офицерства есть такие вот,— жест в сторону ссутулившегося Бунчука,— субъекты. Удивляет — потому, что до сих пор мне не ясно его отношение к родине, к войне... Однажды в разговоре он выразился очень туманно, но все же достаточно ясно для того, чтобы понять, что он стоит за наше поражение в этой войне. Так я тебя понял, Бунчук?

— Я — за поражение.

— Но почему? По-моему, каких бы ты ни был политических взглядов, но желать поражения своей родине — это... национальная измена. Это — бесчестье для всякого порядочного человека.

— Помните, думская фракция большевиков агитировала против правительства, тем самым содействуя поражению? — вмешался Меркулов.

— Ты разделяешь, Бунчук, их точку зрения? — задал вопрос Листницкий.

— Если я высказываюсь за поражение, то, следовательно, разделяю, и было бы смешно мне, члену РСДРП, большевику, не разделять точки зрения своей партийной фракции. Гораздо больше меня удивляет, Евгений Николаевич, что ты, человек интеллигентный, политически безграмотен...

— Я прежде всего преданный монарху солдат. Меня коробит один вид «товарищей социалистов».

«Ты прежде всего болван, а потом уж самодовольный солдафон»,— подумал Бунчук и загасил улыбку.

— Нет бога, кроме аллаха...

— В военной среде была исключительная обстановка,— словно извиняясь, вставил Меркулов,— мы все както в стороне стояли от политики, наша хата с краю.

Есаул Калмыков сидел, обминая вислые усы, остро поблескивая горячими монгольскими глазами. Чубов лежал на кровати и, вслушиваясь в голоса разговаривающих, рассматривал прибитый к стене, пожелтевший от табачного дыма рисунок Меркулова: полуголая женщина, с лицом Магдалины, томительно и порочно улыбаясь, смотрит на свою обнаженную грудь. Двумя пальцами левой руки она оттягивает коричневый сосок, мизинец настороженно отставлен, под опущенными веками тень и теплый свет зрачков. Чуть вздернутое плечо ее удерживает сползающую рубашку, во впадинах ключиц — мягкий пух света. Столько непринужденного изящества и подлинной правды было в позе женщины, так непередаваемо красочны были тусклые тона, что Чубов, непроизвольно улыбаясь, залюбовался мастерским рисунком, и разговор, достигая слуха, уже не проникал в его сознание.

— Вот хорошо-то! — отрываясь от рисунка, воскликнул он, и очень некстати, потому что Бунчук только что кончил фразой:

— ...царизм будет уничтожен, можете быть уверены!

Сворачивая папиросу, едко улыбаясь, Листницкий посматривал то на Бунчука, то на Чубова.

— Бунчук! — окликнул Калмыков.— Подождите, Листницкий!.. Бунчук, слышите!.. Ну хорошо, допустим, что эта война превратится в гражданскую войну... потом что? Ну, свергнете вы монархию... какое же, по-вашему, должно быть правление? Власть-то какая?

— Власть пролетариата.

— Парламент, что ли?

— Мелко! — улыбнулся Бунчук.

— Что же именно?

— Должна быть рабочая диктатура.

— Вон ка-ак!.. А интеллигенции, крестьянству какая же роль?

— Крестьянство пойдет за нами, часть мыслящей интеллигенции тоже, а остальных... а с остальными мы вот что сделаем...— Бунчук быстрым жестом скрутил в тугой жгут какую-то бумагу, бывшую у него в руках, потряс ею, процедил сквозь зубы: — Вот что сделаем!

— Высоко вы летаете...— усмехнулся Листницкий.

— Высоко и сядем,— докончил Бунчук.

— Соломки надо заранее постелить...

— За каким же чертом вы добровольно отправились на фронт и даже выслужились до офицерского чина? Как это

совместить с вашими воззрениями? Удиви-тель-но! Человек против войны... хе-хе... против уничтожения своих этих... классовых братьев — и вдруг... хорунжий!

Калмыков, шлепнув ладонями по голенищам сапог, искренне расхохотался.

— Сколько вы немецких рабочих извели со своей пулеметной командой? — спросил Листницкий.

Бунчук вынул из бокового кармана шинели большой сверток бумаг, долго рылся в нем, стоя спиной к Листницкому, и, подойдя к столу, разгладил широкой, жилистой ладонью пожелтевший от старости газетный лист.

— Сколько немецких рабочих я перестрелял — это... вопрос... Ушел-то я добровольно потому, что все равно и так взяли бы. Думаю, что те знания, которые достал тут, в окопах, пригодятся в будущем... в будущем. Вот тут сказано...— И он прочитал слова Ленина:

— «Возьмем современное войско. Вот — один из хороших образчиков организации. И хороша эта организация только потому, что она — *гибка*, умея вместе с тем миллионам людей давать *единую волю*. Сегодня эти миллионы сидят у себя по домам, в разных концах страны. Завтра приказ о мобилизации — и они собрались в назначенные пункты. Сегодня они лежат в траншеях, лежат иногда месяцами. Завтра они в другом порядке идут на штурм. Сегодня они проявляют чудеса, прячась от пуль и от шрапнели. Завтра они проявляют чудеса в открытом бою. Сегодня их передовые отряды кладут мины под землей, завтра они передвигаются на десятки верст по указаниям летчиков над землей. Вот это называется организацией, когда во имя одной цели, одушевленные одной волей, миллионы людей меняют форму своего общения и своего действия, меняют место и приемы деятельности, меняют орудия и оружия сообразно изменяющимся обстоятельствам и запросам борьбы.

То же самое относится к борьбе рабочего класса против буржуазии. Сегодня нет налицо революционной ситуации...»

— А что такое «ситуация»? — перебил Чубов.

Бунчук пошевелился, как только что оторванный от сна, и, пытаясь понять вопрос, тер суставом большого пальца шишкастый лоб.

— Я спрашиваю, что значит слово «ситуация»?

— Понимать — я понимаю, а вот объяснить дельно не сумею...— Бунчук улыбнулся ясной, простой, ребяческой

улыбкой; странно было видеть ее на крупном угрюмом лице, будто по осеннему, тоскливому от дождей полю прожег, взбрыкивая и играя, светло-серый сосунок-зайчишка.— Ситуация — это положение, обстановка, что ли,— в этом роде. Так я говорю?

Листницкий неопределенно мотнул головой.

— Читай дальше.

— «Сегодня нет налицо революционной ситуации, нет условий для брожения в массах, для повышения их активности, сегодня тебе дают в руки избирательный бюллетень — бери его, умей организоваться для того, чтобы бить им своих врагов, а не для того, чтобы проводить в парламент на теплые местечки людей, цепляющихся за кресло из боязни тюрьмы. Завтра у тебя отняли избирательный бюллетень, тебе дали в руки ружье и великолепную, по последнему слову машинной техники оборудованную скорострельную пушку,— бери эти орудия смерти и разрушения, не слушай сентиментальных нытиков, боящихся войны; на свете еще слишком много осталось такого, что должно быть уничтожено огнем и железом для освобождения рабочего класса, и, если в массах нарастает злоба и отчаяние, если налицо революционная ситуация, готовься создать новые организации и *пустить в ход* столь полезные орудия смерти и разрушения *против своего* правительства и *своей* буржуазии...»

Бунчук еще не кончил читать, как в землянку, постучавшись, вошел вахмистр пятой сотни.

— Ваш благородье,— обратился он к Калмыкову,— из штаба полка ординарец.

Калмыков и Чубов, одевшись, ушли. Меркулов, насвистывая, сел рисовать. Листницкий все так же ходил по землянке, пощипывая усики, что-то обдумывая. Вскоре, распрощавшись, ушел и Бунчук. Он пробирался по залитому грязью ходу сообщения, придерживая левой рукой воротник, правой запахивая полы шинели. Ветер струею бил по узкому канальцу хода; цепляясь за уступы, свистал и кружился. Чему-то смутно улыбался шагавший в темноте Бунчук. Он добрался до своей землянки, вновь весь пропитанный дождевой сыростью и запахом изопревшей ольховой листвы. Начальник пулеметной команды спал. На смуглом черноусом лице его синели следы, оставленные бессонницей (три ночи резался в карты). Бунчук порылся в своем оставшемся от прежних времен солдатском мешке, возле дверей сжег кучку бумаг, сунул в карманы

шаровар две банки консервов и несколько горстей револьверных патронов, вышел. В распахнутую на секунду дверь ворвался ветер, разметал серый пепел, оставшийся от сожженных у порога бумаг, потушил чадившую лампочку.

После ухода Бунчука Листницкий минут пять ходил молча, потом подошел к столу. Меркулов, косо наклонив голову, рисовал. Тонко очиненный карандаш стлал дымчатые тени. Лицо Бунчука, перерезанное обычной для него скупой, словно вынужденной улыбкой, смотрело с белого квадрата бумаги.

— Сильная морда,— отводя руку с рисунком, сказал Меркулов и поднял на Листницкого глаза.

— Ну, как? — спросил тот.

— Черт его знает! — догадываясь о существе вопроса, ответил Меркулов.— Парень он странный, теперь объяснился, и многое стало ясным, а раньше я не знал, как его расшифровать. Знаешь, ведь он огромным успехом пользуется у казаков, в особенности у пулеметчиков. Ты не замечал этого?

— Да,— как-то неопределенно ответил Листницкий.

— Пулеметчики — все поголовно большевики. Он их сумел настроить. Я поразился, что он раскрыл нынче свои карты. Для чего? Назло говорил, ей-богу! Знает, что взглядов этих из нас никто не может разделять, а для чего-то разоткровенничался. Ведь он не из горячих. Опасный тип.

Рассуждая о странном поведении Бунчука, Меркулов отложил рисунок, стал раздеваться. Сырые чулки повесил на печурку, завел часы и, выкурив папироску, лег. Вскоре уснул. Листницкий сел на табурет, на котором за четверть часа до этого сидел Меркулов,— на обратной стороне рисунка, ломая остро очиненное жало карандаша, размашисто написал:

«Ваше Высокоблагородие!

Те предположения, которые сообщал я Вам ранее, сегодня полностью подтвердились. Хорунжий Бунчук в сегодняшней беседе с офицерами нашего полка (присутствовали, помимо меня, пятой сотни есаул Калмыков, сотник Чубов, третьей сотни подъесаул Меркулов), с целями, которые, признаюсь, мне не совсем понятны, разъяснил те задачи, которые выполняет он, согласно своим полити-

ческим убеждениям и, наверное, по заданию партийной власти. При нем был сверток бумаг запретного характера. Так, например, он читал отрывки из своего партийного органа «Коммунист», издающегося в Женеве. Хорунжий Бунчук, несомненно, ведет подпольную работу в нашем полку (есть предположения, что поэтому он и поступил в полк вольноопределяющимся), пулеметчики были прямым объектом его агитации. Они разложены. Вредное влияние его сказывается на моральном состоянии полка — были случаи отказов от выполнения боевых задач, о чем я своевременно уведомлял ООШД [1], и т. д.

Хорунжий Бунчук на днях возвратился из отпуска (был в Петрограде), в изобилии снабженный разрушительной литературой; теперь он с большей интенсивностью попытается развернуть работу.

Резюмируя все вышеизложенное, прихожу к выводам: а) виновность хорунжего Бунчука установлена (гг. офицеры, присутствовавшие при разговоре с ним, могут под присягой подтвердить сообщаемое мною); б) теперь же необходимо, в целях пресечения его революционной деятельности, арестовать его и предать военно-полевому суду; в) срочно надо перетрясти пулеметную команду, изъять особо опасных, а остальных или отправить в тыл, или распылить по полкам.

Прошу не забывать о моем искреннем стремлении служить на пользу Родине и Монарху. Копию данного письма направляю С. Т. Корп.

Есаул *Евг. Листницкий.*

20 октября 1916 г.
Участок № 7».

Наутро Листницкий отправил с вестовым в штаб дивизии донесение; позавтракав, вышел из землянки. За осклизлой стеной бруствера над болотом качался туман, хлопья его висели, словно пригвожденные к колючкам проволочных заграждений. На дне траншей на полвершка стояла жидкая грязь. Из бойниц выползали коричневые ручейки. Казаки, в мокрых, измазанных шинелях, кипятили на щитах котелки с чаем, курили, сидя на корточках, прислонив к стене винтовки.

---

[1] ООШД — особый отдел штаба дивизии.

— Сколько раз говорено, чтобы на щитах не смели разводить огня! Что вы, сволочи, не понимаете? — злобно крикнул Листницкий, доходя до первой группы сидевших вокруг дымного огонька казаков.

Двое нехотя встали, остальные продолжали сидеть, подобрав полы шинелей, покуривая. Смуглый бородатый казак, с серебряной серьгой, болтавшейся в морщеной мочке уха, ответил, подсовывая под котелок пучок мелкого хвороста:

— Душой рады бы без щита обойтиться, да как его, ваше благородие, разведешь, огонек-то? Гля, сколь тут воды! Чуть не на четверть.

— Сейчас же вынь щит!

— Что же нам, значится, голодными сидеть?! Та-а-ак...— хмурясь и глядя в сторону, сказал широколицый рябой казак.

— Я тебе поговорю... Снимай щит! — Листницкий носком сапога выбросил из-под котелка горевший хворост.

Бородатый казак с серьгой, смущенно и озлобленно улыбаясь, выплеснул из котелка горячую воду, шепнул:

— Попили чайку, ребяты...

Казаки молча провожали глазами уходившего по линии есаула. Во влажном взгляде бородатого дрожали огневые светлячки.

— Обидел, сука!

— Э-э-эх!..— протяжно вздохнул один, вскидывая на плечо ремень винтовки.

На участке четвертого взвода Листницкого догнал Меркулов. Он подошел, запыхавшись, поскрипывая новенькой кожаной тужуркой, от него резко пахло махорочным перегаром. Отозвав Листницкого в сторону, дыхнул скороговоркой:

— Слышал новость? Бунчук-то этой ночью дезертировал.

— Бунчук? Что-о-о?

— Дезертировал... Понимаешь? Игнатьич, начальник пулеметной команды,— ведь он в одной землянке с Бунчуком,— говорит, что он не приходил от нас. Значит, как вышел от нас, так и махнул... Вот оно что.

Листницкий долго протирал пенсне, щурился.

— Ты как будто взволнован? — Меркулов испытующе посмотрел на него.

— Я? Ты что, в уме? Отчего бы это я был взволнован? Просто ты огорошил меня неожиданностью.

II

На другой день утром смущенный вахмистр вошел в землянку Листницкого; помявшись, сообщил:

— Нынче утром казаки, ваше благородие, нашли в окопах вот эти бумажонки. Неловко так-то... Я вот и пришел доложить вам. А то как бы какого греха не нажить...

— Какие бумажонки? — приподнимаясь с койки, спросил Листницкий.

Вахмистр подал скомканные в кулаке листики. На четвертке дешевой бумаги четко рябили размноженные пишущей машинкой слова. Листницкий прочитал залпом:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ТОВАРИЩИ СОЛДАТЫ!

Два года длится проклятая война. Два года вы изнываете в траншеях, защищая чуждые вам интересы. Два года льется кровь рабочих и крестьян всех наций. Сотни тысяч убитых и искалеченных, сотни тысяч сирот и вдов — вот результаты этой бойни. За что вы воюете? Чьи интересы вы защищаете? Царское правительство поставило под огонь миллионы солдат, для того чтобы захватить новые земли и угнетать население этих земель так, как угнетаются порабощенные Польша и другие национальности. Мировые промышленники не поделят рынки, где они могли бы сбывать продукцию своих фабрик и заводов; не поделят барыши,— раздел производится вооруженной силой,— и вы, темные люди, в борьбе за их интересы идете на смерть, убиваете таких же тружеников, как и вы сами.

Довольно пролитой братской крови! Опомнитесь, трудящиеся! Враг ваш не австрийский и немецкий солдат, такой же обманутый, как и вы, а собственный царь, собственный промышленник и помещик. Против них поверните ваши винтовки. Братайтесь с немецкими и австрийскими солдатами. Через проволочные заграждения, которыми, как зверей, отделили вас друг от друга, протяните друг другу руки. Вы — братья по труду, на руках ваших еще не зажили следы кровавых мозолей труда, делить вам нечего. Долой самодержавие! Долой империалистическую войну! Да здравствует нерушимое единство трудящихся всего мира!

Последние строки Листницкий прочитал задыхаясь. «Вот оно. Начинается!» — подумал он, охваченный ненавистью и сдавленный тяжестью надвинувшихся предчувствий. Созвонившись по телефону с командиром полка, Листницкий сообщил о случившемся.

— Что прикажете сделать, ваше превосходительство? — спросил под конец.

Сквозь комариное нытье и далекие звонки телефона из трубки сгустками падали слова генерала:

— Сейчас же с вахмистром и взводными офицерами произвести обыск. Поголовный, не исключая и самих офицеров. Сегодня запрошу штаб дивизии, когда они думают сменить полк. Потороплю их. Если при обыске что-либо обнаружите — сообщите немедленно.

— Я полагаю, что это — работа пулеметчиков.

— Да? Сейчас же прикажу Игнатьичу обыскать своих казаков. Всего доброго.

Собрав в свою землянку взводных офицеров, Листницкий сообщил им о приказе командира полка.

— Что за безобразие! — возмутился Меркулов.— Что же, мы друг друга будем обыскивать?

— Вас первого, Листницкий! — крикнул молодой безусый сотник Раздорцев.

— Давайте жребий метнем.

— По алфавиту.

— Господа, шутки в сторону,— строго перебил Листницкий.— Старик наш, конечно, пересолил: офицеры в нашем полку — как жена Цезаря [1]. Был один лишь — хорунжий Бунчук, да и тот дезертировал, а вот казаков надо пощупать. Позовите вахмистра.

Пришел вахмистр — немолодой уже казак, георгиевский кавалер трех степеней. Покашливая, он оглядел офицеров.

— Кто у тебя в сотне из подозрительных? Кто, думаешь, мог бы разбросать эти воззвания? — обратился к нему Листницкий.

— Нету таких, ваш бла'родие,— уверенно ответил вахмистр.

— Однако ведь воззвание на участке нашей сотни? Кто из чужих был в траншеях?

— Никого чужих не было. Из иных сотен не было.

— Пойдемте стричь всех подряд.— Меркулов махнул рукой, направляясь к выходу.

Обыск начался. Лица казаков выражали разнородные чувства: одни хмурились, недоумевая, другие испуганно поглядывали на офицеров, рывшихся в скудных казачьих пожитках, третьи посмеивались. Молодцеватый урядник, разведчик, спросил:

---

[1] Листницкий имеет в виду ставшие поговоркой слова, которыми будто бы ответил Юлий Цезарь на высказанные ему подозрения относительно поведения его жены: «Жена Цезаря — выше подозрений».

— Да вы скажите, что́ ищете? Ежели покража какая — может, кто у кого видал.

Обыск не дал никаких результатов. У одного лишь казака первого взвода нашли в кармане шинели скомканный листок воззвания.

— Читал? — спросил Меркулов, с комическим испугом бросая вынутый листок.

— На курево поднял,— не поднимая опущенных глаз, улыбнулся казак.

— Ты чему улыбаешься? — запальчиво крикнул Листницкий, багровея, подступая к казаку; под пенсне его нервно помигивали короткие золотистые ресницы.

Лицо казака сразу стало серьезным, улыбку — как ветер стряхнул.

— Помилуйте, ваше благородие! Да я почти что неграмотный! Читаю вовсе тупо. А поднял затем, что бумаги на завертку нету, табак есть, а бумажка вышла, вот и поднял.

Казак говорил обиженно-громким голосом, в нотках его звучало озлобление.

Плюнув, Листницкий отошел. За ним потянулись офицеры.

Через день полк сняли с позиций и отвели в тыл, верст за десять. Из пулеметной команды двоих арестовали и предали военно-полевому суду, остальных — часть отправили в запасные полки, часть разбросали по полкам 2-й казачьей дивизии. За несколько дней отдыха полк привел себя в относительный порядок. Казаки вымылись, вычистились, побрились тщательно — не так, как в окопах, где зачастую освобождались от растительности на щеках простым, но болезненным способом: волосы поджигались спичкой, и едва лишь огонь, слизывая щетину, добирался до кожи,— по щеке проводили заранее смоченным полотенцем. Способ этот именовался «свинячьим».

— Тебя по-свинячьи обрить али как? — спрашивал какой-нибудь взводный парикмахер у клиента.

Полк отдыхал. Казаки наружно стали щеголеватей, веселей, но Листницкий да и все офицеры знали, что веселость эта — как погожий день в ноябре: нынче есть, а завтра нет. Стоило заикнуться о выступлении на позиции, как сразу менялось выражение лиц и под опущенными веками растекались недовольство, угрюмая неприязнь. Чувствовалась смертельная усталость, надорванность, и усталость-то эта рождала моральную неустойчивость.

Листницкий великолепно знал, как страшен бывает человек, когда в таком состоянии рвется к какой-либо цели.

В 1915 году на его глазах рота солдат пять раз ходила в атаку, неся небывалый урон и получая повторные приказы: «Атаку возобновить». Остатки роты самовольно снялись со своего участка и пошли в тыл. Листницкий с сотней получил приказ задержать их, и когда он, рассыпав сотню цепью, попытался прекратить движение, в них начали стрелять. От роты осталось не больше шестидесяти человек, и он видел, с какой безумно-отчаянной храбростью защищались эти люди от казаков, никли под сабельными ударами, умирали, а лезли напролом, на гибель, уничтожение, решив, что все равно, где принимать смерть.

Грозным напоминанием вставал в памяти этот случай, и Листницкий с волнением и по-новому всматривался в лица казаков, думал: «Неужели и эти когда-нибудь вот так же повернут и пойдут, и ничто, кроме смерти, не в силах будет их удержать?» И, сталкиваясь с усталыми, озлобленными взглядами, честно решал: «Пойдут!»

Коренным образом изменились казаки по сравнению с прошлыми годами. Даже песни — и те были новые, рожденные войной, окрашенные черной безотрадностью. Вечерами, проходя мимо просторного заводского сарая, где селилась сотня, Листницкий чаще всего слышал одну песню, тоскливую, несказанно грустную. Пели ее всегда в три-четыре голоса. Над густыми басами, взлетывая, трепетал редкой чистоты и силы тенор подголоска:

Ой, да разродимая моя сторонка,
Не увижу больше я тебя.
Не увижу, голос не услышу
На утренней зорьке в саду соловья.
А ты, разродимая моя мамаша,
Не печалься дюже обо мне.
Ведь не все же, моя дорогая,
Умирают на войне.

Листницкий, останавливаясь, прислушивался и чувствовал, что и его властно трогает бесхитростная грусть песни. Какая-то тугая струна натягивалась в учащающем удары сердце, низкий тембр подголоска дергал эту струну, заставлял ее больно дрожать. Листницкий стоял где-нибудь неподалеку от сарая, вглядывался в осеннюю хмарь вечера и ощущал, что глаза его увлажняются слезой, остро и сладко режет веки.

Еду, еду по чистому полю.
Сердце чувствует во мне,
Ой, да сердце чует, оно предвещает —
Не вернуться молодцу домой.

Басы еще не обрывали последних слов, а подголосок уже взметывался над ними, и звуки, трепеща, как крылья белогрудого стрепета в полете, торопясь, звали за собой, рассказывали:

Просвистела пуля свинцовая,
Поразила грудь она мою.
Я упал коню своему на шею,
Ему гриву черну кровью обливал...

За время стоянки на отдыхе единственный раз услышал Листницкий подмывающие, бодрящие слова старинной казачьей песни. Совершая обычную вечернюю прогулку, он шел мимо сарая. До него донеслись полухмельные голоса и хохот. Листницкий догадался, что каптенармус, ездивший в местечко Незвиску за продуктами, привез оттуда самогонки и угостил казаков. Подвыпившие житной водки казаки о чем-то спорили, смеялись. Возвращаясь с прогулки, Листницкий еще издали услышал мощные раскаты песни и дикий, пронзительный, но складный присвист:

На войне кто не бывал,
Тот и страху не видал.
День мы мокнем, ночь дрожим,
Всею ноченьку не спим.

«Фи-ю-ю-ю-ю-ю-ю! Фи-ю-ю-ю-ю-ю-ю! Фю-ю-ю!» — сплошной вибрирующей струей тек, спиралью вился высвист, и, покрывая его, гремело, самое малое, голосов тридцать:

В чистом поле страх и горе
Каждый день, каждый час.

Какой-то озорник, видно из молодых, оглушительно и коротко высвистывая, бил по деревянному настилу пола вприсядку. Четко раздавались удары каблуков, заглушаемые песней:

Море Черное шумит.
В кораблях огонь горит.
Огонь тушим,
Турок душим,
Слава донским казакам!

Листницкий шел, непроизвольно улыбаясь, норовя шагать в такт голосам. «Быть может, в пехотных частях не так резко ощущается эта тяга домой,— думал он. Но рассудок подсовывал холодные возражения: — А в пехоте разве иные люди? Несомненно, казаки болезненней реагируют на вынужденное сиденье в окопах — по роду службы привыкли к постоянному движению. А тут в течение двух лет приходится отсиживаться или топтаться на месте в бесплодных попытках наступления. Армия слаба, как никогда. Нужны сильная рука, крупный успех, движение вперед — это встряхнуло бы. Хотя история знает такие примеры, когда в эпоху затяжных войн самые устойчивые и дисциплинированные войска расшатывались морально. Суворов — и тот испытал на себе... Но казаки будут держаться. Если и уйдут, то последними. Все же это — маленькая обособленная нация, по традиции воинственная, а не то что какой-либо фабричный или мужицкий сброд».

Словно желая разубедить его, в сарае чей-то надтреснутый ломкий голос затянул «Калинушку». Голоса подхватили, и Листницкий, уходя, слышал все ту же тоску, перелитую в песнь:

Офицер молодой богу молится.
Молодой казак домой просится:
— Ой, да офицер молодой,
Отпусти меня домой,
Отпусти меня домой
К отцу,
К отцу, матери родной.
К отцу, матери родной
Да к женепке молодой.

* * *

Через три дня, после того как бежал с фронта, вечером Бунчук вошел в большое торговое местечко, лежавшее в прифронтовой полосе. В домах уже зажгли огни. Морозец затянул лужи тонкой коркой льда, и шаги редких прохожих слышались еще издали. Бунчук шел, чутко вслушиваясь, обходя освещенные улицы, пробираясь по безлюдным проулкам. При входе в местечко он едва не наткнулся на патруль и теперь шел с волчьей тороп-

костью, прижимаясь к заборам, не вынимая правой руки из кармана невероятно измазанной шинели: день лежал, зарывшись в стодоле в мякину.

В местечке находилась база корпуса, стояли какие-то части, была опасность нарваться на патруль, поэтому-то волосатые пальцы Бунчука и грели неотрывно рубчатую рукоять нагана в кармане шинели.

На противоположном краю местечка Бунчук долго ходил по пустому переулку, засматривая в ворота, изучающе разглядывая форму каждого бедного домишка. Минут через двадцать подошел к угловому неказистому домику, заглянул в щель ставни и, улыбнувшись, решительно вошел в калитку. На стук ему отворила пожилая, в платке, женщина.

— Борис Иванович у вас на квартире? — спросил Бунчук.

— Да. Проходите, пожалуйста.

Бунчук боком протиснулся мимо нее. Услышал позади холодный лязг щеколды. В низенькой комнате, освещенной крохотной лампенкой, за столом сидел немолодой, в военной форме человек. Жмурясь, он вгляделся и встал, со сдержанной радостью протягивая Бунчуку руки.

— Откуда?

— С фронта.

— Ну?

— Видишь вот...— улыбнулся Бунчук и, тронув концом пальца солдатский ремень человека в военном, невнятно сказал: — Комната есть?

— Да, да. Проходи сюда вот.

Он ввел Бунчука в еще меньшую комнату; не зажигая огня, усадил его на стул и, притворив дверь в соседнюю комнату, задернув окно занавеской, сказал:

— Ты совсем?

— Совсем.

— Как там?

— Все готово.

— Надежные ребята?

— О да.

— Я думаю, ты сейчас разденешься, а потом мы поговорим. Давай твою шинель. Я сейчас принесу умыться.

Пока Бунчук умывался над позеленевшим медным тазом, человек в военном, поглаживая остриженные ежиком волосы, говорил устало и тихо:

— Сейчас они неизмеримо сильнее нас. Наше дело — расти, расширять свое влияние, работать не покладая рук над разъяснением истинных причин войны. И мы растем,— можешь быть уверен в этом. И то, что отходит от них, неизбежно приходит к нам. Взрослый человек по сравнению с мальчиком безусловно сильнее, но когда этот взрослый стареет, становится дряхлым, то этот же хлопец уберет его. А в этом случае мы видим не только старческую дряхлость, но и прогрессирующий паралич всего организма.

Бунчук кончил умыванье и, растирая лицо черствым холстинным полотенцем, сказал:

— Я перед уходом высказал офицерикам свои взгляды... Знаешь, смешно так вышло... После моего ухода пулеметчиков, несомненно, будут трясти, может быть, кто-либо из ребят под суд пойдет, но раз доказательств нет, какой разговор? Я надеюсь, что их рассеют по разным частям, а нам это на руку: пусть оплодотворяют почву... Ах, какие ребятки там есть! Кремневой породы.

— Я получил от Степана записку. Просит прислать парня, знающего в военном деле. Ты поедешь к нему. Но вот как с документами? Удастся ли?

— Какая работа у него? — спросил Бунчук и поднялся на цыпочки, вешая на гвоздь полотенце.

— Инструктировать ребят. А ты все не растешь? — улыбнулся хозяин.

— Незачем,— отмахнулся Бунчук.— Особенно при теперешнем моем положении. Мне надо быть с гороховый стручок ростом, чтобы не так заметно было.

Они проговорили до серой зорьки. А через день Бунчук, переодетый и подкрашенный до неузнаваемости, с документами на имя солдата 441-го Оршанского полка Николая Ухватова, получившего чистую отставку по случаю ранения в грудь, вышел из местечка, направляясь на станцию.

III

На Владимиро-Волынском и Ковельском направлениях, в районе действий Особой армии (армия была по счету тринадцатой, но так как «13» — цифра несчастливая, а суеверием страдали и большие генералы, то армию наименовали «Особой»), в последних числах сентября нача-

лась подготовка к наступлению. Неподалеку от деревни Свинюхи командованием был избран плацдарм, удобный для развертывания наступления, и артиллерийская подготовка началась.

Небывалое количество артиллерии было стянуто к указанному месту. Сотни тысяч разнокалиберных снарядов в течение девяти дней месили пространство, занятое двумя линиями немецких окопов. В первый же день, как только начался интенсивный обстрел, немцы покинули первую линию окопов, оставив одних наблюдателей. Через несколько дней они бросили и вторую линию, перейдя на третью.

На десятый день части Туркестанского корпуса, стрелки, пошли в наступление. Наступали французским способом — волнами. Шестнадцать волн выплеснули русские окопы. Колыхаясь, редея, закипая у безобразных комьев смявшейся колючей проволоки, накатывались серые волны людского прибоя. А с немецкой стороны, оттуда, из-за обугленных пней сизого ольшаника, из-за песчаных сгорбленных увалов, рвало, трясло, взметывало и полыхало густым беспрерывным гулом, трескучим пожаром выстрелов.

Гууууу... Гууууу... Гук! Гак! Буууууу-м!

Изредка прорывался залп отдельной батареи и снова полз, подступал, полонил многоверстную округу:

Гууууу... Гууууу... Гууууу...

Трррррааа-ррааа-та-та-та-та! — безумно спешили немецкие пулеметы.

На пространстве с версту в поперечнике на супесной изуродованной земле вихрем рвались черные столбы разрывов, и волны наступающих дробились, вскипали, брызгами рассыпались от воронок и все ползли, ползли...

Все чаще месили землю черные вспышки разрывов, гуще поливал наступающих косой, резучий визг шрапнели, жестче хлестал приникающий к земле пулеметный огонь. Били, не подпуская к проволочным заграждениям. И не подпустили. Из шестнадцати волн докатились три последних, а от изуродованных проволочных заграждений, поднявших к небу опаленные укрепы на скрученной проволоке, словно разбившись о них, стекали обратно ручейками, каплями...

Девять с лишним тысяч жизней выплеснули в тот день на супесную невеселую землю неподалеку от деревни Свинюхи.

Через два часа наступление возобновилось сызнова. Пошли части 2-й и 3-й дивизий Туркестанского стрелкового корпуса. Левее по щелям стягивались к первой линии окопов части 53-й пехотной дивизии и 307-я Сибирская стрелковая бригада, на правом фланге туркестанцев шли батальоны 3-й гренадерской дивизии.

Командир 30-го армейского корпуса Особой армии, генерал-лейтенант Гаврилов получил из штабарма приказ перебросить в район Свинюхи две дивизии. Ночью были сняты с позиций 320-й Чембарский, 319-й Бугульминский и 318-й Черноярский полки 80-й дивизии. Их заменили латышскими стрелками и только что прибывшими ополченцами. Полки сняли ночью, но, несмотря на это, один из полков был еще с вечера демонстративно двинут в противоположную сторону и, только сделав переход в двенадцать верст по линии фронта, получил приказ повернуть в обратную сторону. Полки шли в одном направлении, но разными дорогами. Левее маршрута 80-й дивизии передвигались 283-й Павлоградский и 284-й Венгровский полки 71-й дивизии. По пятам за ними шел полк уральских казаков и 44-й пластунский.

318-й Черноярский полк до переброски стоял у реки Стоход, в районе местечка Сокаль, неподалеку от фольварка Рудка-Меринское. Наутро, после первого же перехода, полк разместили в лесу, в брошенных землянках, и четыре дня обучали французскому способу наступления; вместо батальонов в цепи шли полуроты, бомбометчики учились с наивозможнейшей быстротой резать проволочные заграждения, вновь проходили курс метания ручных гранат. Потом опять тронули полк. В течение трех дней шли по лесам, по прогалинам, по одичалым проселкам, исполосованным следами орудийных колес. Хлопчатый редкий туман, движимый ветром, плыл, цепляясь за верхушки сосен, тек над прогалинами и, как коршун над падалью, кружился между ольхами над сизой прозеленью парных болот. С неба сочилась дождевая мгла. Люди шли промокшие, озлобленные. Через три дня остановились неподалеку от района наступления — в деревнях Большие и Малые Порек. Отдыхали, готовясь к смертной дороге, сутки.

В это время вместе со штабом 80-й дивизии передвигалась к месту близких боев и особая казачья сотня. В сотню влили казаков-третьеочередников с хутора Татарского. Второй взвод сплошь состоял из хуторцев: два брата без-

рукого Алексея Шамиля — Мартин и Прохор, бывший машинист моховской паровой мельницы Иван Алексеевич, щербатый Афонька Озеров, бывший хуторской атаман Маныцков, колченогий чубатый сосед Шамилей — Евлантий Калинин, нескладно длинный казачина Борщев, короткошеий и медвежковатый Захар Королев, веселая сердцевина всей сотни Гаврила Лиховидов — казак на редкость зверского вида, известный тем, что постоянно и безропотно сносил побои семидесятилетней старухи матери и жены — бабы неказистой, но вольного нрава; и многие другие были во втором взводе и остальных взводах сотни. Часть казаков была ординарцами при штабе дивизии, но 2 октября их сменили уланы, и сотня, по распоряжению начдива генерала Китченко, была послана на позиции.

Ранним утром 3 октября сотня вошла в деревню Малые Порек. Оттуда в этот момент выступал первый батальон 318-го Черноярского полка. Солдаты, выбегая из покинутых, полуразрушенных халуп, строились тут же на улице. Около головного взвода топтался смуглый молоденький прапорщик. Он развертывал, вынимая из планшетки, шоколад (мокрые ярко-розовые губы его по краям были измазаны шоколадом), ходил вдоль колонны, и захлюстанная длинная шинель с присохшей к подолу грязью болталась меж ног, как овечий курдюк. Казаки шли левой стороной улицы. В одном из рядов второго взвода, крайним справа, шагал машинист Иван Алексеевич. Он тщательно смотрел под ноги, норовя переступать колдобины лужиц. Его окрикнули со стороны солдат, и он повернул голову, заскользил глазами по пехотным рядам.

— Иван Алексеевич! Друг милый!..

Оторвавшись от взвода, к нему утиной рысью бежал маленький солдатишка. На бегу он откидывал назад винтовку, но ремень сползал, и приклад глухо вызванивал по манерке.

— Не угадаешь? Забыл?

В подбежавшем солдатишке, заросшем до скул ежистой дымчато-серой щетиной, Иван Алексеевич с трудом опознал Валета.

— Откуда ты, шкалик?..

— А вот... Служу.

— Да ты в каком полку?

— В Триста восемнадцатом Черноярском. Не чаял... не чаял, что со своими встречусь.

Иван Алексеевич, не выпуская из жесткой ладони маленькой грязной руки Валета, радостно и взволнованно улыбался. Валет, поспешая за его крупным шагом, перебивал на рысь, снизу вверх засматривал Ивану Алексеевичу в глаза, и взгляд его узко посаженных злых глазок был небывало мягок, влажен.

— В наступление идем... Видишь...

— Мы сами туда.

— Ну, как ты, Иван Алексеевич?

— Эх, об чем речь-то!

— Вот и я так. С четырнадцатого не вылазию из окопов. Ни угла, ни семьи не было, а вот за кого-то пришлось натдуваться... Кобыла — за делом, а жеребенок — так.

— Штокмана-то помнишь? Ягодка — наш Осип Давыдович! Он бы теперь нам все разложил. Человек-то... а? Каков был... а?

— Он бы расшифровал! — в восторге закричал Валет, потрясая кулачком и морща в улыбке крохотную ежиную мордочку.— Помню об нем! Я об нем более отца понимаю. Отец-то мне дешево стоил... А не слыхать об нем? Нету слуха?

— В Сибири он,— вздохнул Иван Алексеевич.— Отсиживает.

— Как? — переспросил Валет, синичкой подпрыгивая рядом с большим своим спутником, наставляя острый хрящ уха.

— Сидит в тюрьме. А может, и помер теперь.

Валет некоторое время шел молча, поглядывая то назад, где строилась рота, то на крутой подбородок Ивана Алексеевича, на глубокую круглую ямку, приходившуюся как раз под срединой нижней губы.

— Прощай,— сказал он, высвобождая руку из холодных мослаков Ивана Алексеевича.— Должно, не свидимся.

Тот снял левой рукой фуражку и нагнулся, обнимая сухонькие плечи Валета. Поцеловались крепко, прощаясь словно навсегда, и Валет отстал. Он вдруг суетливо втянул голову в плечи, так что над серым воротником солдатской шинели торчали лишь смугло-розовые острые хрящи ушей, пошел, горбатясь и спотыкаясь на ровном.

Иван Алексеевич выступил из рядов, окликнул с дрожью в голосе:

— Эй, браток, кровинушка родимая! Ты ить злой был... помнишь? Крепкий был... а?

Валет повернул постаревшее от слез лицо, крикнул и застучал кулаком по смуглой реброватой груди, видневшейся из-под распахнутой шинели и разорванного ворота рубахи:

— Был! Был твердым, а теперь помяли!.. Укатали сивку!..

Он еще что-то кричал, но сотня свернула на следующую улицу, и Иван Алексеевич потерял его из виду.

— Ить это Валет? — спросил его шагавший позади Прохор Шамиль.

— Человек это,— глухо ответил Иван Алексеевич, дрожа губами, пестая на плече женушку-винтовку.

На выходе из деревни стали попадаться раненые, вначале единицами, потом группами в несколько человек, а дальше — густыми толпами. Несколько повозок, до отказа набитых тяжелоранеными, еле передвигались. Клячи, тащившие их, были худы до ужаса. Острые хребтины их были освежеваны беспрестанными ударами кнутов, обнажали розовые в красных крапинках кости с прилипшими кое-где волосками шерсти. Лошади тащили четырехколки, хрипя и налегая так, что запененные морды едва не касались грязи. Иногда какая-нибудь кобылка останавливалась, немощно раздувая ввалившиеся острореберные бока, понуря большую от худобы голову. Удар кнута силком толкал ее с места, и она, качнувшись сначала в одну сторону, потом в другую, срывалась и шла. Цепляясь со всех сторон за грядушки повозок, тянулись около раненые.

— Какой части? — спросил сотенный командир, выбрав лицо подобродушней.

— Туркестанского корпуса, Третьей дивизии.

— Сегодня ранен?

Солдат отвернулся, не отвечая. Сотня, свернув с дороги, шла к лесу, видневшемуся в полуверсте. Позади тяжким пехотным шагом чавкали выбравшиеся из деревни роты 318-го Черноярского. Вдали, на вылинявшем от дождей хмарном небе, желто-серым недвижным пятном висел немецкий привязной аэростат.

— Гляньте, станишники: какая чуда висит!

— Колбасятина.

— Он оттель зирит, проклятущий, как войска передвигаются.

— А ты думал — зря выперся на такую вышину?

— Ох, далеко он!

— Да то близко? Снарядом — и то небось не докинешь.

В лесу казаков нагнала первая рота черноярцев. До вечера жались под мокрыми соснами, за воротники текло, по спинам гуляла дрожь: огонь запретили разводить, да и трудно было развести его на дожде. Уже перед сумерками ввели в щель. Неглубокий, чуть выше человеческого роста, ров был залит на полчетверти водой. Пахло илом, прелой хвоей и пресным бархатисто-мягким запахом дождя. Казаки, подобрав полы шинелей, сидели на корточках, курили, расплетали серую рвущуюся нить разговоров. Второй взвод, разделив выданный перед уходом паек махорки, жался на повороте, окружив взводного урядника. Тот сидел на брошенной кем-то катушке проволоки, рассказывал об убитом в прошлый понедельник генерале Копыловском, в бригаде которого служил еще в мирное время. Он не докончил рассказа, так как взводный офицер крикнул: «В ружье!» — и казаки повскакали; обжигая пальцы, жадно докуривали цигарки. Из щелей сотня вновь вылезла в сосновый темнеющий лес. Шли, подбадривая друг друга шутками. Кто-то насвистывал.

На небольшой прогалине наткнулись на длинную стежку трупов. Они лежали впокат, плечом к плечу, в различных позах, зачастую непристойных и страшных. Тут же похаживал солдат с винтовкой и противогазовой маской, привешенной сбоку у пояса. Около трупов была густо взмешана влажная земля, виднелись следы многих ног, глубокие шрамы на траве, оставленные колесами повозки. Сотня шла в нескольких шагах от трупов. От них уже тек тяжкий, сладковатый запах мертвечины. Командир сотни остановил казаков и со взводными офицерами подошел к солдату. Они о чем-то говорили. В это время казаки, изломав ряды, надвинулись ближе к трупам, снимая фуражки, рассматривая убитых с тем чувством скрытого трепетного страха и звериного любопытства, которое испытывает всякий живой к тайне мертвого. Все убитые были офицеры. Казаки насчитали их сорок семь человек. Большинство из них были молодые, судя по виду — в возрасте от 20 до 25 лет, лишь крайний справа, с погонами штабс-капитана, был пожилой. Над его широко раскрытым ртом, таившим немые отзвуки последнего крика, понуро висели густые черные усы, на выбеленном смертью лице хмурились в смелом размете широкие брови. Некоторые из убитых были в изватланных грязью кожаных тужурках, остальные — в шинелях. На двух или трех не было фуражек. Казаки особенно долго смотрели на красивую и после

смерти фигуру одного поручика. Он лежал на спине, левая рука его была плотно прижата к груди, в правой, кинутой в сторону, навсегда застыла рукоять нагана. Наган, видимо, пытались вынуть,— желтая широкая кисть руки белела царапинами, но, знать, плотно вкипела сталь,— не расстаться. Белокурая курчавая голова, со сбитой фуражкой, словно ласкаясь, никла щекой к земле, а оранжевые, тронутые синевой губы скорбно, недоуменно кривились. Сосед его справа лежал вниз лицом, на спине горбом бугрилась шинель с оторванным хлястиком, обнажая сильные, напружиненные мускулами ноги в брюках цвета хаки и коротких хромовых сапогах, с покривленными на сторону каблуками. На нем не было фуражки, не было и верхушки черепа, чисто срезанной осколком снаряда; в порожней черепной коробке, обрамленной мокрыми сосульками волос, светлела розовая вода,— дождь налил. За ним в распахнутой тужурке и изорванной гимнастерке лежал плотный, невысокий, без лица; на обнаженной груди косо лежала нижняя челюсть, а ниже волос белела узкая полоска лба с опаленной, скатавшейся в трубочки кожей, в середине между челюстью и верхушкой лба — обрывки костей, черно-красная жидкая кашица. Дальше — небрежно собранные в кучу куски конечностей, шмотья шинели, истрощенная мятая нога на месте головы; а еще дальше — совсем мальчишка, с пухлыми губами и отроческим овалом лица; по груди резанула пулеметная струя, в четырех местах продырявлена шинель, из отверстий торчат опаленные хлопья.

— Этот... этот в смертный час кого кликал? Матерю? — заикаясь, клацая зубами, спросил Иван Алексеевич и, круто повернувшись, пошел как слепой.

Казаки отходили поспешно, крестясь и не оглядываясь. И после долго берегли молчание, пробираясь по узким прогалинам, спеша уйти от воспоминаний виденного. Возле густой цепи пустых, покинутых кем-то землянок сотню остановили. Офицеры вместе с ординарцем, прискакавшим из штаба Черноярского полка, вошли в одну из землянок; тут только щербатый Афонька Озеров, лапая руку Ивана Алексеевича, шепотом сказал:

— Энтот, парнишка... последний... гляди, небось за всю жисть бабу не целовал... И зарезали, это как?

— Это где же их так наворочали? — вмешался Захар Королев.

— В наступление шли. Солдат, какой охранял мертвяков, гутарил,— помолчав, ответил Борщев.

Казаки стояли «вольно». Над лесом замыкалась темь. Ветер торопил тучи и, раздирая их, оголял лиловые угольки далеких звезд.

В это время в землянке, где собрались офицеры сотни, командир, отпустив ординарца, вскрыл пакет и при свете свечного огарка, ознакомившись с содержанием, прочитал:

На рассвете 3 октября, немцы, употребив удушливые газы, отравили три батальона 256-го полка и заняли первую линию наших окопов. Приказываю вам продвинуться до второй линии окопов и, завязав связь с первым батальоном 318-го Черноярского полка, занять участок второй линии, с тем чтобы этой же ночью выбить противника из первой линии. На правом фланге у вас будут две роты второго батальона и батальон Фанагорийского полка 3-й гренадерской дивизии.

Обсудив положение и выкурив по папиросе, офицеры вышли. Сотня тронулась.

Пока казаки отдыхали возле землянок, первый батальон черноярцев опередил их и подошел к мосту через Стоход. Мост охранялся сильной пулеметной заставой одного из гренадерских полков. Фельдфебель выяснил командиру батальона обстановку, и батальон, перейдя мост, разделился: две роты пошли вправо, одна — влево, последняя, с командиром батальона, осталась в резерве. Роты шли, рассыпавшись в цепь. Жидкий лес был изрытвлен. Солдаты шли, осторожно щупая почву ногами, иногда какой-нибудь падал, вполголоса тихо матерился. В крайней с правого фланга роте шестым от конца шел Валет. После команды «изготовься!» он поставил спуск винтовки на боевой взвод, шел, вытягивая ее вперед, царапая жалом штыка кустарник и стволы сосен. Мимо него вдоль цепи прошли двое офицеров; они, сдерживая голоса, разговаривали. Сочный, спелый баритон командира роты жаловался:

— У меня открылась давнишняя рана. Черт бы брал этот пенек! Понимаете, Иван Иванович, в этой темноте я набрел на пень и ударился ногой. В результате — рана открылась, и я не могу идти, придется вернуться.— Баритон ротного на минуту умолк и, отдаляясь, зазвучал еще тише.— Вы возьмите на себя командование первой полуротой, Богданов возьмет вторую, а я того... честное слово, не могу. Я вынужден вернуться.

В ответ хрипло залаял тенорок прапорщика Беликова:

— Удивительно! Как только в бой, так у вас открываются старые раны.

— Я попрошу вас молчать, господин прапорщик! — повысил голос ротный.

— Оставьте, пожалуйста! Можете возвращаться!

Прислушиваясь к своим и чужим шагам, Валет услышал позади торопливый треск, понял: ротный уходит назад. А через минуту Беликов, переходя с фельдфебелем на левое крыло роты, бормотал:

— ...Прохвосты, чуют! Как только серьезное дело, они заболевают или у них открываются старые раны. А ты, новоиспеченный, изволь вести полуроту... Мерзавцы! Я бы таких... солдаты...

Голоса внезапно смолкли, и Валет слышал лишь влажный хлюп собственных шагов да трельчатый звон в ушах.

— Эй, землячок! — Кто-то слева засипел шепотом.

— Ну?

— Идешь?

— И-иду,— ответил Валет, падая и задом сползая в налитую водой воронку.

— Темно-то...— слышалось слева.

Минуту шли, невидимые друг другу, и неожиданно у самого уха Валета тот же сипящий голос проговорил:

— Пойдем рядом! Не так страшно...

Опять молчали, переставляя по влажной земле набухшие сапоги. Ущербленный пятнистый месяц вдруг выплеснулся из-за гребня тучи, несколько секунд, блестя желтой чешуей, нырял, как карась, в текучих тучевых волнах и, выбравшись на чистое, полил вниз сумеречный свет; фосфорически блеснули мокрые иглы сосен,— казалось, сильнее при свете запахла хвоя, жестче дохнула холодом мокрая земля. Валет глянул на соседа. Тот внезапно остановился, мотнул головой, как от удара, разжал губы.

— Гляди! — выдохнул он.

В трех шагах от них у сосны, широко расставив ноги, стоял человек.

— Че-ло-век,— сказал или только подумал сказать Валет.

— Кто таков? — вдруг вскидывая к плечу винтовку, крикнул шедший рядом с Валетом солдат.— Ктой-та? Стреляю!..

Стоявший под сосной молчал. Голова его, как шляпка подсолнуха, висела, склонившись набок.

— Он спит! — заскрипел смехом Валет и, сотрясаясь, бодря себя насильственным смехом, шагнул вперед.

Они подошли к стоявшему. Валет, вытянув шею, глядел. Товарищ его тронул прикладом недвижимую серую фигуру.

— Эй, ты, пензинска-а-ай! Спишь? Земляк!..— насмешливо говорил он.— Чудила-а-а, ты что же?..— голос осекся.— Мертвец! — крикнул он, отступая.

Валет, клацнув зубами, отпрыгнул, и на то место, где секунду назад стояли его ноги, спиленным деревом упал стоявший под сосной человек. Они перевернули его лицом вверх и тут только догадались, что под сосной нашел себе последний приют этот отравленный газами, бежавший от смерти, которую нес в своих легких, солдат одного из трех батальонов 256-го пехотного полка. Рослый, широкоплечий парень, он лежал, вольно откинув голову, с лицом, измазанным при падении клейкой грязью, с изъеденными газом, разжиженными глазами; из стиснутых зубов его черным глянцевитым бруском торчал пухлый, мясистый язык.

— Пойдем. Пойдем, ради бога! Пусть он себе лежит,— шептал товарищ, дергая Валета за руку.

Они пошли и сейчас же наткнулись на второй труп. Мертвые стали попадаться чаще. В нескольких местах отравленные лежали копешками, иные застыли, сидя на корточках, некоторые стояли на четвереньках — будто паслись, а один, у самого хода сообщения, ведущего во вторую линию окопов, лежал, скрючившись калачиком, засунув в рот искусанную от муки руку.

Валет и солдат, приставший к нему, бегом догнали ушедшую вперед цепь, опередив ее, шли рядом. Они вместе спрыгнули в темную щель окопов, зигзагами уходившую в темноту, разошлись в разные стороны.

— Надо пошарить по землянкам. Жратва, может, осталась,— нерешительно предложил Валету его товарищ.

— Пойдем.

— Ты — вправо, я — влево. Пока наши подойдут, мы проверим.

Валет чиркнул спичкой, шагнул в раскрытую дверь первой землянки, вылетел оттуда, будто кинутый пружиной: в землянке крест-накрест лежали два трупа. Он в безрезультатных поисках пролез три землянки, пинком растворил дверь четвертой и едва не упал от чужого металлического оклика:

— Wer ist das? [1]

Осыпанный огневым жаром, Валет молча отскочил назад.

— Das bist du Otto? Weshalb bist du spät gekommen? [2] — спросил немец, шагнув из землянки и ленивым движением плеча поправляя накинутую внапашку шинель.

— Руки! Руки подыми! Сдавайся! — хрипло крикнул Валет и присел, как по команде «к бою!».

Изумленный до немоты, немец медленно вытягивал руки, поворачивался боком, завороженными глазами глядя на остро сверкающее жало направленного на него штыка. Шинель упала у него с плеч, под мышками морщинился рябью однобортный серо-зеленый мундир, поднятые большие рабочие руки тряслись, и пальцы шевелились, словно перебирая невидимые клавиши. Валет стоял, не меняя положения, оглядывая высокую, плотную фигуру немца, металлические пуговицы мундира, короткие сшивные по бокам сапоги, бескозырку, надетую чуть набок. Потом он как-то сразу изменил положение, качнулся, как вытряхиваемый из своей нескладной шинели; издал странный горловой звук — не то кашель, не то всхлип; шагнул к немцу.

— Беги! — сказал он пустым ломким голосом.— Беги, немец! У меня к тебе злобы нету. Стрелять не буду.

Он прислонил к стене окопа винтовку, потянулся, приподнимаясь на цыпочки, достал правую руку немца. Уверенные движения его покоряли пленного; тот опустил руку, чутко вслушиваясь в диковинные интонации чужого голоса.

Валет, не колеблясь, сунул ему свою черствую, изрубцованную двадцатилетним трудом руку, пожал холодные, безвольные пальцы немца и поднял ладонь; на нее, маленькую и желтую, испятненную коричневыми бугорками давнишних мозолей, упали сиреневые лепестки ущербленного месяца.

— Я — рабочий,— говорил Валет, дрожа как от озноба.— За что я тебя буду убивать? Беги! — И он легонько толкал немца правой рукой в плечо, указывал на черную вязь леса.— Беги, дурной, а то наши скоро...

Немец все смотрел на откинутую руку Валета, смотрел, остро напрягаясь, чуть наклонившись вперед, разгадывая

---

[1] Кто это? *(нем.)*

[2] Это ты, Отто? Отчего ты так поздно? *(нем.)*

за непонятными словами их затаенный смысл. Так длилось секунду-другую; глаза его встретились с глазами Валета, и взгляд немца вдруг дрогнул радостной улыбкой. Отступив шаг назад, немец широким жестом выбросил вперед руки, крепко стиснул руки Валета, затряс их, сверкая взволнованной улыбкой, нагибаясь и засматривая Валету в глаза.

— Du entlässt misch?.. O, jetzt hab ich verstanden! Du bist ein russischer Arbeiter? Sozial-Demokrat, wie ich? So? O! O! Das ist wie im Traum... Mein Bruder, wie kann ich vergessen? Ich finde keine Worte. Nur du bist ein wunderbarer wagender Junge... Ich...[1]

Во вскипающем потоке чуждых по языку слов Валет уловил одно знакомое, вопрошающее — «социал-демократ?».

— Ну да, я — социал-демократ. А ты беги... Прощай, браток. Лапу-то дай!

Чутьем понявшие друг друга, они смотрели друг другу в глаза — высокий статный баварец и маленький русский солдат. Баварец шепнул:

— In den zukünftigen Klassenkämpfen werden wir in denselben Schützengräben sein, nicht wahr, Genosse? [2] — и большим серым зверем вспрыгнул на бруствер.

По лесу зачмокали шаги подходившей цепи. Впереди двигалась команда чешских разведчиков со своим офицером. Они чуть не застрелили вылезавшего из землянки солдата, который шарил там в поисках съестного.

— Свой! Не видишь... в рот те, в душу!..— испуганно вскрикнул тот, увидя направленный на него черный глазок винтовочного дула.

— Свои тута,— повторил он, прижимая к груди, как ребенка, черную буханку хлеба.

Унтер, опознав Валета, перепрыгнул через окоп, с усердием толкнул Валета в спину прикладом.

— Изуродую! Кровь из носу! Ты где был?

Валет шел, размякший, обессилевший, даже удар не произвел на него должного воздействия. Качнувшись, он

---

[1] Ты меня отпускаешь? О, теперь я понял! Ты — русский рабочий? Социал-демократ, как и я? Да? О! О! Это — как во сне... Мой брат, как я могу забыть?.. Я не нахожу слов... Но ты чудесный, храбрый парень.. Я... *(нем.)*

[2] В будущих классовых битвах мы будем в одних окопах. Не правда ли, товарищ? *(нем.)*

поразил унтера несвойственным ему добродушным ответом:

— Вперед шел. А ты не дерись.

— А ты не болтайся собачьим хвостом! То он отстанет, то вперед уходит. Службу не знаешь? Первый год, что ли? — Помолчав, спросил: — Табачок есть?

— Помятый только.

— Тряхни.

Унтер закурил, отошел к концу взвода.

Уже перед рассветом чехи-разведчики в упор напоролись на немецкий наблюдательный пост. Немцы раскололи тишину залпом. С ровными промежутками дали еще два залпа. Над окопами взвилась красная ракета, зазвучали голоса, не успели затухнуть в воздухе багряные искры ракеты, как со стороны немцев начался артиллерийский обстрел.

Бум! бум! — и, догоняя первые гулкие удары, еще два: бум! бум!

Кле-кле-кле-кле-вззи-и-и! — заквохтали с нарастающей силой снаряды, как буравом, высверливая воздух, со скрежетом проносясь над головами солдат первой полуроты; мгновение тишины — и далеко, возле переправы через Стоход, облегчающий гул разрывов: бах!.. бах!..

Цепь, шедшая в сорока саженях позади чехов-разведчиков, после первого же залпа залегла. Ракета вскинула алое зарево; при свете его Валет видел, как солдаты муравьями ползли меж кустов и деревьев, уже не брезгая грязной землей, а прижимаясь к ней, ища защиты. Люди копошились у каждой рытвинки, никли за каждой крохотной складкой земли, совали головы в каждую ямку. И все же, когда майским ливнем буйно брызнул и затопотал по лесу стрекочущий пулеметный огонь,— не выдержали: ползли назад, до предела втягивая головы в плечи, гусеницами влипали в землю, передвигались, не сгибая ни рук, ни ног, ползли по-змеиному, влача за собою по грязи след... Некоторые вскакивали и бежали. По лесу, осекая хвою, щепя сосны, с гадючьим шипом зарываясь в землю, скакали и, чмокая, рвались разрывные пули.

Семнадцати человек недосчитались в первой полуроте, когда вернулись ко второй линии окопов. Неподалеку перестраивались казаки особой сотни. Они шли правее первой полуроты, шли осторожно и, возможно, застали бы немцев врасплох, предварительно сняв часовых, но, когда по чехам-разведчикам дали залп, немцы встревожились на

всем участке. Бесцельно стреляя, убили двух казаков, одного ранили. Казаки принесли с собой раненого и убитых,— выстраиваясь, переговаривались:

— Похоронить надо своих

— Без нас похоронят.

— Тут об живых надо думать, а мертвякам мало надо. Из штаба полка через полчаса был получен приказ: «После артиллерийской подготовки приказываю батальону, совместно с особой казачьей сотней, атаковать противника и выбить его из первой линии окопов».

Жиденькая подготовка длилась до двенадцати дня. Казаки и солдаты, выставив посты, отдыхали в землянках. В полдень пошли в атаку. Левее, на главном участке, громыхала канонада,— там наступали вновь.

На самом конце правого фланга были забайкальские казаки, левее — Черноярский полк с особой казачьей сотней, за ними — Фанагорийский гренадерский полк, дальше — Чембарский, Бугульминский, 208-й пехотный, 211-й пехотный, Павлоградский, Венгровский; полки 53-й дивизии развивали наступление в центре; весь левый фланг охватывала 2-я Туркестанская стрелковая дивизия. Гремело на всем участке,— русские наступали повсюду.

Сотня шла негустой цепью. Левое крыло ее смыкалось с правым черноярцев. Едва показался хребет бруствера, немцы открыли ураганный огонь. Сотня перебегала без крика, залегали, опорожняли магазинные коробки винтовок и вновь бежали. Окончательно легли в пятидесяти шагах от окопов. Стреляли, не подымая голов. Немцы выбросили по всей линии окопов рогатки с сетчатой проволокой. Две гранаты, кинутые Афонькой Озеровым, разорвались, отскочив от сетки. Он чуть приподнялся, хотел метнуть третью, но пуля вошла ему ниже левого плеча, вышла у крестца. Иван Алексеевич, лежавший неподалеку, видел, как Афонька мелко засучил ногами и затих. Убили Прохора Шамиля — брата безрукого Алешки; третьим лег бывший атаман Маныцков, и сейчас же подцепила пуля колченогого чубатого соседа Шамилей — Евлантия Калинина.

Из второго взвода за полчаса выбыло восемь человек. Убили есаула — командира сотни, двух взводных офицеров, и сотня без команды отползла назад. Очутившись вне действия огня, казаки стеклись кучкой,— недосчитались половины людей. Отошли и черноярцы. В первом баталь-

оне урон был еще значительней, но, не глядя на это, из штаба полка — приказ: «Атаку немедленно возобновить, во что бы то ни стало выбить противника из первой линии окопов. От успехов восстановления исходного положения зависит конечный успех операции по всей линии».

Сотня рассыпалась реденькой цепью. Пошли опять. Под сокрушительным огнем немцев залегли в ста шагах от окопов. Опять стали таять части, и обезумевшие люди врастали в землю, лежали, не поднимая головы, не двигаясь, опоенные ужасом смерти.

Перед вечером вторая полурота черноярцев дрогнула и побежала. Крик «обошли!» донесло до казаков. Поднялись, катились назад, ломая кустарник, падая, теряя оружие. Выбежав на безопасное место, Иван Алексеевич упал под сломленной снарядом сосной, отдышался и тут увидел подходившего к нему Гаврилу Лиховидова. Шел тот, пьяно кидая ногами, уронив глаза, что-то хватал в воздухе рукой, другой словно смахивал с лица невидимую паутину. При нем не было ни винтовки, ни шашки, над глазами низко свисали прямые, мокрые от пота темно-русые волосы. Околесив прогалину, он подошел к Ивану Алексеевичу. Стал, вонзив косой, неуловимо-плывущий взгляд в землю. Ноги его в коленях мелко дрожали, подгибались, и Ивану Алексеевичу казалось, что Лиховидов приседает будто для того, чтобы взлететь.

— Вот... видишь как...— начал Иван Алексеевич, пытаясь что-то сказать, но лицо Лиховидова пронизала судорога.

— Стой! — вскричал тот и присел на корточки, топыря пальцы, испуганно оглядываясь.— Слухай! Я зара́з песню заиграю. Прилетела господня пташка к сове, гутарит:

Скажи, моя совушка,
Скажи, Купреяновна,
Кто ж тебя больше,
Кто ж тебя старше?
Вот орел — государь,
Вот и коршун — майор,
Вот и лунь — есаул,
И витютени — уральцы,
А голуби — атаманцы,
Клиндухи — линейны,
Скворцы — калмыки,
Галки — цыганки,
Сороки — дворянки,
Сера уточка — пехота,
А казарки — молдаванки...

— Погоди! — Иван Алексеевич побледнел.— Лиховидов, да чтой-то ты?.. Ты захворал? А?

— Не мешай! — Он побагровел и, вновь вытягивая голубые губы в бессмысленную улыбку, тем же жутким речитативом продолжал:

А казарки — молдаванки,
Дудаки — дураки,
Кваки — забияки,
Вот грачи — антилерия,
Вороны — волохи,
Рыбники — скрыпники...

Иван Алексеевич вскочил:

— Пойдем, пойдем к своим, а то немцы заберут нас! Слышишь?

Вырывая руку, торопясь, роняя с губ теплую слюну, Лиховидов продолжал выкрикивать:

Соловушки — музыканты,
Касатушки — великанты,
Чернопуз — голопуз,
Синичка — сборщик,
Воробей — десятник...

И, неожиданно оборвав голос, запел тягуче-хрипло. Не песня, а волчий нарастающий вой рвался из его оскаленного рта. На острых клыковатых зубах переливалась перламутром слюна. Иван Алексеевич с ужасом смотрел в безумно-раскосые глаза недавнего товарища, на голову его с плотно прилегшими волосами и восковым слепком ушей. Уже с каким-то ожесточением Лиховидов выл:

Вот гремит слава трубой.
Мы за Дунаем-рекой
Турк-салтана победили,
Християн освободили.
Мы по горочкам летали
Наподобье саранчи,
Из берданочков стреляли
Все донские казачки.
Как курей, ваших индюшек,
Перведем всех до пера.
А детей ваших, марушек
Заберем всех во плена́.

— Мартин! Мартин, поди ко мне! — закричал Иван Алексеевич, увидя ковылявшего по прогалине Мартина Шамиля.

Тот, опираясь на винтовку, подошел.

— Помоги мне его отвесть. Видишь? — Иван Алексеевич указал глазами на сумасшедшего.— Дошел до краю. Кровь в голову кинулась.

Шамиль перевязал раненую ногу рукавом, оторванным от исподней рубахи; не глядя на Лиховидова, взял его под руку с одной стороны, Иван Алексеевич — с другой, пошли.

Мы по горочкам летали
Наподобье саранчи...—

уже тише вскрикивал Лиховидов. Шамиль, болезненно морщась, упрашивал его:

— Брось ты шуметь! Брось, ради Христа. Ты теперь отлетался вовзят. Брось!

Как курей, ваших индюшек,
Переведем всех до пера...

Сумасшедший вырывался из рук казаков, петь не переставал и лишь изредка стискивал ладонями виски, скрипел зубами и, дрожа отвисшей челюстью, кособочил голову, опаленную горячим дыханием безумия.

IV

Верст на сорок ниже по Стоходу шли бои. Две недели неумолчно стонал сплошной орудийный гул, по ночам далекое фиолетовое небо кромсали отсветы прожекторных лучей, они сияли радужно-тусклыми зарницами, перемигивались, заражали необъяснимой тревогой тех, кто отсюда наблюдал за вспышками и заревами войны.

На участке, болотистом и диком, разместился 12-й казачий полк. Днем изредка постреливали по перебегавшим в неглубоких окопах австрийцам, ночью, защищенные болотом, спали или играли в карты; одни часовые наблюдали за оранжевыми жуткими всплесками света там, где шли бои.

В одну из морозных ночей, когда далекие отсветы особенно ярко мережили небо, Григорий Мелехов вышел из землянки, по ходу сообщения пробрался в лес, торчавший позади окопов седой щетиной на черном черепе невысокого холма, и прилег на просторной духовитой земле. В землянке было накурено, смрадно, бурый табачный дым бахромчатой скатертью висел над столиком, за которым че-

ловек восемь казаков резались в карты, а в лесу, на вершине холма, наплывает ветерок, тихий, как от крыльев пролетающей невидимой птицы; неизъяснимо грустный запах излучают умерщвленные заморозками травы. Над лесом, уродливо остриженным снарядами, копится темнота, дотлевает на небе дымный костер Стожаров, Большая Медведица лежит сбоку от Млечного Пути, как опрокинутая повозка с косо вздыбленным дышлом, лишь на севере ровным мерцающим светом истекает Полярная звезда.

Григорий, щурясь, глядел на нее, и от ледяного света звезды, неяркого, но остро коловшего глаза, под ресницами выступали такие же холодные слезы.

Лежа здесь, на холме, он почему-то вспомнил ту ночь, когда с хутора Нижне-Яблоновского шел в Ягодное к Аксинье; с режущей болью вспомнил и ее. Память вылепила неясные, стертые временем бесконечно дорогие и чуждые линии лица. С внезапно забившимся сердцем он попытался восстановить его таким, каким видел в последний раз, искаженным от боли, с багровым следом кнута на щеке, но память упрямо подсовывала другое лицо, чуть склоненное набок, победно улыбающееся. Вот она поворачивает голову, озорно и любовно, из-под низу разит взглядом огнисто-черных глаз, что-то несказанно-ласковое, горячее шепчут порочно-жадные красные губы, и медленно отводит взгляд, отворачивается, на смуглой шее два крупных пушистых завитка... их так любил целовать он когда-то...

Григорий вздрагивает. Ему кажется, что он на секунду ощутил дурнопьянный, тончайший аромат Аксиньиных волос; он, весь изогнувшись, раздувает ноздри, но... нет! это волнующий запах слежалой листвы. Меркнет, расплывается овал Аксиньина лица. Григорий закрывает глаза, кладет ладони на шероховатую землю и долго, не мигая, глядит, как за поломанной сосной на окраине неба голубой нарядной бабочкой трепещет в недвижимом полете Полярная звезда.

Отдельные куски несвязных воспоминаний затемняли образ Аксиньи. Он вспомнил те недели, которые провел на хуторе Татарском, в семье, после разрыва с Аксиньей; по ночам — жадные, опустошающие ласки Натальи, словно старавшейся вознаградить за свою прежнюю девическую холодность; днями — внимательное, почти заискивающее отношение семьи, почет, с каким встречали хуторные первого георгиевского кавалера. Григорий всюду, даже в семье, ловил боковые, изумленно-почтительные взгля-

ды,— его разглядывали так, как будто не верили, что он — тот самый Григорий, некогда своевольный и веселый парень. С ним, как с равным, беседовали на майдане старики, при встрече на его поклон снимали шапки, девки и бабы с нескрываемым восхищением разглядывали бравую, чуть сутуловатую фигуру в шинели с приколотым на полосатой ленточке крестом. Он видел, что Пантелей Прокофьевич явно гордился им, шагая рядом в церковь или на плац. И весь этот сложный тонкий яд лести, почтительности, восхищения постепенно губил, вытравлял из сознания семена той правды, которую посеял в нем Гаранжа. Пришел с фронта Григорий одним человеком, а ушел другим. Свое, казачье, всосанное с материнским молоком, кохаемое на протяжении всей жизни, взяло верх над большой человеческой правдой.

— Я знал, Гришка,— подвыпив, на прощанье говорил Пантелей Прокофьевич и, волнуясь, гладил серебряные с чернью волосы,— знал давно, что из тебя добрый казак выйдет. Год от рождения тебе сравнялся, и по давнишнему казачьему обычаю вынес я тебя на баз — помнишь, старуха? — и посадил верхом на коня. А ты, сукин сын, цап его за гриву ручонками!.. Тогда ишо смекнул я, что должон из тебя толк выйтить. И вышел.

Добрым казаком ушел на фронт Григорий; не мирясь в душе с бессмыслицей войны, он честно берег свою казачью славу...

Тысяча девятьсот пятнадцатый год. Май. Под деревней Ольховчик по ярко-зеленой ряднине луга наступает в пешем строю 13-й немецкий Железный полк. Цикадами звенят пулеметы. Тяжеловесно стрекочет станковый пулемет залегшей над речкой русской роты. 12-й казачий полк принимает бой. Григорий перебегает в цепи вместе с казаками своей сотни и, оглядываясь, видит расплавленный диск солнца на полуденном небе и другой такой же в речной заводи, опушенной желтобарашковой лозой. За речкой, за тополями скрываются коноводы, а впереди — немецкая цепь, желтый глянец медных орлов на касках. Ветер шевелит сизый, полынный, дымок выстрелов.

Григорий не спеша стреляет, целится тщательно и между двумя выстрелами, прислушиваясь к команде взводного, выкрикивающего прицел, успевает осторожно ссадить выползшую на рукав его гимнастерки рябую божью коровку. Потом атака... Григорий окованным прикладом валит с ног высокого немецкого лейтенанта, берет

в плен трех немецких солдат и, стреляя над их головами вверх, заставляет их рысью бежать к речке.

Под Равой-Русской со взводом казаков в июле 1915 года отбивает казачью батарею, захваченную австрийцами. Там же во время боя заходит в тыл противника, открывает огонь из ручного пулемета, обращая наступление австрийцев в бегство.

Пройдя Баянец, в стычке берет в плен толстого австрийского офицера. Как барана, вскидывает его поперек седла, скачет, все время ощущая противный запах человеческого кала, исходивший от офицера, и дрожь полного, мокрого от страха тела.

И особенно выпукло вспомнил Григорий, лежа на черной плешине холма, случай, столкнувший его с лютым врагом — Степаном Астаховым. Это было, когда 12-й полк сняли с фронта и кинули в Восточную Пруссию. Казачьи кони копытили аккуратные немецкие поля, казаки жгли немецкие жилища. По пути, пройденному ими, стлался рудный дым и дотлевали обугленные развалины стен и черепичные потрескавшиеся крыши. Под городом Столыпином полк шел в наступление вместе с 27-м Донским казачьим полком. Григорий мельком видел похудевшего брата, чисто выбритого Степана и других казаков-однохуторянцев. В бою полки понесли поражение. Немцы окружили их, и, когда двенадцать сотен, одна за другой, устремились в атаку с целью прорвать сомкнувшееся вражеское кольцо, Григорий увидел, как Степан спрыгнул с убитого под ним вороного коня и закружился волчком, Григорий, обожженный внезапной и радостной решимостью, с трудом удержал коня и, когда последняя сотня, едва не растоптав Степана, промчалась мимо, подскакал к нему, крикнул:

— Хватайся за стремя!

Степан сжал ремень стремени в руке, с полверсты бежал рядом с конем Григория.

— Не скачи шибко! Не скачи, ради Исуса Христа! — просил он, задыхаясь.

Прорыв они миновали благополучно. До леса, где спешивались вырвавшиеся сотни, оставалось не больше ста саженей, но тут пуля хлестнула Степана по ноге, и он, оторвавшись от стремени, упал навзничь. Ветер сорвал с Григория фуражку, кинул на глаза чуб. Григорий отбросил волосы, оглянулся. Степан, хромая, подбежал к кусту, швырнул в него казачью фуражку, сел, торопливо стягивая алевшие лампасами шаровары. Из-под бугра пе-

ребегали звенья немецкой цепи, и Григорий понял: хочет Степан жить,— для того рвет с себя казачьи шаровары, чтобы сойти за солдата: казаков не брали тогда немцы в плен... Подчиняясь сердцу, Григорий крутнул коня и подскакал к кусту, на ходу спрыгнув.

— Садись!..

Не забыть Григорию короткого взмаха Степановых глаз. Помог Степану сесть в седло, сам бежал, держась за стремя, рядом с облитым потом конем.

Цьююууу...— цедила горячий свист пуля и, вылетая из слуха, рвала свист: юууть!

Над головой Григория, над меловым лицом Степана, по бокам — этот нижущий сверлящий высвист: цьюю-уу-уть, цьюуу-уть, а сзади — хлопки выстрелов, как треск перезревших стручков акации:

Пук-пак! Пук-пак! Та-тах-ах-ах!

В лесу Степан слез с седла, кривясь от боли; кинул поводья, захромал в сторону. Через голенище левого сапога текла кровь, и при каждом шаге, когда наступал на раненую ногу, из-под отставшей подошвы била вишнево-красная тонкая струя. Степан прислонился к стволу разлапистого дуба, поманил Григория пальцем. Тот подошел.

— Полон сапог натекло крови,— сказал Степан.

Григорий молчал, глядел в сторону.

— Гришка... как шли мы ныне в наступление... Слышишь, Григорий? — заговорил Степан, ища ввалившимися глазами глаза Григория.— Как шли, я сзади до трех раз в тебя стрелял... Не привел бог убить.

Они столкнулись глазами. Из запавших глазниц нестерпимо блестел остро отточенный взгляд Степана. Степан говорил, почти не разжимая стиснутых зубов:

— Ты меня от смерти отвел... Спасибо... А за Аксинью не могу простить. Душа не налегает... Ты меня не неволь, Григорий...

— Я не неволю,— ответил тогда Григорий.

Они разошлись по-прежнему непримиренные...

И еще... В мае полк, вместе с остальными частями брусиловской армии, прорвал у Луцка фронт, каруселил в тылу, бил и сам принимал удары. Под Львовом Григорий самовольно увлек сотню в атаку, отбил австрийскую гаубичную батарею вместе с прислугой. Через месяц ночью как-то плыл через Буг за «языком». Сбил с ног стоявшего на посту часового, и он, здоровый, коренастый немец,

долго кружил повисшего на нем полуголого Григория, порывался кричать и никак не хотел, чтобы его связали.

Улыбаясь, вспомнил Григорий этот случай.

Мало ли таких дней рассорило время по полям недавних и давнишних боев? Крепко берег Григорий казачью честь, ловил случай выказать беззаветную храбрость, рисковал, сумасбродничал, ходил переодетым в тыл к австрийцам, снимал без крови заставы, джигитовал казак и чувствовал, что ушла безвозвратно та боль по человеку, которая давила его в первые дни войны. Огрубело сердце, зачерствело, будто солончак в засуху, и как солончак не впитывает воду, так и сердце Григория не впитывало жалости. С холодным презрением играл он чужой и своей жизнью; оттого прослыл храбрым — четыре Георгиевских креста и четыре медали выслужил. На редких парадах стоял у полкового знамени, овеянного пороховым дымом многих войн; но знал, что больше не засмеяться ему, как прежде; знал, что ввалились у него глаза и остро торчат скулы; знал, что трудно ему, целуя ребенка, открыто глянуть в ясные глаза; знал Григорий, какой ценой заплатил за полный бант крестов и производства.

Он лежал на холме, подвернув под бок полу шинели, опираясь на локоть левой руки. Память услужливо воскрешала пережитое, и в скупые отрывочные воспоминания войны тонкой голубой прядью вплетался какой-нибудь далекий случай из детства. На минуту Григорий с любовью и грустью останавливал на нем мысленный взгляд, потом снова переходил к недавнему. В австрийских окопах кто-то мастерски играл на мандолине. Тоненькие, колеблемые ветром звуки спешили оттуда, перебираясь через Стоход, легко семенили над землей, многократно политой людской кровью. В зените пламенней горели звезды, плотнела темь, и уже горбатился над болотом полуночный туман. Григорий выкурил две цигарки подряд, с грубоватой лаской погладил ремень винтовки,— опираясь на пальцы левой руки, приподнялся с гостеприимной земли; побрел к окопам.

В землянке все еще играли в карты. Григорий упал на нары, хотел еще блуждать в воспоминаниях по исхоженным, заросшим давностью тропам, но сон опьянил его; он уснул в той неловкой позе, которую принял лежа, и во сне видел бескрайнюю выжженную суховеем степь, розовато-лиловые заросли бессмертника, меж чубатым сиреневым чабрецом следы некованых конских копыт... Степь была пустынна, ужасающе тиха. Он, Григорий, шел по твердой

супесной почве, но шагов своих не слышал, и от этого подступал страх... Проснувшись и приподняв голову, с косыми рубцами на щеках от неловкого сна, Григорий долго жевал губами, как лошадь, на минуту ощутившая и утратившая необыкновенный аромат какой-то травки. После спал непросыпно, без снов.

На другой день Григорий встал с необъяснимой сосущей тоской.

— Ты чего постный ныне? Станицу во сне видал? — спросил его Чубатый.

— Угадал. Степь приснилась. Так замутило на душе... Дома побывал бы. Осточертела царева службица.

Чубатый снисходительно посмеивался. Он жил все время в одной землянке с Григорием, относился к нему с тем уважением, какое сильный зверь испытывает к столь же сильному; со времени первой ссоры, в 1914 году, между ними не было стычек, и влияние Чубатого явно сказывалось на характере и психике Григория. Мировоззрение Чубатого сильно изменила война. Он туго, но неуклонно катился к отрицанию войны, подолгу говорил об изменниках-генералах и германцах, засевших в царском дворце. Раз как-то обмолвился фразой: «Добра не жди, коль сама царица германских кровей. В подходимый раз она нас за один чох могет продать...»

Однажды Григорий высказал ему суть гаранжевского учения, но Чубатый отнесся к этому неодобрительно.

— Песня-то хорошая, да голос хриповат,— говорил он, насмешливо улыбаясь, шлепая себя по сизой лысине.— Об этом Мишка Кошевой, как кочет с плетня, трубит. Толку-то нету от этих революций, баловство одно. Ты пойми то, что нам, казакам, нужна своя власть, а не иная. Нам нужен твердый царь, наподобие Миколая Миколаича[1], а с мужиками нам не по дороге,— гусь свинье не товарищ. Мужики землю норовят оттягать, рабочий жалованье себе желает прибавить,— а нам чего дадут? Земли у нас — ого! А окромя чего надо? То-то и ба, что пустая торба. Царек-то у нас хреновый,— нечего греха таить. Папаша ихний был потверже, а этот достукается, что взыграет, как в пятом годе, революция, и к едрене-Матрене пойдет все колесом

[1] Николай Николаевич (1856—1929) — великий князь, верховный главнокомандующий русской армии с начала мировой войны. Во время гражданской войны бежал за границу, где, поддерживаемый Врангелем и большей частью монархистов, был одним из «претендентов» на русский престол.

с горы. Нам это не на руку. Коль, не дай бог, прогонят царя, то и до нас доберутся. Тут старую злобу прикинут, а тут земли наши зачнут мужикам нарезать. Ухи надо востро держать...

— Ты завсегда одним боком думаешь,— хмурился Григорий.

— Пустое гутаришь. Ты молодой ишо, необъезженный. А вот погоди, умылят тебя дюжей, тогда узнаешь, на чьей делянке правда.

На этом обычно разговоры кончались. Григорий умолкал, а Чубатый старался заговорить о чем-либо постороннем.

В тот день случай втянул Григория в неприятную историю. В полдень, как всегда, с той стороны холма остановилась подъехавшая полевая кухня. К ней по ходам сообщения, обгоняя друг друга, заторопились казаки. Для третьего взвода за пищей ходил Мишка Кошевой. На длинной палке он принес снизку дымящихся котелков и, едва лишь вошел в землянку, крикнул:

— Так нельзя, братýшки! Что ж это, аль мы собаки?

— Ты об чем? — спросил Чубатый.

— Дохлиной нас кормят! — возмущенно крикнул Кошевой.

Он кивком откинул назад золотистый чуб, похожий на заплетенную гроздь дикого хмеля, и, ставя на нары котелки, кося на Чубатого глазом, предложил:

— Понюхай, чем щи воняют.

Чубатый, нагнувшись над своим котелком, ворочал ноздрями, кривился, и, невольно подражая ему, так же двигал ноздрями, морщил тусклое лицо Кошевой.

— Вонючее мясо,— решил Чубатый.

Он брезгливо отставил котелок, глянул на Григория.

Тот рывком поднялся с нар, сгорбатил и без того вислый нос над щеками, откинулся назад и ленивым движением ноги сбил передний котелок на землю.

— На что так-то? — нерешительно проговорил Чубатый.

— А ты не видишь — на что? Глянь. Аль ты подслепый? Это что? — указал Григорий на расползавшуюся под ногами мутную жижу.

— О-о-о-о! Черви!.. Мама стара... А я и не видал!.. Вот так обед. Это не щи, а лапша... Замест потрохов — с червями.

На полу, возле сукровично-красного куска мяса, в кружочках жировых пятен лежали, вяло распластавшись, выварившиеся, белые пухло-коленчатые черви.

— Один, другой, третий, четвертый...— почему-то шепотом считал Кошевой.

С минуту молчали. Григорий плевал сквозь зубы. Кошевой обнажил шашку, сказал:

— Зараз арестуем эти щи и — к сотенному.

— Во! Дельно! — одобрил Чубатый.

Он засуетился, отвинчивая штык, говорил:

— Мы будем гнать щи, а ты, Гришка, должон следом идтить. Сотенному отрапортуешь.

На штыке Чубатый и Мишка Кошевой несли полный котелок щей, шашки держали наголо. Позади сопровождал их Григорий, а за ним сплошной серо-зеленой волной двигались по зигзагам траншей выбежавшие из землянок казаки.

— Что такое?

— Тревога?

— Может, насчет мира что?

— Какой там... мира тебе захотелось, а сухаря не хошь?

— Щи червивые арестовали!

У офицерской землянки Чубатый с Кошевым остановились. Григорий, пригибаясь, придерживая левой рукой фуражку, шагнул в «лисью нору».

— Не напирай! — зло оскалился Чубатый, оглядываясь на толкнувшего его казака.

Сотенный командир вышел, застегивая шинель, недоумевающе и чуть встревоженно оглядываясь на Григория выходившего из землянки последним.

— В чем дело, братцы? — командир заскользил глазами по головам казаков.

Григорий зашел ему наперед, ответил в общей тишине:

— Арестованного пригнали.

— Какого арестованного?

— А вот...— Григорий указал на котелок щей, стоявший у ног Чубатого.— Вот арестованный... Понюхайте, чем ваших казаков кормят.

У него неровным треугольником изломалась бровь и, мелко подрожав, выпрямилась. Сотенный пытливо следил за выражением Григорьева лица; хмурясь, перевел взгляд на котелок.

— Падлом зачали кормить! — запальчиво выкрикнул Мишка Кошевой.

— Каптера сменить!

— Гадюка!..

— Зажрался, дьявол!

— Он из бычиных почек щи лопает...

— А тут с червями! — подхватили ближние.

Сотенный, выждав, пока улегся гул голосов, сказал резко:

— Ти-ш-ше! Молчать теперь! Все сказано. Каптенармуса сегодня же сменяю. Назначу комиссию для того, чтобы обследовать его действия. Если недоброкачественное мясо...

— К суду его! — громыхнуло сзади.

Голос сотенного захлестнуло новым валом вскриков.

Каптенармуса сменять пришлось в дороге. Через несколько часов после того, как взбунтовавшиеся казаки арестовали и пригнали к сотенному щи, штаб 12-го полка получил приказ сняться с позиций и по приложенному к приказу маршруту походным порядком двигаться в Румынию. Ночью казаков сменили сибирские стрелки. В местечке Рынвичи полк разобрал лошадей и наутро форсированным маршем пошел в Румынию.

На помощь румынам, терпевшим поражение за поражением, перебрасывались крупные войсковые соединения. Это видно было уже по одному тому, что в первый же день похода квартирьеры, высланные перед вечером в деревню, где по маршрутному расписанию была указана ночевка, вернулись ни с чем: деревня была до отказа забита пехотой и артиллерией, тоже передвигавшейся к румынской границе. Полк вынужден был сделать лишние восемь верст, чтобы обеспечиться квартирами.

Шли семнадцать дней. Лошади отощали от бескормицы. В разоренной войной прифронтовой полосе не было кормов; жители или бежали внутрь России, или скрывались в лесах; раскрытые халупы пасмурно чернели нагими стенами, редко на обезлюдевшей улице встречали казаки хмурого напуганного жителя, да и тот, завидя вооруженных, спешил скрыться. Казаки, разбитые непрестанным походом, назябшиеся и злые за себя, за лошадей, за все, что приходилось терпеть, раскрывали соломенные крыши построек; в деревнях, уцелевших от разгрома, не стеснялись воровать скудный кормишко, и никакими угрозами со

стороны командного состава нельзя было удержать их от произвола и воровства.

Уже неподалеку от румынской территории, в какой-то зажиточной деревушке, Чубатый ухитрился выкрасть из амбара с меру ячменя. Хозяин поймал его с поличным, но Чубатый избил смирного, престарелого бессарабца, а ячмень унес-таки коню. Взводный офицер застал его у коновязи. Чубатый навесил торбу коню, ходил, оглаживая дрожащими руками его запавшие мослаковатые бока, как человеку, засматривал ему в глаза.

— Урюпин! Отдай ячмень, сукин сын! Тебя же, мерзавца, расстреляют за это!..

Чубатый глянул на офицера задымленным косым взглядом и, хлопнув под ноги фуражку, в первый раз за свою бытность в полку разразился истошным криком:

— Судите! Расстреляйте! Убей меня тут, а ячмень не отдам!.. Что, мой конь с голоду должен сдыхать? А? Не дам ячмень! Зерна одного не дам!

Он хватался то за голову, то за гриву жадно жевавшего коня, то за шашку...

Офицер постоял молча, поглядел на чудовищно оголенные конские кострецы и, кивнув головой, сказал:

— Что же ты горячему-то даешь зерно?

В голосе его явственно сквозило смущение.

— Не, он остыл уж,— почти шепотом ответил Чубатый, собирая на ладонь упавшие из торбы зерна и вновь ссыпая их туда же.

* * *

В первых числах ноября полк был уже на позициях. Над Трансильванскими горами вились ветры, в ущельях бугрился морозный туман, крепко пахли сосновые леса, опаленные заморозками, и на первом чистом снегу в горах чаще попадались на глаза людям следы зверей: волки, лоси, дикие козы, вспугнутые войной, покинувшие дикие урочища, уходили в глубь страны.

7 ноября 12-й полк штурмовал высоту «320». Накануне окопы занимали австрийцы, а в день штурма утром сменили их саксонцы, только что переброшенные с французского фронта. Казаки в пешем строю шли по каменистым, слегка запорошенным снегом склонам. Из-под ног осыпалась мерзлая крошка камня, курилась мелкая снежная

пыль. Григорий шел рядом с Чубатым и виновато, небывало застенчиво улыбаясь, говорил ему:

— Я чтой-то ноне робею... Будто в первый раз иду наступать.

— Да ну?..— дивился Чубатый.

Он нес свою отерханную винтовку, держа ее за ремень; обсасывал с усов ледяные сосульки.

Казаки двигались в гору неровными цепями, шли без выстрела. Гребни вражеских окопов угрожающе молчали. Там, за увалом, у немцев, лейтенант-саксонец, с красным от ветра лицом и облупившимся носом, откидываясь всем корпусом назад, улыбаясь, кричал задорно солдатам:

— Kameraden! Wir haben die Blaumäntel oft genug gedroschen! Da wollen wir's auch diesen einpfeffern, was es heißt mit uns'n Hühnchen zu rupfen! Ausharren! Schießt noch nich [1].

Шли в штурм казачьи сотни. Сыпалась из-под ног рыхлая каменистая порода. Подтыкая концы порыжелого башлыка, Григорий нервно улыбался. Впавшие щеки его, усеянные черным жнивьем давно не бритой бороды, и вислый нос отливали желтой синевой, из-под заиневших бровей тускло, как осколки антрацита, светили глаза. Обычное спокойствие покинуло его. Ломая в себе внезапно вернувшееся проклятое чувство боязни, он говорил Чубатому, щуря неверный взгляд на седой, притрушенный снежком гребень окопов:

— Молчат. Подпущают поближе. А я боюсь, и не совестно мне... Что ежли зараз повернуться и — назад?

— Чего ты галдишь ноне? — раздраженно допытывался Чубатый.— Тут, милый, как в картежной игре: не веришь себе — голову снимут. Ты из лица пожелтел, Гришка... Ты либо хворый, либо... кокнут нынче тебя. Гляка! Видал?

Над окопами на секунду встал во весь рост и вновь упал немец в короткой шинели и острошипой каске.

Левее Григория красивый светло-русый казак Еланской станицы на ходу то снимал с правой руки перчатку, то надевал опять. Он повторял это движение беспрерывно, торопливо шагая, трудно сгибая ноги в коленях и преувеличенно громко покашливая. «Будто один ночью идет...

---

[1] Друзья! Мы били не раз синешинельников! Давайте же покажем и этим, что значит иметь дело с нами. Больше выдержки. Не стреляйте пока! *(нем.)*

насильно кашляет,— веселит себя»,— подумал про него Григорий. За этим казаком виднелась веснушчатая щека урядника Максаева, дальше шагал Емельян Грошев, твердо выставив винтовку с завернутым на сторону жалом штыка. Григорий вспомнил, что Емельян несколько дней назад на походе украл у румына мешок кукурузы, взломав вот этим штыком замок у чулана. Почти рядом с Максаевым шел Кошевой Мишка. Он жадно курил, часто сморкался, вытирая пальцы о наружную сторону левой полы шинели.

— Пить хочу,— говорил Максаев.

— Мне, Емельян, сапоги тесные. Нету через них ходу,— жаловался Мишка Кошевой.

Грошев прервал его озлобленно:

— Не об сапогах тут речь! Держись, зараз из пулемета немец полосканет.

После первого же залпа, сбитый с ног пулей, Григорий, охнув, упал. Он хотел было перевязать раненую руку, потянулся к подсумку, где лежал бинт, но ощущение горячей крови, шибко плескавшей от локтя внутри рукава, обессилило его. Он лег плашмя и, пряча за камень затяжелевшую голову, лизнул разом пересохшим языком пушистый завиток снега. Он жадно хватал дрожащими губами рассыпчатую снежную пыль, с небывалым страхом и дрожью вслушиваясь в сухое и резкое пощелкивание пуль и во всеобъемлющий грохот выстрелов. Приподняв голову, увидел, как казаки его сотни бежали под гору, скользя, падая, бесцельно стреляя назад и вверх. Ничем не объяснимый и не оправдываемый страх поставил его на ноги и также заставил бежать вниз, туда, к острозубчатой прошве соснового леса, откуда полк развивал наступление. Григорий опередил Грошева Емельяна, увлекавшего за собой раненого взводного офицера. Грошев бегом сводил того по крутому склону; сотник пьяно путал ногами и, редко припадая к плечу Грошева, блевал черными сгустками крови. Сотни лавиной катились к лесу. На серых скатах остались серые комочки убитых; раненые, которых не успели захватить, сползали сами. Вслед резали их пулеметы.

У-у-у-ка-ка-ка-ка!..— рвался хлопьями сплошной поток выстрелов.

Григорий, опираясь на руку Мишки Кошевого, входил в лес. На пологой площадке у леса рикошетили пули. На левом фланге у немцев дробно стукотел пулемет. Казалось,

будто по первому ломкому льду скачет, вызванивая, камень, пущенный сильной рукой.

У-у-у-у-ка-ка-ка-ка-ка!..

— Насыпали нам! — словно радуясь, выкрикнул Чубатый.

Прислонясь к рыжему стволу сосны, он лениво постреливал по перебегавшим над окопами немцам.

— Дураков учить надо! Учить! — вырывая у Григория руку, задыхаясь, закричал Кошевой.— Сука народ! Хуже! Кровью весь изойдет, тогда поймет, за что его по голове гвоздют!

— Ты к чему это? — Чубатый сощурился.

— Умный сам поймет, а дураку... дураку что? Ему силком не вдолбишь.

— Ты об присяге помнишь? Ты присягал аль нет? — привязывался Чубатый.

Кошевой, не отвечая, припал на колени, трясущимися руками сгребал с земли снег, глотал его с жадностью, мелко дрожа, кашляя.

V

Сбочь хутора Татарского, по небу, изморщенному седой облачной рябью, колесило осеннее солнце. Там, вверху, тихий ветерок лишь слегка подталкивал тучи, сплавляя их на запад, а над хутором, над темно-зеленой равниной Дона, над голыми лесами бил он мощными струями, гнул вершины верб и тополей, взрыхлял Дон, гнал по улицам табуны рыжих листьев. На Христонином гумне взлохматился плохо свершенный скирд пшеничной соломы, ветер, вгрызаясь, подрыл ему вершину, свалил тонкую жердь и вдруг, подхватив золотое беремя соломы, как на навильнике, понес его над базом, завертел над улицей и, щедро посыпав пустую дорогу, кинул ощетиненный ворох на крышу куреня Степана Астахова. Христонина жена, простоволосая, выскочила на баз, зажимая коленками юбку, поглядела, как ветер хозяйничает на гумне, и опять ушла в сенцы.

Третий год войны заметно сказывался на хозяйстве хутора. Те дворы, где не осталось казаков, щерились раскрытыми сараями, обветшалыми базами, постепенное разрушение оставляло на них свои неприглядные следы. Христонина жена хозяйствовала с девятилетним сыниш-

кой; Аникушкина баба совсем не хозяйствовала, а по жалмерскому своему положению усиленно ухаживала за собой: румянилась, наводила красоту и за недостатком взрослых казаков принимала ребятишек лет по четырнадцати и больше, о чем красноречиво свидетельствовали дощатые ворота, в свое время обильно измазанные дегтем и досель хранившие бурые обличающие следы. Курень Степана Астахова пустовал, окна перед уходом забил хозяин досками, крыша местами ввалилась, поросла лопушатником, на дверях ржавел замок, а в раскрытые ворота база, непролазно заросшего бурьяном и лебедой, заходила в любое время поблудная скотина, ища приюта от жары или непогоды. У Томилина Ивана падала на улицу стена хаты, держала ее врытая в землю рогатая подпорка,— видно, мстила лихому артиллеристу судьба за те немецкие и русские домики, которые разрушил он, будучи наводчиком.

И так по всем улицам и переулкам хутора. В нижнем конце лишь у Пантелея Прокофьевича по-настоящему выглядел баз: все исправно, целостно. Но и то не во всем. На крыше амбара попадали от ветхости жестяные петухи, скособочился амбар, некоторую бесхозяйственность мог приметить опытный глаз. Не до всего доходили руки старика, посев уменьшился, а про остальное уж и говорить нечего; лишь семья мелеховская не уменьшилась числом: на замену Петру и Григорию, таскавшимся по фронтам, в начале осени прошлого года родила Наталья двойню. Ухитрилась угодить свекрам, родив мальчика и девочку. Беременность Наталья переносила болезненно, иногда целыми днями нельзя было ходить из-за мучительных болей в ногах, двигалась, приволакивая ногу, морщась, но боль терпела стойко,— на смуглом, похудевшем и счастливом лице никогда она не отражалась. В минуты, когда особенно сводило ноги, на висках бисером проступал пот; лишь по этому догадывалась Ильинична; качая головой, ругалась:

— Ляжь ты, окаян-на-я! Что ты себя мордуешь?

В ясный сентябрьский день Наталья, почувствовав приближение родов, вышла на улицу.

— Ты куда это? — спросила свекровь.

— В займище. Проведаю коров.

Наталья торопливо вышла за хутор, оглядываясь, стоная, придерживая руками низ живота, забралась в густую заросль дикого терна и легла. Уже стемнело, когда она

задами пробралась домой. В холщовой завеске принесла двойнят.

— Милушка моя! Проклятая! Что ж ты это?.. Где ж ты была? — заголосила Ильинична.

— Я от стыда ушла... Батю не смела... Я чистая, маманя, и их искупала... Возьмите...— бледнея, оправдывалась Наталья.

Дуняшка кинулась за бабкой-повитухой. Дарья суетилась, застилая решето, а Ильинична, смеясь и плача, выкрикивала:

— Дашка! Брось ты решето! Котята они, что ли, что ты их в решето?.. Господи, да двое их! Ой, господи, парнишка один!.. Натальюшка!.. Да постелите ей!..

Пантелей Прокофьевич, услышав на базу о том, что сноха разрешилась двойней, вначале руками развел, потом обрадованно, потурсучив бороду, заплакал и ни с того ни с сего накричал на подоспевшую бабку-повитуху:

— Брешешь, канунница! — он тряс перед носом старухи когтистым пальцем.— Брешешь! Ишо не зараз переведется мелеховская порода! Казака с девкой подарила сноха. Вот сноха — так сноха! Господи, бож-же мой! За такую-то милость чем я ей, душеньке, отхвитаю!

Урожайный был тот год: корова отелила двойню, к Михайлову дню овцы окотили по двойне, козы... Пантелей Прокофьевич, дивясь такому случаю, сам с собою рассуждал:

«Счастливый ноне год, накладистый! Кругом двоится. Теперича приплоду у нас... ого-го!»

Наталья кормила детей грудью до года. В сентябре отняла их, но не оправилась до глубокой осени; на похудевшем лице молочно блестели зубы да теплым, парным блеском светились, от худобы казавшиеся чрезмерно большими, глаза. Всю жизнь вбивала в детей, стала неряшливей к себе, все время, свободное от работы по домашности, тратила на них: мыла, стирала, вязала, штопала и часто, примостившись боком к кровати, свесив ногу, брала из люльки двойнят и, движением плеч высвобождая из просторной рубахи туго налитые, большие бело-желтые, как дыни, груди, кормила сразу двоих.

— Они тебя и так вытянули всю. Часто дюже кормишь! — и Ильинична шлепала полные, в складках, ножонки внучат.

— Корми! Не жалей молока! Тебе его не на каймак сбирать,— с ревнивой грубоватостью вступался Пантелей Прокофьевич.

В эти годы шла жизнь на сбыв — как полая вода в Дону. Скучные, томились дни и, чередуясь, проходили неприметно, в постоянной толчее, в работе, в нуждишках, в малых радостях и большой неусыпной тревоге за тех, кто был на войне. От Петра и Григория приходили из действующей армии редкие письма в конвертах, измусленных и запятнанных почтовыми штемпелями. Последнее письмо Григория побывало в чьих-то руках: половина письма была аккуратно затушевана фиолетовыми чернилами, а на полях серой бумаги стоял непонятный чернильный значок. Петро писал чаще Григория и в письмах, адресованных Дарье, грозил ей и просил бросить баловство,— видно, слухи о вольном житье жены доходили и до него. Григорий вместе с письмами пересылал домой деньги — жалованье и «крестовые», сулил в отпуск прийти, но что-то не шел. Дороги братьев растекались врозь: гнула Григория война, высасывала с лица румянец, красила его желчью, не чаял конца войны дождаться, а Петро быстро и гладко шел в гору, получил под осень шестнадцатого года вахмистра, заработал, подлизываясь к командиру сотни, два креста и уже поговаривал в письмах о том, что бьется над тем, чтобы послали его подучиться в офицерскую школу. Летом с Аникушкой, приходившим в отпуск, прислал домой немецкую каску, шинель и свою фотографическую карточку. С серого куска картона самодовольно глядело постаревшее лицо его, торчмя стояли закрученные белесые усы, под курносым носом знакомой улыбкой щерились твердые губы. Сама жизнь улыбалась Петру, а война радовала, потому что открывала перспективы необыкновенные: ему ли, простому казаку, с мальства крутившему хвосты быкам, было думать об офицерстве и иной сладкой жизни? С одного лишь края являла Петрова жизнь неприглядную щербатину: ходили по хутору дурные про жену слухи. Степан Астахов был в отпуске осенью этого года и, вернувшись в полк, бахвалился перед всей сотней о том, что славно пожил он с Петровой жалмеркой. Не верил Петро, слушая рассказы товарищей; темнея лицом, улыбался, говорил:

— Брешет Степка! Это он за Гришку мне солит.

Но однажды, случайно ли или нарочно, выходя из окопной землянки, обронил Степан вышитую утирку;

следом за ним шел Петро, поднял кружевную, искусно расшитую утирку и узнал в ней рукоделье жены. Вновь в калмыцкий узелок завязалась злоба меж Петром и Степаном. Случай стерег Петро, смерть стерегла Степана,— лежать бы ему на берегу Западной Двины с Петровой отметиной на черепе. Но вскоре так случилось, что пошел Степан охотником снимать немецкую заставу и не вернулся. Рассказывали казаки, ходившие с ним, будто услыхал немецкий часовой, что режут они проволочные заграждения, кинул гранату; успели казаки прорваться к нему, кулаком сшиб с ног Степан немца-часового, а подчасок выстрелил, и упал Степан. Казаки закололи подчаска, обеспамятевшего немца, сбитого Степаном кулачной свинчаткой, уволокли, а Степана подняли было, хотели унести, но тяжел оказался казак,— пришлось бросить. Просил раненый Степан: «Братцы! Не дайте пропасть! Братцы! Что ж вы меня бросаете?..» Но брызнула тут по проволоке пулеметная струя, и уползли казаки. «Станишники! Братцы!» — кричал вслед Степан, да где уж там — своя рубашка, а не чужая к телу липнет. После того как услышал Петро про Степана, полегчало, словно ссадную болячку сурчиным жиром смазали, но все же решил: «Пойду в отпуск — кровь из Дашки выну! Я не Степан, так не спущу...» — подумал было убить ее, но сейчас же отверг эту мысль: «Убей гадюку, а через нее вся жизнь спортится. В тюрьме сгниешь, все труды пропадут, всего лишишься...» Просто решил избить, но так, чтобы на всю жизнь отбило у бабы охоту хвост трепать: «Глаз выбью ей, змее,— черт на нее тогда позавидует». Так придумал Петро, отсиживаясь в окопах, неподалеку от крутоглинистого берега Западной Двины.

Мяла деревья и травы осень, жгли их утренники, холодела земля, чернели, удлиняясь, осенние ночи. В окопах отбывали казаки наряды, стреляли по неприятелю, ругались с вахмистрами за теплое обмундирование, впроголодь ели, но не выходила ни у кого из головы далекая от неласковой польской земли Донщина.

А Дарья Мелехова в эту осень наверстывала за всю голодную безмужнюю жизнь. На первый день покрова Пантелей Прокофьевич проснулся, как и всегда, раньше всех; вышел на баз и за голову ухватился; ворота, снятые с петель чьими-то озорными руками и отнесенные на середину улицы, лежали поперек дороги. Это был позор. Ворота старик сейчас же водворил на место, а после завтрака по-

звал Дарью в летнюю стряпку. О чем он с ней говорил — неизвестно, но Дуняшка видела, как спустя несколько минут Дарья выскочила из стряпки со сбитым на плечи платком, растрепанная и в слезах. Проходя мимо Дуняшки, она ежила плечи, крутые черные дуги бровей дрожали на ее заплаканном и злом лице.

— Подожди, проклятый!.. Я тебе припомню! — цедила она сквозь вспухшие губы.

Кофточка на спине ее была разорвана, виднелся на белом теле багрово-синий свежий подтек. Дарья, вильнув подолом, взбежала на крыльцо куреня, скрылась в сенях, а из стряпки прохромал Пантелей Прокофьевич, злой, как черт. Он на ходу складывал вчетверо новые ременные вожжи.

Дуняшка услышала сиповатый отцов голос:

— ...Тебе, сучке, не так надо бы ввалить!.. Потаскуха!..

Порядок в курене был водворен. Несколько дней Дарья ходила тише воды, ниже травы, по вечерам раньше всех ложилась спать, на сочувственные взгляды Натальи холодно улыбалась, вздергивая плечом и бровью: «Ничего, дескать, посмотрим»,— а на четвертый день и произошел этой случай, о котором знали лишь Дарья да Пантелей Прокофьевич. Дарья после торжествующе посмеивалась, а старик целую неделю ходил смущенный, растерянный, будто нашкодивший кот; старухе он не сказал о случившемся и даже на исповеди утаил от отца Виссариона и случай этот и греховные свои мысли после него.

Дело было так. Вскоре после покрова Пантелей Прокофьевич, уверовавший в окончательное исправление Дарьи, говорил Ильиничне:

— Ты Дашку не милуй! Нехай побольше работы несет. За делами некогда будет блудить-то, а то она — гладкая кобыла... У ней только что на уме — игрища да улица.

С этой целью он заставил Дарью вычистить гумно, прибрать на заднем базу старые дрова, вместе с ней чистил мякинник. Уже перед вечером надумал перенести веялку из сарая в мякинник, позвал сноху:

— Дарья!

— Чего, батя? — откликнулась та из мякинника.

— Иди, веялку перенесем.

Оправляя платок, отряхиваясь от мякинной трухи, насыпавшейся за воротник кофты, Дарья вышла из дверей мякинника и через гуменные воротца пошла к сараю. Пантелей Прокофьевич, одетый в ватную расхожую курт-

ку и рваные шаровары, хромал впереди нее. На базу было пусто. Дуняшка с матерью пряли осенней чески шерсть, Наталья ставила тесто. За хутором рдяно догорала заря, звонили к вечерне. В прозрачном небе, в зените стояло малиновое недвижное облачко, за Доном на голых ветках седоватых тополей черными горелыми хлопьями висели грачи. В ломкой пустозвучной тишине вечера был четок и выверенно-строг каждый звук. Со скотиньего база тек тяжкий запах парного навоза и сена. Пантелей Прокофьевич, покряхтывая, внес с Дарьей в мякинник вылинявшую рыже-красную веялку, установил ее в углу, сдвинул граблями ссыпавшуюся из вороха мякину и собрался выходить.

— Батя! — низким, пришептывающим голосом окликнула его Дарья.

Он шагнул за веялку; ничего не подозревая, спросил:

— Чего тут?

Дарья в распахнутой кофте стояла лицом к нему; закинув за голову руки, поправляла волосы. На нее из щели в стене мякинника падал кровяной закатный луч.

— Тут вот, батя, что-то... Подойди-ка, глянь,— говорила она, перегибаясь набок и воровски, из-за плеча свекра, поглядывая на распахнутую дверь.

Старик подошел к ней вплотную. Дарья вдруг вскинула руки и, охватив шею свекра, скрестив пальцы, пятилась, увлекая его за собой, шепча:

— Вот тут, батя... Тут... мягко...

— Ты чегой-то? — испуганно спрашивал Пантелей Прокофьевич.

Вертя головой, он попытался освободить шею от Дарьиных рук, но она притягивала его голову к своему лицу все сильнее, дышала в бороду ему горячим ртом, смеясь, что-то шепча.

— Пусти, стерва! — старик рванулся и вплотную ощутил тугой живот снохи.

Она, прижавшись к нему, упала на спину, повалила его на себя...

— Черт! Сдурела!.. Пусти!

— Не хочешь? — задыхаясь, спросила Дарья и, разжав руки, толкнула свекра в грудь.— Не хочешь?.. Аль, может, не могешь?.. Так ты меня не суди!.. Так-то!

Вскочив на ноги, она торопливо оправила юбку, обмела со спины мякинные ости и в упор выкрикнула ошалевшему Пантелею Прокофьевичу:

— Ты за что меня надысь побил? Что ж, аль я старуха? Ты-то молодой не таковский был? Мужа — его вон год нету!.. А мне, что ж, с кобелем, что ли? Шиш тебе, хромой! Вот на, выкуси!

Дарья сделала непристойное движение и, играя бровями, пошла к дверям. У дверей она еще раз внимательно оглядела себя, стряхнула с кофты и платка пыль, сказала, не глядя на свекра:

— Мне без этого нельзя... Мне казак нужен, а не хочешь — я найду себе, а ты помалкивай!

Она виляющей быстрой походкой дошла до гуменных ворот, скрылась, не оглянувшись, а Пантелей Прокофьевич все стоял у рыжего бока веялки, жевал бороду и недоуменно и виновато оглядывал мякинник и концы своих латаных чириков. «Неужели на ее стороне правда? Может, мне надо бы было с нею грех принять?» — оглушенный происшедшим, растерянно думал он в этот миг.

VI

В ноябре в обним жали морозы. Ранний перепадал снежок. На колене против верхнего конца хутора Татарского стал Дон. По хрупкому сизому льду перебирались редкие пешеходы на ту сторону, а ниже одни лишь окраинцы подернулись пузырчатым ледком, на середине бугрилось стремя, смыкались и трясли седыми вихрами зеленые валы. На яме, против Черного яра, в дрямах [1], на одиннадцатисаженной глубине давно уже стали на зимовку сомы, в головах у них — одетые слизью сазаны, одна бель моталась по Дону да на перемыках шарахался судак, гоняясь за калинкой. На хрящу легла стерлядь. Ждали рыбаки морозов поядреней, покрепче,— чтобы по первому льду пошарить цапками, полапать красную рыбу.

В ноябре получили Мелеховы письмо от Григория. Писал из Кувински, из Румынии, о том, что ранен был в первом же бою, пуля раздробила ему кость левой руки, поэтому отправляют его на излечение в свой округ, в станицу Каменскую. Следом за письмом проведала мелеховский курень другая беда; года полтора назад подошла Пантелею Прокофьевичу нужда в деньгах, взял у Мохова Сергея Платоновича сто рублей серебром под запродажное

[1] Д р я м — хворост, валежник.

письмо. Летом в этом году вызвали старика в магазин, и Атепин-Цаца, ущемив нос в золотое пенсне, глядя поверх стекол на мелеховскую бороду, заявил:

— Что же ты, Пантелей Прокофьиц, будешь платить или как?

Оглядел Пантелей Прокофьевич пустующие полки и глянцевитый от старости прилавок, помялся.

— Погоди, Емельян Констентиныч, обернусь трошки — заплачу.

На том кончился разговор. Обернуться старику не пришлось,— урожай не указал, а из гулевой скотины нечего было продавать. И вот тебе, как снег на темя,— приехал судебный пристав, прислал за неплательщиком — и в два оборота:

— Вынь да положь сто целковых.

На въезжей, в комнате пристава, на столе длинная бумага, на ней читай — не перечь:

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 1916 года октября 27 дня, я, Донецкого округа Мировой судья 7-го участка, слушал гражданское дело по иску мещанина Сергея Мохова с урядника Пантелеймона Мелехова 100 руб. по запродажному письму и, руководствуясь ст. ст. 81, 100, 129, 133, 145, Уст. Гр. Суд., заочно

определил:

Взыскать с ответчика, урядника Пантелеймона Прокофьева Мелехова в пользу истца, мещанина Сергея Платоновича Мохова, сто рублей по запродажному письму от 21 июня 1915 года, а так же три рубля судебных и за ведение дела и издержек. Решение не окончательное; объявить как заочное.

Решение это, на основании 3 пункт. 156 ст. Устава Граждан. Судопр., подлежит немедленному исполнению, как вошедшее в законную силу. Донецк. Окр. Мировой судья 7-го участка, по Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, приказал: всем местам и лицам, до коих сие может относиться, исполнить в точности настоящее решение, а властям местным, полицейским и военным оказывать исполняющему решение Приставу надлежащее по закону содействие без малейшего отлагательства.

Пантелей Прокофьевич, выслушав пристава, попросил разрешения сходить домой, пообещав сегодня же внести деньги. Со въезжей он прямо направился к свату Коршунову. На площади повстречался с безруким Алешкой Шамилем.

— Хромаешь, Прокофьич? — приветствовал его Шамиль.

— Помаленечку.

— Далеко ли бог несет?

— К свату. Дельце есть.

— О! А у них, брат, радость. Не слыхал? Сынок Мирона Григорича с фронта пришел. Митька ихний пришел, гутарют.

— В самом деле?

— Слыхал такую брехню,— мигая щекой и глазом, доставая кисет и подходя к Пантелею Прокофьевичу, говорил Шамиль.— Давай закурим, дядя! Бумажка моя, табачок твой.

Закуривая, Пантелей Прокофьевич колебался — идти или нет; в конце концов решил пойти и, попрощавшись с безруким, захромал дальше.

— Митька-то тоже с крестом! Норовит твоих сынов догнать. У нас теперь по хутору кавалеров этих — как воробьев в хворосте! — горланил вслед ему Шамиль.

Пантелей Прокофьевич не спеша вышел в конец хутора; поглядывая на окна коршуновского куреня, подошел к калитке. Встретил его сам сват. Веснушчатое лицо старика Коршунова словно вымыла радость, казался он и чище и не таким уж конопатым.

— Прослыхал про нашу радость? — ручкаясь со сватом, спрашивал Мирон Григорьевич.

— Дорогой от Алешки Шамиля узнал. Я к тебе, сваток, по другому делу...

— Погоди, какие дела! Пойдем в куреня — служивого встренешь. Мы, признаться, на радостях трошки подпили... У моей бабы блюлась бутылка царской про свят случай.

— Ты мне не рассказывай,— шевеля ноздрями горбатого носа, улыбнулся Пантелей Прокофьевич: — Я ишо издаля почуял!

Мирон Григорьевич распахнул дверь, пропуская свата вперед. Тот шагнул через порог и сразу уперся взглядом в Митьку, сидевшего за столом в переднем углу.

— Вот он, наш служивый! — плача, воскликнул дед Гришака и припал к плечу вставшего Митьки.

— Ну с прибытьем, казачок!

Пантелей Прокофьевич, подержав длинную ладонь Митьки, отступил шаг назад, дивясь и оглядывая его.

— Чего смотрите, сват? — улыбаясь, хриповато пробасил Митька.

— Гляжу — и диву даюсь: провожали вас на службу с Гришкой — ребятами были, а теперь ишь... казак, прямо хочь в Атаманский!

Лукинична, заплаканными глазами глядя на Митьку, наливала в рюмку водку и, не видя, лила через край.

— Ты, короста! Такую добро через льешь! — прикрикнул на нее Мирон Григорьевич.

— С радостью вас, а тебя, Митрий Мироныч, с счастливым прибытием!

Пантелей Прокофьевич поворочал по сторонам синеватыми белками и, не дыша, дрожа ресницами, выцедил пузатую рюмку. Медленно вытирая ладонью губы и усы, он стрельнул глазами на дно рюмки,— запрокинув голову, стряхнул в раззявленный чернозубый рот сиротинку-каплю и только тогда перевел дух, закусывая огурцом, блаженно и долго щурясь. Сваха поднесла ему вторую, и старик как-то сразу смешно опьянел. Митька следил за ним, улыбаясь. Кошачьи зрачки его то суживались в зеленые, как осокой прорезанные, щелки, то ширились, темнели. Изменился он за эти годы неузнаваемо. Почти ничего не осталось в этом здоровенном черноусом казачине от того тонкого, стройного Митьки, которого три года назад провожали на службу. Он значительно вырос, раздался в плечах, ссутулился и пополнел, весил, наверное, никак не меньше пяти пудов, огрубев лицом и голосом, выглядел старше своих лет. Одни глаза были те же — волнующие и беспокойные; в них-то и тонула мать, смеясь и плача, изредка трогая морщеной, блеклой ладонью прямые, коротко остриженные волосы сына и белый его узкий лоб.

— Кавалером пришел? — пьяно улыбаясь, спрашивал Пантелей Прокофьевич.

— Кто теперь из казаков крестов не имеет? — нахмурился Митька.— Крючкову вон три креста навесили за то, что при штабе огинается.

— Он, сваточек, гордый у нас,— спешил дед Гришака.— Он, поганец, весь в меня, в деда. Он не могет спину гнуть.

— Кресты кубыть не за это им вешают,— насупился было Пантелей Прокофьевич, но Мирон Григорьевич увлек его в горницу; усаживая на сундук, спросил:

— Наталья с внуками как? Живы-здоровы? Ну, слава богу! Ты, сват, никак сказал, что по делу зашел? Какое

у тебя завелось дело? Говори, а то ишо выпьем — и захмелеешь.

— Денег дай. Дай ради бога! Выручи, а то бедствую с этими... деньгами.

Пантелей Прокофьевич спросил с размашистой пьяной униженностью. Сват перебил его:

— Сколько?

— Сто бумажек.

— Каких? Бумажки-то — они разные бывают.

— Сто целковых.

— Так и говори.

Мирон Григорьевич, порывшись в сундуке, достал засаленный платок, развязал его; шелестя хрусткой бумагой, отсчитал десять «красненьких».

— Спасибо, сваток... отвел от беды!

— Ну, о чем гутарить. Свои люди — сочтемся!

Митька пробыл дома пять дней; ночи проводил у Аникушкиной жены, сжалившись над горькой бабьей нуждой и над самой над ней, безотказной и простенькой бабенкой. Днями бродил по родне, по гостям. Высокий, одетый в одну легонькую защитную тужурку, попирал раскачкой хуторские улицы, сдвинув фуражку набекрень, хвастая крепостью своей на холод. Как-то перед вечером заглянул и к Мелеховым. Принес с собой в жарко натопленную кухню запах мороза и незабываемый едкий дух солдатчины. Посидел, поговорил о войне, о хуторских новостях, пощурил на Дарью зеленые, камышовые глаза и собрался уходить. Дарья, глаз не сводившая со служивого, качнулась, как пламя свечки, когда Митька, уходя, хлопнул дверью, туго поджимая губы, накинула было платок, но Ильинична спросила:

— Ты куда, Дашка?

— До ветру... по нужде.

— Пойдем вместе.

Пантелей Прокофьевич сидел, не поднимая опущенной головы, будто и не слышал разговора. Мимо него прошла к дверям Дарья, тая под опущенными веками лисий блеск; за ней кряхтя, увалисто катилась свекровь. Митька, покашливая, скрипел сапогами у калитки, курил в горсть. На звяк щеколды он шагнул было к крыльцу.

— Это ты, Митрий? Либо заблудился на чужом базу? — ехидно окликнула его Ильинична.— Ты уж калитку-то за собой засовом запри, а то ветер, хлопать будет ночью... Ветер-то ишь какой...

— Ничего, не заблудился... Запру...— помолчав, досадливо сказал Митька и, кашлянув, прямо через улицу потянул к Аникушкиному базу.

Жил Митька птичьей, бездумной жизнью: жив нынче — хорошо, а назавтра — само дело укажет. Служил он с прохладцей и, несмотря на то, что бесстрашное сердце гоняло его кровь, не особенно искал возможности выслужиться,— зато послужной список Митьки являл некоторое неблагополучие: был хозяин его два раза судим — по обвинению в изнасиловании русскоподданной польки и в грабеже, за три года войны подвергался бесчисленным наказаниям и взыскам: однажды военно-полевой суд чуть не прилепил ему даже расстрела, но как-то умел Митька выкручиваться из бед, и, хотя и был в полку на последнем счету,— любили его казаки за веселый улыбчивый нрав, за похабные песни (на них был Митька мастер не из последних), за товарищество и простоту, а офицеры — за разбойную лихость. Улыбаясь, топтал Митька землю легкими волчьими ногами, было много в нем от звериной этой породы: в походке увалистой — шаг в шаг, в манере глядеть исподлобья зелеными зрачкастыми глазами; даже в повороте головы: никогда не вертел Митька контуженой шеей — поворачивался всем корпусом, коли надо было оглянуться. Весь скрученный из тугих мускулов на широком костяке, был он легок и скуп в движениях, терпким запахом здоровья и силы веяло от него,— так пахнет поднятый лемехами чернозем в логу. Была для Митьки несложна и пряма жизнь, тянулась она пахотной бороздой, и он шел по ней полноправным хозяином. Так же примитивно просты и несложны были его мысли: голоден — можно и должно украсть, хотя бы и у товарища, и крал, когда был голоден; износились сапоги — проще простого разуть пленного немца; проштрафился, надо искупить вину — и Митька искупал: ходил в разведку, приносил снятых им полузадушенных немецких часовых, охотником шел на рискованнейшие предприятия. В 1915 году попался в плен, был избит и изранен тесаками, а ночью, изломав до корней ногти, продрал крышу сарая и бежал, захватив на память обозную упряжь. Поэтому-то многое и сходило Митьке.

На шестые сутки отвез Мирон Григорьевич сына на Миллерово, проводил его до вагона, послушал, как, удаляясь, тарахтят звенья зеленых коробок, и долго ковырял кнутовищем насыпанный у платформы шлак, не поднимал

опущенных посоловевших глаз. Плакала по сыну Лукинична, кряхтел дед Гришака, трубил в горнице, сморкаясь в ладонь, вытирая ее о замасленную полу чекменька. Плакала и Аникушкина жалмерка, вспоминая большое, горячее на ласки тело Митьки и мучаясь от триппера, которым наделил ее служивый.

Время заплетало дни, как ветер конскую гриву. Перед рождеством внезапно наступила оттепель; сутки шел дождь, с обдонской горы по ерикам, шалая, неслась вода; на обнажившихся от снега мысах зазеленели прошлогодняя травка и мшистые плитняки мела; на Дону заедями пенились окраинцы, лед, трупно синея, вздувался. Невыразимо сладкий запах излучал оголенный чернозем. По Гетманскому шляху, по прошлогодним колеям пузырилась вода. Свежими обвалами зияли глинистые за хутором яры. Южный ветер нес с Чира томленые запахи травного тлена, и в полдни на горизонте уже маячили, как весной, голубые, нежнейшие тени. По хутору около бугров высыпанной у плетней золы стояли рябые лужины. На гумнах оттаивала у скирдов земля, колола в нос прохожего приторная сладость подопревшей соломы. Днями по карнизам куреней с соломенных сосульчатых крыш стекала дегтярная вода, надрывно чечекали на плетнях сороки, и, обуреваемый преждевременным томлением весны, ревел зимовавший на базу у Мирона Григорьевича общественный бугай. Он раскидывал рогами плетни, терся о дубовую изъеденную червоточиной соху, мотал шелковистым подгрудком, копытил на базу рыхлый, напитанный талой водой снег.

На второй день рождества взломало Дон. С мощным хрустом и скрежетом шел посредине стор. На берег, как сонные чудовищные рыбы, вылезали льдины. За Доном, понукаемые южным волнующим ветром, стремились в недвижном зыбком беге тополя.

Шшшшшууууууу...— плыл оттуда сиповатый, приглушенный гул.

Но к ночи загудела гора, взго́лчились на площади вороны, мимо мелеховского куреня прокатила Христонина свинья с клочком сена в пасти, и Пантелей Прокофьевич решил: «Прищемило весну, завтра саданет мороз». Ночью ветер повернул с востока, легонький морозец кристальным ледком латал изорванные оттепелью лужины. К утру дул уже московский ветер, тяжко давил мороз. Вновь водворилась зима. Лишь посредине Дона, напоминая об оттепе-

ли, большими белыми листьями плыли шматки льдин, да на бугре морозно дымилась обнаженная земля.

Вскоре после рождества Пантелею Прокофьевичу на станичном сходе сообщил писарь о том, что видел в Каменской Григория и что тот просил уведомить родных о скором своем приезде.

VII

Маленькими смуглыми руками, покрытыми редким глянцем волоса, щупал Сергей Платонович Мохов жизнь со всех сторон. Иногда и она с ним заигрывала, иногда висела, как камень на шее утопленника. Многое перевидал Сергей Платонович на своем веку, в разных бывал передрягах. Давненько, когда работал еще по ссыпке, пришлось ему за гроши скупить у казаков хлеб, а потом вывезти за хутор и ссыпать в Дурной яр четыре тысячи пудов сгоревшейся пшеницы. Помнил и 1905 год,— и в него осенней ночухой разрядил кто-то из хуторских дробовик. Богател Мохов и проживался, под конец сколотил шестьдесят тысяч, положил их в Волго-Камский банк, но дальним нюхом чуял, что неотвратимо подходит время великого потрясения. Ждал Сергей Платонович черных дней и не ошибся: в январе семнадцатого года учитель Баланда, исподволь умиравший от туберкулеза, жаловался ему:

— Революция на носу, а тут изволь издыхать от глупейшей и сентиментальнейшей болезни. Обидно, Сергей Платонович!.. Обидно, что не придется поглядеть, как распотрошат ваши капиталы и вас вспугнут из теплого гнездышка.

— Что же тут обидного?

— А как же? Все же, знаете, приятно будет видеть, как все пойдет прахом.

— Нет уж, милый мой! Умри ты нынче, я завтра! — тайно злобясь, говорил Сергей Платонович.

В январе еще блуждали по хуторам и станицам отголоски столичных разговоров о Распутине и царской фамилии, а в начале марта, как стрепета сетью, накрыла Сергея Платоновича весть о низвержении самодержавия. Казаки отнеслись к известию о перевороте со сдержанной тревогой и выжиданием. В этот день у закрытой моховской лавки толпились до вечера старики и казаки помоложе. Хуторской атаман Кирюшка Солдатов (преемник убитого Маныцкова), большой рыжеусый и чуть раскосый казак,

был подавлен, в разговоре, оживленно закипевшем у лавки, участия почти не принимал, ползал косыми глазами по казакам, изредка вставляя растерянное восклицание:

— Наворошили делов!.. Ну и ну!.. Как теперича жить!..

Сергей Платонович, увидев из окна толпу у лавки, решил пойти потолковать со стариками. Надел енотку и, опираясь на коричневую трость со скромными серебряными инициалами, вышел на парадное крыльцо. От лавки сочился гомон.

— Ну, Платоныч, ты человек грамотный, расскажи нам, темным, что теперь и как будет? — спросил Матвей Кашулин, напуганно улыбаясь, собирая у зябкого носа косые складки.

На поклон Сергея Платоновича старики почтительно снимали шапки, расступались, давая место в кругу.

— Без царя будем жить...— помялся Сергей Платонович.

Старики заговорили все сразу:

— Как же без царя-то?

— Отцы наши и деды при царях жили, а теперя не нужен царь?

— Голову сними — небось, ноги без нее жить не будут.

— Какая же власть заступит?

— Да ты не мнись, Платоныч! Гутарь с нами по чистой... Чего ты опасаешься?

— Он, может, и сам не знает,— улыбнулся Авдеич-Брех, и от улыбки ямки на розовых щеках его стали глубже.

Сергей Платонович тупо оглядел свои старые резиновые боты, сказал, с болью выплевывая слова:

— Государственная дума будет править. Республика будет у нас.

— Достукались, мать те черт!

— Мы как служили при покойничке Александре Втором...— начал было Авдеич, но суровый старик Богатырев строго перебил его:

— Слыхали! Не об этом тут речь.

— Казакам, значит, концы приходют?

— Мы тут забастовки работаем, а немец тем часом и до Санкт-Петербурга доберется.

— Раз равенство — значит, с мужиками нас поравнять хочут...

— Гляди, небось, и до земельки доберутся?..

Сергей Платонович, насильно улыбаясь, оглядел расстроенные лица стариков, на душе у него стало сумеречно и гадко. Он привычным жестом раздвоил гнедоватую бороду, заговорил, злобясь неизвестно на кого:

— Вот, старики, до чего довели Россию. Сравняют вас с мужиками, лишат вас привилегий, да еще и старые обиды припомнят. Тяжелые наступают времена... В зависимости от того, в какие руки попадет власть, а то и до окончательной гибели доведут.

— Живы будем — посмотрим! — Богатырев покачал головою и из-под клочкастых хлопьев бровей глянул на Сергея Платоновича недоверчиво.— Ты, Платоныч, свою линию гнешь, а нам, могет быть, что и полегчает от этого?

— Чем же это вам полегчает? — язвительно спросил Сергей Платонович.

— Войну новая власть, может, кончит... Могет ить быть такое? Ась?

Сергей Платонович махнул рукой и постаревшей походкой заковылял к своему голубому нарядному крыльцу. Он шел, разбросанно думая о деньгах, о мельнице и ухудшающейся торговле, вспомнил, что Елизавета теперь в Москве, а Владимир должен вскоре приехать из Новочеркасска. Тупой укол тревоги за детей не нарушил мятущейся бессвязицы мыслей. Так дошел он до крыльца, чувствуя, как за этот день сразу потускнела жизнь и даже сам он словно внутренне вылинял от ноющих мыслей. Кислым вкусом ржавчины во рту вызвало приток слюны. Оглянувшись на стариков у лавки, Сергей Платонович плюнул через резные перила крыльца, зашаркал по террасе в комнаты. Анна Ивановна встретила мужа в столовой, скользнула по лицу его привычно равнодушным взглядом пустоцветных глаз, спросила:

— Перед чаем закусишь?

— Да нет же! Какая там закуска?! — брезгливо отмахнулся Сергей Платонович.

Раздеваясь, он все чувствовал вкус ржавчины во рту и безрадостную пустоту в голове.

— От Лизы письмо.

Анна Ивановна прошла в спальню снующей иноходью (так всегда ходила она, с первого дня замужества придавленная большим хозяйством), вынесла надорванный конверт.

«Пустая и, кажется, недалекая девка»,— в первый раз подумал так о дочери Сергей Платонович, морща нос от

запаха духов, исходившего от плотного конверта. Старик невнимательно прочел письмо, почему-то остановился на слове «настроение» и долго думал, доискиваясь в нем непонятного смысла. В конце письма Елизавета просила выслать денег. Сергей Платонович, все еще ощущая ноющую пустоту в голове, прочел последние строки. Ему неожиданно захотелось тихо заплакать. Дыбом вставшая жизнь являла в этот миг ему порожнее свое нутро.

«Чужая она мне,— думал он про дочь.— И я ей чужой. Родственные чувства испытывает — поскольку нужны деньги... Грязная девка, имеет любовников... а маленькая была белокурой и родной... Боже мой! Как меняется все!.. До старости остался дураком, верил в какую-то хорошую в будущем жизнь, а на самом деле одинок, как часовня... Нечисто наживал,— да чисто и не наживешь! — жулил, жался, а теперь вот революция, и завтра мои холуи могут вытряхнуть меня из дома... Все под такую мать!.. а дети? Владимир глуп... Да и что толку? Все равно, пожалуй...»

По какой-то нелепой связи вспомнился давнишний случай на мельнице: завозчик-казак заскандалил по поводу большого отмола и отказался платить; он, Сергей Платонович, в это время был в машинном отделении, вышел на шум и, узнав в чем дело, приказал весовщику и мирошникам не отдавать сработанной муки. Маленький, невзрачный казачишка тянул мешок за гузырь к себе, мирошник, плотный, грудастый Завар,— к себе. Так случилось, что казачишка толкнул мирошника, тот, развернувшись, ударил его в висок большим косо сжатым кулаком. Казачишка упал, потом вскочил на ноги, покачиваясь; на левом виске его кровянилась ссадина. Он вдруг шагнул к Сергею Платоновичу, выдохнул стенящим шепотом:

— Возьми муку! Жри! — и вышел, дрожа плечами.

Безо всякой видимой связи вспомнился Сергею Платоновичу этот случай и последствия его: жена казачишки приходила с просьбой возвратить муку; насильно выдавливая слезы, ища сочувствия у завозчиков, голосила:

— Что ж это такое, люди добрые? Какие это права? Отдай муку!

— Иди, тетка, иди подобру, а то волосья выщипаю! — посмеивался Завар.

Было неприятно и досадно смотреть, как весовщик Валет, такой же слабосильный и мелкорослый, как и тот казачишка, полез на Завара в драку и после, жестоко избитый им, приходил просить расчет. Все это быстролетно

мелькнуло в уме Сергея Платоновича, пока он сворачивал прочитанное письмо, глядя перед собой невидящими глазами.

День этот оставил под исход садную дурную боль. Сергей Платонович спал ночью плохо, ворочался, одолеваемый бестолковыми мыслями и неосознанными желаниями; уснул заполночь, а утром, прослышав, что в Ягодное приехал с фронта к отцу Евгений Листницкий, решил съездить туда, чтобы поговорить, выяснить подлинное положение и снять с души горькую накипь тревожных предчувствий. Емельян, посасывая трубку, запряг в городские санки маштака, повез хозяина в Ягодное.

Над хутором оранжевым абрикосом вызревало солнце, под ним тлели, дымясь, облака. Резкий морозный воздух был насыщен сочным плодовым запахом. Под копытами маштака хрустел подорожный ледок, пар сносился ветром от конских ноздрей назад, инеем оседал на гриве. Сергей Платонович, умиротворенный быстрой ездой и холодом, подремывал, качался, терся спиной о коверчатый задок саней. А в хуторе на площади чернела тулупами толпа казаков, овечьим порядком кучились бабы, запахнув донские шубы, опушенные бурым поречьем [1].

В середине толпы учитель Баланда, с платком у позеленевшего рта и с красной лентой в петличке полушубка, горячечно блестя глазами, говорил:

— ...Видите, наступил конец проклятому самодержавию! Теперь ваших сынов не пошлют усмирять плетями рабочих, кончилась ваша позорная служба царю-кровососу. Учредительное собрание будет хозяином новой, свободной России. Оно сумеет построить иную, так сказать, светлую жизнь!

Сзади, за сборки полушубка, дергала сожительница, шептала умоляюще:

— Митя, оставь! Пойми, что вредно тебе, нельзя! Кровь ведь опять будет идти... Митя!

Казаки слушали Баланду, смущенно потупясь, покряхтывая, тая улыбки. Речь ему так и не дали докончить. Сочувственный голос из передних рядов произнес басовито:

— Жизня-то, как видать, светлая будет, да вот ты, сердяга, не дотянешь. Шел бы себе домой, а то на базу-то свежо...

---

[1] Поречье — мех выдры или норки.

Баланда скомкал недоговоренную фразу и, увядший, вышел из толпы.

В Ягодное приехал Сергей Платонович в полдень. Емельян за уздцы подвел маштака к плетеным яслям возле конюшни и, пока хозяин вылезал из саней и, откинув полу тулупа, доставал носовой платок, успел разнуздать лошадь, накинуть попону. У крыльца Сергея Платоновича встретил высокий, седоватый, в рыжих подпалинах борзой кобель. Он встал навстречу чужому, потягиваясь на длинных жилистых ногах, зевая; за ним с такой же ленцой поднялись и остальные собаки, черными узлами лежавшие возле крыльца.

«Черт, сколько их!..» — Сергей Платонович поглядывал опасливо, пятясь задом по сходцам.

В сухой, светлой передней тяжко воняло псиной, уксусом. Над сундуком, на широком размете оленьих рогов, висели каракулевая офицерская папаха, башлык с серебряной кистью и бурка. Сергей Платонович глянул туда; на миг ему показалось, что кто-то мохнатый, черный стоит на сундуке, недоумевающе вздернув плечи. Из боковой комнаты вышла полная черноглазая женщина. Она внимательно оглядела раздевавшегося Сергея Платоновича, спросила, не меняя серьезного выражения на смугло별ато-красивом лице:

— Вы к Николаю Алексеевичу? Я сейчас доложу.

Она вошла в зал не постучавшись, плотно прикрыв за собою дверь. В этой располневшей черноглазой красавице бабе Сергей Платонович с трудом признал Астахову Аксинью. Она сразу узнала его, плотнее сжала вишневые губы, пошла, держась неестественно прямо, чуть шевеля матовыми оголенными локтями. Через минуту следом за ней вышел сам старый Листницкий. Он, в меру приветливо улыбаясь, снисходительно пробасил:

— А! Степенство! Какими судьбами? Прошу...— посторонился, движением руки приглашая гостя в зал.

Сергей Платонович раскланялся с давно усвоенной им в отношении больших людей почтительностью; шагнул в зал. Навстречу ему, щурясь из-под пенсне, шел Евгений Листницкий.

— Это превосходно, милейший Сергей Платонович! Здравствуйте. Что ж это, как будто бы стареете? А?

— Ну, полно, Евгений Николаевич! Я еще думаю вас пережить. Как вы-то? В целости и сохранности?

Евгений, улыбаясь, поблескивая золотыми коронками зубов, под руку увлекал гостя к креслу. Они сели за небольшим столиком, перебрасываясь незначительными фразами, разыскивая в лицах друг у друга те изменения, которые произошли со времени последней встречи. Распорядившись подать чай, вошел пан. Большая гнутая трубка в зубах его дымилась. Он остановился у кресла Сергея Платоновича, спросил, положив на стол старчески костлявую, длинную ладонь:

— Как у вас на хуторе? Слышали... хорошие вести-то?

Сергей Платонович снизу вверх глянул на выбритые висячие складки на подбородке и шее генерала, вздохнул.

— Как не слышать!..

— С какой роковой предопределенностью шло к этому...— генерал, дрогнув кадыком, глотнул дым.— Я предвидел это еще в начале войны. Что же... династия была обречена. Мне сейчас вспомнился Мережковский... помнишь, Евгений? —«Петр и Алексей». Там после пытки царевич Алексей говорит отцу: «Кровь моя падет на потомков твоих...»

— Ведь у нас ничего толкового нет,— волнуясь, заговорил Сергей Платонович; поерзав в кресле, он закурил, продолжал: — Газет не получаем уже неделю. Слухи самые невероятные, растерянность. Беда, ей-богу! Я, услыша, что Евгений Николаевич приехал в отпуск, решил съездить сюда к вам, расспросить, что там творится, чего нужно ожидать.

Евгений, уже без улыбки на опрятно выбритом белесом лице, рассказывал:

— Грозные события... Солдаты буквально все разложены, воевать не желают — устали. Собственно, в этом году уже не стало солдат в общепринятом смысле этого слова. Солдаты превратились в банды преступников, разнузданных и диких. Вот папа, например... он не может себе этого представить. Он не может представить, до какой степени разложения дошла наша армия... Самовольно уходят с позиций, грабят и убивают жителей, убивают офицеров, мародерствуют... Невыполнение боевого приказа — теперь обычная вещь.

— Рыба с головы гниет,— вместе с дымом вытолкнул старый Листницкий фразу.

— Я бы не сказал этого,— Евгений поморщился, жиловатое веко у него подергал нервчик: — Я бы не сказал... Снизу гниет армия, разлагаемая большевиками. Даже ка-

зачьи части, особенно те, которые близко соприкасались с пехотой, неустойчивы морально. Сильнейшая усталость и тяга к родным куреням... А тут большевики...

— Чего они хотят? — не вытерпел Сергей Платонович.

— О!..— Листницкий усмехнулся,— они хотят... это хуже холерных бацилл! Хуже в том отношении, что легче прилипает к человеку и внедряется в самые толщи солдатских масс. Я говорю про идею. Тут уже никакими карантинами не спасешься. Среди большевиков есть, несомненно, талантливые люди, с некоторыми мне приходилось общаться, есть просто фанатики, но преобладающее большинство — разнузданные, безнравственные субъекты. Тех не интересует сущность большевистского учения, а лишь возможность пограбить, уйти с фронта. Они хотят прежде всего захватить власть в свои руки, на любых условиях кончить, как они выражаются, «империалистическую» войну, хотя бы даже путем сепаратного мира,— земли передать крестьянам, фабрики — рабочим. Разумеется, это столь же утопично, сколь и глупо, но подобным примитивом достигается расположение солдат.

Листницкий говорил, сдерживая глухую злобу. В пальцах его ходил слоновой кости мундштук. Сергей Платонович слушал, наклонившись вперед, словно собираясь вскочить на ноги. Старый Листницкий расхаживал по залу, чмыкая черными мохнатыми бурками, покусывая зелено-сединный ус.

Евгений рассказал о том, как еще до переворота он вынужден был бежать из полка, опасаясь мести казаков; о происходивших в Петрограде событиях, свидетелем которых был.

Разговор на минуту заглох. Старый Листницкий, глядя в переносицу Сергея Платоновича, спросил:

— Что же, купишь серого, того, которого смотрел осенью,— сынка «Боярыни»?

— До этого ли теперь, Николай Алексеевич? — Мохов жалко сморщился и махнул безнадежно рукой.

В людской в это время Емельян, отогревшись, пил чай, красным платком вытирал пот с бураковых щек, рассказывал о хуторе и новостях. Аксинья стояла у кровати, грудью навалясь на резную спинку, кутаясь в пуховый платок.

— Небось, наш курень уж развалился? — спрашивала она.

— Нет, зачем же развалился — стоит! Чего ему сделается,— мучительно растягивая слова, отвечал Емельян.

— Соседи-то наши, Мелеховы, как живут?

— Живут помаленечку.

— Петро не приходил в отпуск?

— Вроде не приходил.

— А Григорий?.. Гришка ихний?

— Гришка приходил после рождества. Баба его двойню энтот год родила... А Григорий... как же — приходил по ранению.

— Раненый был?

— А то как же? Ранили в руку. Его всего испятнили, как кобеля в драке: то ли крестов на нем больше, то ли рубцов.

— Какой же он, Гришка? — давясь сухой спазмой, спрашивала Аксинья и покашливала, выправляя секущийся голос.

— Такой же... горбоносый да черный. Турка туркой, как и полагается.

— Я не про то... Постарел аль нет?

— А чума его знает: может, и постарел трошки. Жена двойню родила,— значит, не дюже постарел.

— Холодно здесь...— подрожав плечами, сказала Аксинья и вышла.

Наливая восьмую чашку, Емельян проводил Аксинью глазами, медленно, как слепой ноги, переставляя слова, сказал:

— Гнида гадкая, вонючая, какая ни на есть хуже. Давно ли в чириках по хутору бегала, а теперя уж не скажет «тут», а «здеся»... Вредные мне такие бабы. Я бы их, стерьвов... Выползень змеиный! Туда же... «холодно здеся»... Возгря [1] кобылья! Пра!

Обиженный, он не допил восьмой чашки, вылез, перекрестился, ушел, независимо поглядывая вокруг и сознательно грязня сапогами натертый пол.

Всю обратную дорогу он был угрюм, как и хозяин. Злобу, вызванную Аксиньей, вымещал на маштаке, нахлестывая кончиком кнута по местам маштаковой стыдливости и язвительно величая его «хлынцем» и «чикилем». До самого хутора Емельян, против обыкновения, не перекинулся с хозяином ни одним словом. Напуганную тишину хранил и Сергей Платонович.

---

[1] Возгря — сопля.

VIII

Первую бригаду одной из пехотных дивизий, находившуюся в резерве Юго-Западного фронта, с приданным к ней 27-м Донским казачьим полком, перед февральским переворотом сняли с фронта с целью переброски в окрестности столицы на подавление начавшихся беспорядков. Бригаду отвели в тыл, снабдили новым зимним обмундированием, сутки превосходно кормили, на другой день, погрузив в вагоны, отправили, но события опередили двигавшиеся к Минску полки: в день отправки уже передавались настойчивые слухи, что император в Ставке главнокомандующего подписал акт об отречении от престола.

Бригаду с полпути вернули обратно. На станции Разгон 27-й полк получил приказ выгрузиться из вагонов. Пути были забиты составами. На платформе сновали солдаты с красными бантами на шинелях, с добротно сделанными новыми винтовками русского образца, но английского происхождения. Многие из солдат были возбуждены, опасливо поглядывали на строившихся посотенно казаков.

Пасмурный иссякал день. С крыш станционных построек журчилась вода, лужи на путях, покрытые нефтяными блестками, отражали серую мякотную овчину неба. Рев маневрировавших паровозов звучал приглушенно, рыхло. За пакгаузом полк в конном строю встречал командира бригады. Мокрые по щетки ноги лошадей дымились паром. Вороны безбоязненно садились позади строя, гребли и клевали оранжевые яблоки конского помета.

Командир бригады на вороном трехвершковом коне, в сопровождении командира полка, подъехал к казакам. Натянув поводья, оглядел сотни. Заговорил, словно отталкивая обнаженной рукой свои неуверенные, глухие слова:

— Станичники! Волею народа, царствовавший доныне император Николай Второй... э-э-э... низложен. Власть перешла к Временному комитету Государственной думы. Армия и вы в том числе должны спокойно перенести это... э-э-э... известие... Дело казаков защищать свою Родину от посягательств внешних и... э-э-э... так сказать, внешних врагов. Мы будем в стороне от начавшейся смуты, предоставим гражданскому населению избирать пути к организации нового правительства. Мы должны быть в стороне!

Война и политика для армии несовместимы... В дни таких вот потрясений... э-э-э... всех основ мы должны быть тверды, как...— Бригадный, старый и бездарный служака-генерал, не привыкший держать речи, замялся, копаясь в сравнениях; на масленистом лице его в мучительной немоте двигались брови; сотни терпеливо ждали: — э-э-э... как сталь. Ваш казачий воинский долг призывает вас подчиняться своим начальникам. Мы будем биться с врагом так же доблестно, как и раньше, а там...— косой плывущий жест назад,— пусть Государственная дума решает судьбу страны. Кончим войну, тогда и мы примем участие во внутренней жизни, а пока нам... э-э-э... нельзя. Армию мы не можем отдать... В армии не должно быть политики!

Здесь же на станции спустя несколько дней присягали Временному правительству, ходили на митинги, собираясь большими земляческими группами, держась обособленно от солдат, наводнявших станцию. После подолгу обсуждали слышанные речи, вспоминая, прощупывали недоверчиво каждое сомнительное слово. У всех почему-то сложилось убеждение: если свобода — значит, конец войне, и с этим прочно укоренившимся убеждением трудно стало бороться офицерам, утверждавшим, что воевать Россия обязана до конца.

Растерянность, после переворота охватившая верхушки армии, отражалась на низах; про существование застрявшей на полпути бригады штаб дивизии словно забыл. Бригада, выгрузившись, доедала выданное на восемь суток довольствие, солдаты толпами уходили в близлежащие деревушки, на базаре откуда-то появился в продаже спирт, и уже не в диковинку было видеть в те дни пьяных нижних чинов и офицеров.

Вырванные переброской из обычного круга обязанностей, казаки томились в теплушках, ждали отправки на Дон (слух о том, что второочередников будут распускать по домам, держался весьма упорно), небрежно ухаживали за лошадьми, дни насквозь толкались на базарной площади, торговали запасенными с позиций ходкими предметами продажи: немецкими одеялами, штыками, пилами, шинелями, кожаными ранцами, табаком...

Приказ о возвращении на фронт встречен был открытым ропотом. Вторая сотня отказалась было ехать, казаки не разрешили прицепить к составу паровоз, но командир полка пригрозил разоружением, и волнение пошло на убыль, улеглось. Эшелоны потянулись к фронту.

— Это что же, братушки? Свобода — свобода, а касаемо войны — опять, значится, кровь проливать?

— Старый прижим начинается!

— На какой же ляд царя-то уволили?

— Нам что при нем было хорошо, что и зараз подходяще...

— Шаровары одни, только мотней назад.

— Во-во!

— Это до каких же пор будет?..

— Третий год с винтовки не слазишь! — шли в вагонах разговоры.

На какой-то узловой станции казаки, как сговорившись, высыпали из вагонов и, не слушая увещаний и угроз командира полка, открыли митинг. Тщетно меж серого сплава казачьих шинелей метались комендант и престарелый начальник станции, упрашивая казаков разойтись по вагонам и освободить пути. Казаки с неослабным вниманием слушали речь урядника третьей сотни. После него говорил небольшой статный казачок Манжулов. Из его побелевшего, злобно искривленного рта с трудом выметывались злые слова:

— Станишники! Нельзя так-то! Нас опять же под конфуз подвели. Обман хочут исделать! Раз превзошла революция и всему народу дадена свобода — значится, должны войну прикончить, затем что народ и мы войну не хотим! Аккуратно я гутарю? По-правильному?

— Правильно!

— Под хвост кобыле!

— Осточертела всем!

— Шаровары вон не держутся... какая война?!

— Не жжжа-лла-ем!..

— По домам!

— Отчаливай паровоз! Федот, давай-ка!

— Станишники! Погодите! Станишники! Братцы! Черти, в рот вас, в печенку, в душу!.. Братцы! — надрывался Манжулов, стараясь перекричать тысячу глоток.— Погодите! Паровоз не волнуйте! Он нам без надобности, а только что обман... Пущай нам их высокоблагородие командир полка документ объявит: на самом деле нас требуют на фронт али это по ихней капрызности?..

Полк только после того погрузился в вагоны, когда взволнованный, не владеющий собой командир полка, дрожа губами, вслух прочитал полученную им из штадива телеграмму о вызове полка на фронт.

В одной теплушке ехали шесть человек татарцев,— хуторян, служивших в 27-м полку: Петро Мелехов, родной дядя Мишки Кошевого Николай Кошевой, Аникушка, Федот Бодовсков, Меркулов — цыгановатый с чернокудрявой бородой и с шалыми светло-коричневыми глазами, и Максимка Грязнов, сосед Коршуновых, беспутный и веселый казак, по всему станичному юрту стяжавший до войны черную славу бесстрашного конокрада. «Меркулову уж куда ни подошло бы коней уводить — на цыгана похож и все такое... а вот не ворует. А ты, Максим, конский хвост увидишь — и то в жар тебя шибает!» — постоянно смеялись над Грязновым казаки. Максимка краснел, жмурил голубой, как льняной цветок, глаз, пакостно отшучивался: «С Меркуловой матерью цыган ночевал, а моя, небось, позавидовала, а то б рази я... да упаси и не приведи!..»

В теплушке ходил сквозной ветер; лошади стояли у наскоро сбитых кормушек под попонами; среди вагона — на бугорке мерзлой земли — чадили сырые дрова,— едучий дым тянуло в дверную щель. Казаки сидели на седлах вокруг огня, сушили взвонявшиеся от пота и сырости портянки. Федот Бодовсков грел у огня босые гнутые ноги. На калмыцком, углоскулом лице его блудила довольная улыбка. Грязнов наскоро прихватывал дратвой отпоровшуюся подметку, продымленным осипшим голосом говорил, обращаясь неизвестно к кому:

— ...Маленьким был, зимой, бывалоча, заберусь на печку, а бабка моя (ей в те годы за сто перевалило!) ощупкой ищет у меня в голове вшу, гутарит: «Ягодка, мой Максимушка! В старину не так-то народ жил — крепко жил, по правилам, и никаких на него не было напастей. А ты, чадунюшка, доживешь до такой поры времени, что увидишь, как землю всю опутают проволокой, и будут летать по синю небушку птицы с железными носами, будут людей клевать, как грач арбуз клюет... И будет мор на людях, глад, и восстанет брат на брата и сын на отца... Останется народу, как от пожара травы». Что ж,— помолчав, продолжал Максим,— и на самом деле сбылось; телеграф выдумали — вот тебе и проволока! А железная птица — еропланы. Мало они нашего брата подолбили? И голод будет. Мои вон супротив энтих годов вполовину хлеба сеют, да и каждый хозяин так. По станицам стар да мал остались, а хлоп неурожай — вот и «глад» вам.

— А брат на брата — это как вроде брехня? — спросил Петро Мелехов, поправляя огонь.

— Погоди, и этого народ достигнет.

— Власть не установют и забрухаются,— вмешался Федот Бодовсков.

— Ишо усмирять чертей придется.

— Ты сначала с германцем расхлебай,— засмеялся Кошевой.

— Что ж, повоюем ишо...

Аникушка, деланным испугом морща голощекое, бабье лицо, воскликнул:

— Царица наша лохмоногая, до каких же пор все «повоюем»?

— До тех пор, покеда ты, скопец, шерстью обрастешь,— поддел его Кошевой.

Сидевшие у огня дружно засмеялись. Петро поперхнулся дымом и, кашляя, глядя на Аникушку глазами, полными слез, тыкал в его сторону пальцем.

— Волос — он дурак...— смущенно бормотал Аникушка: — он и где не надо растет... Зря ты, Кошевой, ногами болтаешь...

— Нет, уж хватит! Хлебнули через край! — вспыхнул неожиданно Грязнов.— Мы тут бедствуем, во вшах погибаем, а семьи наши там нужду принимают, да ить как?.. режь — кровь не потекет.

— Ты чего взбугрился? — насмешливо, пожевывая пшеничный ус, спросил Петро.

— Известно чего...— за Грязнова ответил Меркулов и надежно захоронил улыбку в курчавой, цыганской бороде.— Известно, нудится казак... тоскует... Иной раз пастух выгонит табун на зеленку: покеда солнце росу подбирает,— скотинка ничего, кормится, а как станет солнце в дуб, заюжит овод, зачнет скотину сечь,— вот тут...— Меркулов шельмовато стрельнул глазами в казаков, продолжал, повернувшись к Петру: — тут-то, господин вахмистр, и нападает на скотину бзык. Ну да ты знаешь! Не из суцких [1], небось! Сам быкам хвосты крутил... Обнаковенно, какая-нибудь телка задерет хвост на спину, мыкнет — да как учешет! А за ней весь табун. Пастух бегет: «ая-яй!.. ая-яй!..» Только где ж там?! Метется табун лавой, не хуже как мы под Незвиской на немцев лавой ходили. Где ж там, рази удержишь?

---

[1] Суцкой (судской) — чиновник, интеллигент.

— Ты к чему это загинаешь-то?

Меркулов ответил не сразу. Намотав на палец завиток смолистой бороды, дернул его ожесточенно, заговорил уже деловито и без улыбки:

— Третий год воюем... так? Третий год, как нас в окопы загнали. За что и чего? — никто не разумеет... К тому и гутарю, что вскорости какой-нибудь Грязнов али Мелехов бзыкнет с фронта, а за ним полк, а за полком армия... Будя!

— Вон ты куда...

— Туда самое! Не слепой, вижу: на волоске все держится. Тут только шумнуть: «Брысь!» — и полезет все, как старый зипун с плеч. На третьем году и нам солнце в дуб стало.

— Ты бы полегше! — посоветовал Бодовсков.— А то Петро... он ить вахмистр...

— Я товарищев кубыть не трогал,— вспыхнул Петро.

— Не серчай! Шутейно сказал.— Бодовсков смутился, поворочал узловатыми пальцами босых ног и встал, пошлепал к кормушке.

В углу, у цибиков прессованного сена, вполголоса разговаривали казаки других хуторов. Из них лишь двое были с хутора Каргинского — Фадеев и Каргин, остальные восемь — разных хуторов и станиц.

Спустя немного они запели. Заводил чирский казак Алимов. Он начал было плясовую, но кто-то шлепнул его по спине, простуженно рявкнул:

— Отставить!..

— Эй вы, сироты, полозьте к огню! — пригласил Кошевой. В костер кинули щепки (остатки разломанного на полустанке забора). При огне веселее подняли песню:

Конь боевой с походным вьюком
У церкви ржет, когой-то ждет.
В ограде бабка плачет с внуком.
Жена-молодка слезы льет.
А из дверей святого храма
Казак в доспехах боевых идет.
Жена коня ему подводит.
Племянник пику подает...

В соседнем вагоне двухрядка, хрипя мехами, резала «казачка». По дощатому полу безжалостно цокотали каблуки казенных сапог, кто-то дурным голосом вякал, голосил:

Эх вы, горьки хлопоты,
Тесны царски хомуты!
Казаченькам выи труть —
Ни вздохнуть, ни воздохнуть.
Пугачев по Дону кличет.
По низовьям голи зычет:
«Атаманы, казаки!..»

Второй, заливая голос первого, верещал несуразно тонкой скороговоркой:

Царю верой-правдой служим.
По своим жалмеркам тужим.
Баб найдем — тужить не будем,
А царю... полудим.
Ой, сыпь! Ой, жги!..
У-ух! Ух! Ух! Ха!
Ха-ха-хи-хо-ху-ха-ха!

Казаки давно уже оборвали песню и вслушивались в бесшабашный гомон, разраставшийся в соседнем вагоне, перемигивались, сочувственно улыбаясь.

Петро Мелехов не выдержал и захохотал:

— Эк дьяволы их разымают!

У Меркулова в коричневых крапленных желтой искрой глазах замигали веселые светлячки; он вскочил на ноги, улавливая такт, носком сапога посыпал мельчайшее просо дроби и, вдруг топнув, легко, пружинисто, кругло пошел на присядку. Плясали все по очереди — грелись движением. В соседнем вагоне давно уже затихли двухрядные голоса,— там уже хрипло и крупно ругались. А тут бились в пляске, беспокоили лошадей и кончили, только когда вломавшийся в раж Аникушка, во время одного необычайнейшего по замысловатости колена, упал задом на огонь. Аникушку с хохотом подняли, при свете свечного огарка долго оглядывали новехонькие шаровары, насмерть сожженные сзади, и края припаленной ватной теплушки.

— Скинь шаровары-то! — сожалея, советовал Меркулов.

— Ты, цыган, сдурел? А в чем же я?

Меркулов порылся в саквах, достал холщовую бабью исподницу. Огонь раздули вновь. Меркулов держал рубаху за узкие плечики; откидываясь назад, стоная от хохота, говорил:

— Вот!.. Ох! Ох! Украл я ее на станции, с забора... На портянки блюл... Ох! Пороть не бу-у-ду... Бери!

Силком обряжая ругавшегося Аникушку, ржали так смачно и густо, что из дверей соседних вагонов повысуну-

лись головы любопытных, в ночной темноте орали завистливые голоса:

— Чего вы там?

— Жеребцы проклятые!

— Чего зашлись-то?

— Железку нашли, дурочкины сполюбовники?

На следующей остановке притянули из переднего вагона гармониста, из других вагонов битком набились казаки, сломали кормушки, толпились, прижимая лошадей к стене. В крохотном кругу выхаживал Аникушка. Белая рубаха, со здоровенной, как видно, бабищи, была ему длинна, путалась в ногах, но рев и хохот поощряли — плясал он до изнеможения.

А над намокшей в крови Беларусью скорбно слезились звезды. Провалом зияла, дымясь и уплывая, ночная небесная чернь. Ветер стлался над землей, напитанной горькими запахами листа-падалицы, суглинистой мочливой ржавчины, мартовского снега...

IX

Через сутки полк был уже неподалеку от фронта. На узловой станции эшелоны остановили. Вахмистры разнесли приказ: «Выгружаться!» Торопливо сводили казаки лошадей по подмостям, седлали, бегали в вагоны за позабытыми второпях вещами, выкидывали прямо на мокрый песчаник путей растрепанные цибики сена, суетились.

Мелехова Петра позвал ординарец командира полка:

— Иди на вокзал, командир кличет.

Петро, поправив ремень на шинели, неспешно пошел к платформе.

— Аникей, пригляди за моим конем,— попросил он топтавшегося у лошадей Аникушку.

Тот молча поглядел ему вслед, на будничном, хмуром Аникушкином лице озабоченность сливалась с обычной скукой. Петро шагал, глядя на свои сапоги, забрызганные охровой глинистой грязью, и раздумывая: зачем бы это он понадобился командиру полка? Внимание его привлекла небольшая толпа, собравшаяся в конце платформы у бака с кипятком. Он подошел, еще издали вслушиваясь в разговор. Человек двадцать солдат окружили рослого рыжеватого казака, стоявшего спиной к баку в неловкой, затравленной позе. Петро, вытянув голову, поглядел на

смутно знакомое забородатевшее лицо рыжеватого казака-атаманца, на цифру «52» на синем урядницком погоне; решил, что где-то и когда-то видел этого человека.

— Как же это ты ухитрился? А еще гайку тебе нашивали...— злорадно допытывался у рыжеватого казака вольноопределяющийся с веснушчатым умным лицом.

— Что такое? — полюбопытствовал Петро, тронув плечо стоявшего к нему спиной ополченца.

Тот повернул голову, ответил нехотя:

— Дизиртира пымали... Из ваших казаков.

Петро, усиленно напрягая память, пытался вспомнить,— где он видел это широкое рыжеусое и рыжебровое лицо атаманца. Не отвечая на назойливые вопросы вольноопределяющегося, атаманец редкими глотками тянул кипяток из медной кружки, сделанной из гильзы снаряда, прикусывая черным размоченным в воде сухарем. Далеко расставленные выпуклые глаза его щурились; прожевывая и глотая, он шевелил бровями, глядел вниз и по сторонам. Рядом с ним, придерживая за штык винтовку, стоял конвоировавший его пожилой коренастый солдат. Атаманец-дезертир допил из кружки, повел усталыми глазами по лицам бесцеремонно разглядывавших его солдат, и в голубых, по-детски простых глазах его неожиданно вспыхнуло ожесточение. Торопливо глотнув, он облизал губы, крикнул грубым негнущимся басом:

— Диковина вам? Пожрать не даете, сволочи! Что вы, людей не видали, что ль?

Солдаты засмеялись, а Петро, едва лишь услышал голос дезертира, сразу, как это всегда бывает, с поразительной отчетливостью вспомнил, что атаманец этот — с хутора Рубежина, Еланской станицы, по фамилии Фомин, и что у него еще до войны на еланской годовой ярмарке торговали Петро с отцом трехлетка-бычка.

— Фомин! Яков! — окликнул он, протискиваясь к атаманцу.

Тот неловким, растерянным движением сунул на бак кружку; прожевывая, глядя на Петра смущенными улыбающимися глазами, сказал:

— Не признàю, браток...

— С Рубежина ты?

— Оттель. А ты либо еланский?

— Я-то вёшенский, а тебя помню. С батей лет пять назад бычка у тебя торговали.

Фомин, улыбаясь все той же растерянной, ребячьей улыбкой, как видно, силился вспомнить.

— Нет, заметило... не упомню тебя,— с видимым сожалением сказал он.

— Ты в Пятьдесят втором был?

— В Пятьдесят втором.

— Убег, стал быть? Как же это ты, братец?

В это время Фомин, сняв папаху, доставал оттуда потрепанный кисет. Сутулясь, он медленно сунул папаху под мышку, оторвал косой угол бумажки и только тогда прижал Петра строгим, влажно мерцающим взглядом.

— Невтерпеж, братушка...— сказал невнятно.

Взгляд этот кольнул Петра. Петро крякнул, вобрал в рот желтоватый ус.

— Ну, землячки, кончайте разговоры, а то через вас как бы мне не попало,— вздохнул, вскидывая винтовку, коренастый солдат-конвоир.— Иди-ка, папаша!

Фомин, торопясь, сунул в подсумок кружку, попрощался с Петром, глядя в сторону, и зашагал в комендантскую увалистой, медвежковатой роскочью.

На вокзале, в буфете бывшего первого класса, за столиком гнулись командир полка и два сотенных командира.

— Ты, Мелехов, заставляешь себя ждать,— полковник поморгал устало злобными глазами.

Петро выслушал известие о том, что сотня его поступает в распоряжение штаба дивизии и что необходимо усиленно присматривать за казаками, сообщая о всякой замеченной перемене в их настроении командиру сотни. Он, не сморгнув, глядел в глаза полковника, слушал внимательно, но в памяти неотступно, цепко, как приклеенные, держались мерцающий влажный взгляд Фомина и тихое: «Невтерпеж, братушка...»

Он вышел из парного теплого вокзала, направился к сотне. Здесь же, на станции, стоял полковой обоз второго разряда. Подходя к своей теплушке, Петро увидел обозных казаков и сотенного коваля. При взгляде на коваля у Петра выветрились из памяти Фомин и разговор с ним, он ускорил шаги с целью переговорить относительно перековки коня (в этот миг Петром уже владели будничные заботы и тревоги), но из-за красного угла вагона выступила женщина, нарядно покрытая белым пуховым шарфом, одетая не так, как одеваются в этих краях. Странно знакомый склад фигуры заставил Петра внимательней вглядеться в женщину. Она вдруг повернулась к нему ли-

цом, заспешила навстречу, неуловимо поводя плечами, тонким, не бабьим станом. И, еще не различая лица, по этой вьющейся легкой походке Петро угадал жену. Колкий приятный холодок докатился до сердца. Радость была тем сильнее, чем неожиданней. Нарочно укоротив шаг, чтобы наблюдавшие за ним обозные не подумали, что он особенно уж рад, Петро шел навстречу. Он степенно обнял жену, поцеловал ее три раза, хотел что-то спросить, но глубокое внутреннее волнение пробилось наружу — мелко задрожали губы и словно отнялся язык.

— Не ждал...— заикаясь, выговорил он наконец.

— Голубок мой! То-то ты да переменился!..— Дарья всплеснула руками.— Ты как будто чужой... Видишь, приехала проведать... Наши не пускали: «Куда тебя понесет?!» Нет, думаю, поеду, проведаю родимого...— тарахтела она, прижимаясь к мужу, заглядывая в глаза ему увлажненными глазами.

А у вагонов толпились казаки; глядя на них, покрякивали, перемигивались, нудились.

— Подвалило счастье Петру...

— Моя волчиха не приедет, отроилась.

— Там у ней без Нестера десятеро!

— Мелехов хучь бы своему взводу на ночушку бабу пожертвовал... На бедность на нашу... Кх-м!..

— Пойдемте, ребята! Кровью изойдешь, глядючи, как она к нему липнет!

В этот момент Петр не помнил, что собирался бить жену смертным боем,— ласкал ее на людях, гладил большим обкуренным пальцем писаные дуги ее бровей, радовался. Дарья тоже забыла, что только две ночи назад спала она в вагоне с драгунским ветеринарным фельдшером, вместе с ней ехавшим из Харькова в полк. У фельдшера были необычайно пушистые и черные усы, но ведь все это было две ночи назад, а сейчас она со слезами искренней радости обнимала мужа, смотрела на него правдивыми ясными глазами.

X

По возвращении из отпуска есаул Евгений Листницкий получил назначение в 14-й Донской казачий полк. В свой полк, в котором служил раньше и из которого ему пришлось еще до Февральского переворота так позорно бе-

жать, он не явился, а прямо заехал в штаб дивизии, и начальник штаба, молодой генерал с громкой донской дворянско-казачьей фамилией, легко устроил ему перевод.

— Я знаю, есаул,— говорил он Листницкому, уединяясь с ним в своей комнате,— что вам трудно будет работать в старой обстановке, потому что казаки настроены против вас, ваше имя для них одиозно, и, разумеется, будет благоразумней, если вы поедете в Четырнадцатый полк. Там исключительно славный подбор офицеров, да и казаки потверже, посерее — большинство из южных станиц Усть-Медведицкого округа. Там вам лучше будет. Ведь вы, кажется, сын Николая Алексеевича Листницкого? — помолчав, спросил генерал и, получив утвердительный ответ, продолжал: — Со своей стороны могу заверить, что мы ценим офицеров таких, как вы. В наше время даже среди офицерского состава большинство двурушников. Ничего нет легче, как переменить веру, а то и двум богам молиться...— горько закончил начштаба.

Листницкий с радостью принял перевод. В этот же день он выехал в Двинск, где находился 14-й полк, а через сутки уже представился командиру полка, полковнику Быкадорову, и с удовлетворением осознал правдивость слов начштаба дивизии: офицеры в большинстве — монархисты; казаки, на треть разбавленные старообрядцами Усть-Хоперской, Кумылженской, Глазуновской и других станиц, были настроены отнюдь не революционно, на верность Временному правительству присягали неохотно, в событиях, кипевших вокруг, не разбирались, да и не хотели разбираться: в полковой и сотенные комитеты прошли казаки подхалимистые и смирные... С радостью вздохнул Листницкий в новой обстановке.

Среди офицеров он встретил двух сослуживцев по Атаманскому полку, державшихся обособленно; остальные были на редкость сплоченны, единодушны, открыто поговаривали о восстановлении династии.

Полк около двух месяцев простоял в Двинске, собранный в единый кулак и отдохнувший, подтянутый. До этого сотни, прикрепленные к пешим дивизиям, бродили по фронту от Риги до Двинска, но в апреле чья-то заботливая рука слила все сотни,— полк был наготове. Казаки, опекаемые суровым офицерским надзором, выходили на ученье, выкармливали лошадей, жили размеренной улиточной жизнью, оставаясь без всякого воздействия извне.

Среди них были смутные предположения об истинном предназначении полка, но офицеры говорили, не таясь, что в недалеком будущем полк в чьих-нибудь надежных руках еще покрутит колесо истории.

Близкий дыбился фронт. Армии дышали смертной лихорадкой, не хватало боевых припасов, продовольствия; армии многоруко тянулись к призрачному слову «мир»; армии по-разному встречали временного правителя республики Керенского и, понукаемые его истерическими криками, спотыкались в июньском наступлении; в армиях вызревший гнев плавился и вскипал, как вода в роднике, выметываемая глубинными ключами...

А в Двинске жили казаки мирно, тихо: желудки лошадей переваривали овес и макуху, память казаков заращивала тяготы, перенесенные на фронте; офицеры аккуратно посещали офицерское собрание, недурно столовались, горячо спорили о судьбах России...

Так до первых чисел июля. Третьего — приказ: «не медля ни минуты — выступать». Эшелоны полка потянулись в Петроград. Седьмого июля копыта казачьих коней уже цокали по одетым в торцовую чешую улицам столицы.

Полк расквартировали на Невском. Под сотню Листницкого отвели пустовавшее торговое помещение. Казаков ждали с нетерпением и радостью,— об этом красноречиво свидетельствовала та заботливость столичных властей, с какой были заранее оборудованы предназначавшиеся для казаков помещения. Заново окрашенные стены блестели известкой, глянцем лоснились начисто вымытые полы, от сосновых свежих нар — смолистые запахи; почти уютно было в светлом, опрятном полуподвале. Листницкий, морщась под пенсне, внимательно осмотрел помещение, походил под слепящими белизной стенами, решил, что лучшего, в смысле удобств, не остается и желать. Удовлетворенный осмотром, он, в сопровождении маленького, изящно одетого представителя городского управления, на долю которого выпало встречать казаков, направился к выходу во двор, но тут произошел неприятный казус: держась за дверную скобку, он увидел на стене мастерски выцарапанный каким-то острым предметом рисунок,— оскаленную собачью голову и метлу. Видно, кто-то из рабочих, трудившихся над оборудованием помещения, знал, для кого оно предназначалось...

— Что это? — подрожав бровями, спросил Листницкий у сопровождавшего его представителя.

Тот обежал рисунок расторопно-мышастыми глазами, страшно засопел. Кровь так густо кинулась ему в лицо, что даже крахмальный воротничок сорочки словно порозовел на нем...

— Простите, господин офицер... злоумышленная рука...

— Надеюсь, без вашего ведома изобразили здесь эмблему опричнины?

— Что вы! Что вы?! Помилуйте!.. Большевистский фортель... Какой-то негодяй осмелился!.. Я сейчас же прикажу вновь выбелить стену. Черт знает что!.. Простите... такое нелепое происшествие... Смею вас уверить, мне совестно за чужую подлость...

Листницкому стало искренне жаль уничтоженного, смущенного гражданина. Он, смягчив неумолимо-холодный взгляд, сдержанно сказал:

— Небольшой просчет художника — казаки ведь не знают русской истории. Но из этого еще не следует, что подобное отношение к себе мы можем поощрять...

Представитель твердым холеным ногтем выскребал в известке рисунок, пачкал дорогое английское пальто мельчайшей оседавшей на нем белой пылью, тянулся на цыпочках перед стеной; Листницкий, протирая пенсне, улыбался, но горькая, желчная грусть томилась в нем в этот миг.

«Вот как встречают нас и вот что кроется за внешней, показной стороной!.. Но неужели для всей России мы являемся в образе опричнины?» — думал он, шагая по двору к конюшням и невнимательно, безразлично вслушиваясь в слова спешившего за ним представителя.

В глубокий, просторный колодец двора отвесно падали солнечные лучи. Из окон многоэтажных домов жильцы, свесившись, разглядывали казаков, заполнивших весь двор,— сотня размещала в конюшне лошадей. Освободившиеся казаки кучками стояли и сидели на корточках у стен, в холодке.

— Что же не идете, ребята, в помещение? — спросил Листницкий.

— Успеется, господин есаул.

— Надоисть ишо и там.

— Коней вот расстановим,— тогда уж.

Листницкий осмотрел склад, предназначенный под конюшни, строго, стараясь вернуть себе прежнюю неприязнь к сопровождавшему его представителю, сказал:

— Войдите в соглашение с кем требуется и договоритесь вот о чем: нам необходимо прорубить еще одну дверь. Ведь не можем же мы иметь на сто двадцать лошадей три двери. Этак в случае тревоги нам понадобится полчаса для того, чтобы вывести лошадей... Странно! Неужели это обстоятельство нельзя было учесть в свое время? Я вынужден буду доложить об этом командиру полка.

Получив немедленное заверение, что не одна, а две двери будут сегодня же пробиты, Листницкий распрощался с представителем; сухо поблагодарив его за хлопоты, отдал распоряжение о назначении дневальных и пошел на второй этаж, во временную квартиру, отведенную офицерам сотни. На ходу расстегивая китель, вытирая под козырьком пот, он по черной лестнице поднялся к себе, радостно ощутив сыроватую прохладу комнат. В квартире, за исключением подъесаула Атарщикова, не было никого.

— Где же остальные? — спросил Листницкий, падая на брезентовую койку и тяжело отваливая ноги в запыленных сапогах.

— На улице. Рассматривают Петроград.

— А ты что же?

— Ну, знаешь ли, не стоит. Не успели ввалиться — и уж сразу в город. Я вот почитываю о том, что происходило здесь несколько дней назад. Занятно!

Листницкий лежал молча, чувствуя, как на спине его приятно холодеет мокрая от пота рубашка, ему лень было встать и умыться,— сказывалась нажитая за дорогу усталость. Пересилив себя, он встал, позвал вестового. Переменив белье, долго умывался, довольно фыркал, тер лохматым полотенцем полную, с серым налетом загара шею.

— Умойся, Ваня,— посоветовал он Атарщикову,— гору с плеч скинешь... Ну, так что в газетах?

— Пожалуй, в самом деле умыться. Неплохо — говоришь?.. А в газетах что? Описание выступления большевиков, правительственные мероприятия... Почитай!

Повеселевший после умывания Листницкий взялся было за газету, но его пригласили к командиру полка. Нехотя поднявшись, он надел новый китель, пахнущий мылом, неприлично помятый за дорогу, прицепил шашку и вышел на проспект. Перейдя на другую сторону, повернулся, разглядывая дом, где расположилась сотня. С внешней стороны, по типу, дом ничем не отличался от остальных: пятиэтажный, облицованный дымчатым ноздреватым камнем, стоял он в ровном строю таких же домов.

Закуривая, Листницкий медленно тронулся по тротуару. Густая толпа пенилась мужскими соломенными шляпами, котелками, кепками, изысканно-простыми и нарядными шляпками женщин. В общем потоке изредка мелькала зеленым демократическим пятном фуражка военного и исчезала, поглощенная переливами разноцветных красок.

Со взморья волной шел бодрящий свежий ветерок, но, разбиваясь о крутые громады строений, растекался жидкими неровными струями. По стальному, с сиреневым оттенком, неяркому небу правились на юг тучи. Молочно-белые гребни их зубчатились рельефно и остро. Над городом висела парная преддождевая духота. Пахло нагретым асфальтом, перегаром бензина, близким морем, волнующим невнятным запахом дамских духов и еще какой-то разнородной неделимой смесью запахов, присущей всякому многолюдному городу.

Листницкий, покуривая, медленно шел правой стороной тротуара, изредка ловил на себе боковые почтительные взгляды встречных. Вначале он испытывал некоторое стеснение за свой помятый китель и несвежую фуражку, но потом решил, что фронтовику, пожалуй, и нечего стыдиться своей внешности, а тем более ему, только сегодня покинувшему вагон.

На тротуарах, ленивые, оливково-желтые, лежали теневые пятна от парусиновых тентов, натянутых над входами в магазины и кафе. Ветер, раскачивая, трепал выжженную парусину, пятна на тротуарах шевелились, рвались из-под шаркающих ног людей. Несмотря на послеобеденный час, проспект кишел людьми. Листницкий, отвыкший за годы войны от города, с радостным удовлетворением впитывал в себя разноголосый гул, перевитый смехом, автомобильными гудками, криком газетчиков, и, чувствуя себя в этой толпе прилично одетых, сытых людей своим, близким, все же думал:

«Какие все вы сейчас довольные, радостные, счастливые,— все: и купцы, и биржевые маклеры, и чиновники разных рангов, и помещики, и люди голубой крови! А что с вами было три-четыре дня назад? Как выглядели вы, когда чернь и солдатня расплавленной рудой текли вот по этому проспекту, по улицам? По совести, и рад я вам и не рад. И благополучию вашему не знаю, как радоваться...»

Он попробовал проанализировать свое раздвоенное чувство, найти истоки его и без труда решил: потому он так мыслит и чувствует, что война и то, что пришлось пе-

режить там, отдалили его от этого скопища сытых, довольных.

«Ведь вот этот молодой, упитанный,— думал он, встречаясь глазами с полным, краснощеким и безусым мужчиной,— почему он не на фронте? Наверно, сын заводчика или какого-нибудь торгового зубра, уклонился, подлец, от службы,— начхать ему на Родину,— и «работает на оборону», жиреет, с удобствами любит женщин...»

«Но с кем же ты-то в конце концов? — задал он сам себе вопрос и, улыбаясь, решил: — Ну, конечно же, вот с этими! В них частичка самого меня, а я частичка их среды... Все, что есть хорошего и дурного в них, есть в той или иной мере и у меня. Может быть, у меня немного тоньше кожа, чем у этого вот упитанного боровка, может быть, поэтому я болезненней реагирую на все, и наверняка поэтому я — честно на войне, а не «работаю на оборону», и именно поэтому тогда зимой, в Могилеве, когда я увидел в автомобиле свергнутого императора, уезжавшего из Ставки, и его скорбные губы, и потрясающее, непередаваемое положение руки, беспомощно лежавшей на колене, я упал на снег и рыдал, как мальчишка... Ведь вот я почестному не приемлю революцию, не могу принять! И сердце и разум противятся... Жизнь положу за старое, отдам ее, не колеблясь, без позы, просто, по-солдатски. А многие ли на это пойдут?»

Бледнея, с глубочайшей волнующей яркостью воскресил он в памяти февральский богатый красками исход дня, губернаторский дом в Могилеве, чугунную запотевшую от мороза ограду и снег по ту сторону ее, испещренный червонными бликами низкого, покрытого морозно-дымчатым флером, солнца. За покатым свалом Днепра небо крашено лазурью, киноварью, ржавой позолотой, каждый штрих на горизонте так неосязаемо воздушен, что больно касаться взглядом. У выезда небольшая толпа из чинов Ставки, военных, штатских... Выезжающий крытый автомобиль. За стеклом, кажется, Фредерикс [1], и царь, откинувшийся на спинку сиденья. Осунувшееся лицо его с каким-то фиолетовым оттенком. По бледному лбу косой черный полукруг папахи, формы казачьей конвойной стражи.

Листницкий почти бежал мимо изумленно оглядывавшихся на него людей. В глазах его падала от края черной папахи царская рука, отдававшая честь, в ушах звенели

[1] Фредерикс В.— граф, министр царского двора.

бесшумный ход отъезжающей машины и унизительное безмолвие толпы, молчанием провожавшей последнего императора...

По лестнице дома, где помещался штаб полка, Листницкий поднимался медленно. У него еще дрожали щеки и кровянисто слезились припухшие заплаканные глаза. На площадке второго этажа он выкурил подряд две папиросы, протирая пенсне, через две ступеньки взбежал на третий этаж.

Командир полка отметил на карте Петрограда район, в котором сотня Листницкого должна была нести охрану правительственных учреждений, перечислил учреждения, с мельчайшими деталями сообщил о том, какие и в какое время надо ставить и сменять караулы, в заключение сказал:

— В Зимний дворец Керенскому...

— Ни слова о Керенском!..— заливаясь смертельной бледностью, громко прошептал Листницкий.

— Евгений Николаевич, надо брать себя в руки...

— Полковник, я вас прошу!

— Но, милый мой...

— Я прошу!

— Нервы у вас...

— Разъезды к Путиловскому сейчас прикажете выслать? — тяжело дыша, спросил Листницкий.

Полковник, кусая губы, улыбаясь, пожал плечами, ответил:

— Сейчас же! И непременно со взводным офицером.

Листницкий вышел из штаба нравственно опустошенный, раздавленный воспоминаниями пережитого и разговором с командиром полка. Почти у самого дома увидел казачий разъезд стоявшего в Петрограде 4-го Донского полка. На уздечке светло-рыжего офицерского коня, завядшие, понуро висели живые цветы. На белоусом лице офицера сквозила улыбка.

— Да здравствуют спасители Родины!..— крикнул, сходя с тротуара и размахивая шляпой, какой-то экзальтированный пожилой господин.

Офицер любезно приложил ладонь к козырьку. Разъезд тронулся рысью. Листницкий посмотрел на взволнованное мокрогубое лицо приветствовавшего казаков господина, на его тщательно повязанный цветастый галстук и, морщась ссутулившись, шмыгнул в подъезд своего дома.

XI

Назначение генерала Корнилова главнокомандующим Юго-Западного фронта встречено было офицерским составом 14-го полка с большим сочувствием. О нем говорили с любовью и уважением, как о человеке, обладающем железным характером и несомненно могущем вывести страну из тупика, в который завело ее Временное правительство.

Особенно горячо встретил это назначение Листницкий. Он через младших офицеров сотен и близких к нему казаков пытался узнать, как относятся к этому казаки, но полученные сведения его не порадовали. Молчали казаки или отделывались апатичными ответами:

— Нам все одно...

— Какой он, кто его знает...

— Кабы он насчет замиренья постарался, тогда, конешно...

— Нам от его повышенья легше не будет, небось!

Через несколько дней среди офицеров, общавшихся с более широкими кругами гражданского населения и военных, передавались упорные слухи, что будто бы Корнилов жмет на Временное правительство, требуя восстановления смертной казни на фронте и проведения многих решительных мероприятий, от которых зависит участь армии и исход войны. Говорили о том, что Керенский боится Корнилова и, наверное, приложит все усилия к тому, чтобы заменить его на должности главнокомандующего фронта более податливым генералом. Назывались известные в военной среде имена генералов.

19 июля всех поразило правительственное сообщение о назначении Корнилова верховным главнокомандующим. Вскоре же подъесаул Атарщиков, имевший обширные знакомства в Главном комитете Офицерского союза, рассказывал, ссылаясь на вполне достоверные источники, что Корнилов в записке, приготовленной для доклада Временному правительству, настаивал на необходимости следующих главнейших мероприятий: введения на всей территории страны в отношении тыловых войск и населения юрисдикции военно-полевых судов, с применением смертной казни; восстановления дисциплинарной власти военных начальников; введения в узкие рамки деятельности комитетов в воинских частях и т. д.

В этот же день вечером Листницкий в разговоре с офицерами своей сотни и других сотен остро и прямо поставил вопрос: с кем они идут?

— Господа офицеры! — говорил он со сдержанным волнением.— Мы живем дружной семьей. Мы знаем, что представляет каждый из нас, но до сей поры многие больные вопросы между нами остались невырешенными. И вот именно теперь, когда отчетливо намечаются перспективы расхождения верховного с правительством, нам необходимо ребром поставить вопрос: с кем и за кого мы? Давайте же поговорим по-товарищески, не кривя душой.

Подъесаул Атарщиков ответил первый:

— Я за генерала Корнилова готов и свою и чужую кровь цедить! Это кристальной честности человек, и только он один в состоянии поставить Россию на ноги. Смотрите, что он делает в армии! Ведь только благодаря ему отчасти развязали руки военачальникам, а было сплошное засилье комитетов, братанье, дезертирство. Какой может быть разговор? Всякий порядочный человек за Корнилова!

Тонконогий, непомерно грудастый и широкоплечий Атарщиков говорил запальчиво. Видно, трогал его за живое поднятый вопрос. Кончив, он оглядел группировавшихся у стола офицеров, выжидательно постукал по портсигару мундштуком папиросы. На нижнем веке его правого глаза коричневой выпуклой горошиной сидела родинка. Она мешала верхнему веку плотно прикрывать глаз, и от этого при первом взгляде на Атарщикова создавалось впечатление, будто глаза его тронуты постоянной снисходительно выжидающей усмешкой.

— Если выбирать между большевиками, Керенским и Корниловым, то, разумеется, мы за Корнилова.

— Нам трудно судить, чего хочет Корнилов: только ли восстановления порядка в России, или восстановления еще чего-нибудь...

— Это не ответ на принципиальный вопрос!

— Нет, ответ!

— А если и ответ, то неумный, во всяком случае.

— А чего вы боитесь, сотник? Восстановления монархии?

— Я не боюсь этого, а, напротив, желаю.

— Так в чем же дело?

— Господа! — твердым, обветрившим голосом заговорил Долгов, недавний вахмистр, получивший за боевые отличия хорунжего.— О чем вы спорите? А вы степенно

скажите, что нам, казакам, надо держаться за генерала Корнилова, как дитю за материн подол. Это без всяких лукавствий, напрямки! Оторвемся от него — пропадем! Расея навозом нас загребет. Тут уж дело ясное: куда он — туда и мы.

— Вот это — да!

Атарщиков с восхищением хлопнул Долгова по плечу и смеющимися глазами уставился на Листницкого. Тот, улыбаясь, волнуясь, разглаживал на коленях складки брюк.

— Так как же, господа офицеры, атаманы? — приподнятым голосом воскликнул Атарщиков.— За Корнилова мы?..

— Ну, конечно!

— Долгов сразу разрубил гордиев узел.

— Все офицерство за него!

— Мы не хотим быть исключением.

— Дорогому Лавру Георгиевичу, казаку и герою — ура!

Смеясь и чокаясь, офицеры пили чай. Разговор, утративший недавнюю напряженность, вертелся вокруг событий последних дней.

— Мы-то гужом за верховного, а вот казаки мнутся...— нерешительно сказал Долгов.

— Как это «мнутся»? — спросил Листницкий.

— А так. Мнутся — и шабаш... Им, сукиным сынам, по домам к бабам охота... Жизня-то нетеплая остобрыдла...

— Наше дело — увлечь за собой казаков! — Сотник Чернокутов брякнул кулаком по столу.— Увлечь! На то мы и носим офицерские погоны!

— Казакам надо терпеливо разъяснять, с кем им по пути.

Листницкий постучал ложечкой о стакан; собрав внимание офицеров, раздельно сказал:

— Прошу запомнить, господа, что наша работа сейчас должна сводиться вот именно, как сказал Атарщиков, к разъяснению казакам истинного положения вещей. Казака надо вырвать из-под влияния комитетов. Тут нужна ломка характеров, примерно, такая же, если не бо́льшая, которую большинству из нас пришлось пережить после Февральского переворота. В прежнее время,— допустим, в шестнадцатом году,— я мог избить казака, рискуя тем, что в бою он мне пустит в затылок пулю, а после февраля пришлось свернуться, потому что, если бы я ударил како-

го-нибудь дурака,— меня убили бы здесь же, в окопах, не дожидаясь удобного момента. Теперь совсем иное дело. Мы должны,— Листницкий подчеркнул это слово,— сродниться с казаком! От этого зависит все. Вы знаете, что творится сейчас в Первом и Четвертом полках?

— Кошмар!

— Вот именно — кошмар! — продолжал Листницкий.— Офицеры отгораживались от казаков прежней стеной, и в результате казаки все поголовно подпали под влияние большевиков и сами на девяносто процентов стали большевиками. Ведь ясно, что грозных событий нам не миновать... Дни третьего и пятого июля — только суровое предостережение всем беспечным. Или нам за Корнилова придется драться с войсками революционной демократии, или большевики, накопив силы и расширив свое влияние, качнут еще одной революцией. У них передышка, концентрация сил, а у нас — расхлябанность... Да разве же можно так?! Вот в будущей-то перетряске и пригодится надежный казак...

— Мы без казаков, конешно, ноль без палочки,— вздохнул Долгов.

— Верно, Листницкий!

— Очень даже верно.

— Россия одной ногой в могиле...

— Ты думаешь, мы этого не понимаем? Понимаем, но иногда бессильны что-либо сделать. «Приказ № 1» [1] и «Окопная правда» [2] сеют свои семена.

— А мы любуемся на всходы вместо того, чтобы вытоптать их и выжечь дотла! — крикнул Атарщиков.

— Нет, не любуемся,— мы бессильны!

— Врете, хорунжий! Мы просто нерадивы!

— Неправда!

— Докажите!

— Тише, господа!

— «Правду» разгромили... Керенский задним умом умен...

— Что это... базар, что ли? Нельзя же!

Поднявшийся гул бестолковых выкриков понемногу утих. Командир одной из сотен, с чрезвычайным интере-

---

[1] «Приказ № 1» (1/III 1917 г.) Исполнительного комитета Петроградского совета, изданный под давлением революционно настроенных масс, вводил выборные организации в войсковых частях и контроль этих организаций над действиями старого царского командного состава.

[2] «Окопная правда» — боевая большевистская газета.

сом вслушивавшийся в слова Листницкого, попросил внимания.

— Я предлагаю дать возможность есаулу Листницкому докончить.

— Просим!

Листницкий, потирая кулаками острые углы колен, продолжал:

— Я говорю, что тогда, то есть в будущих боях, в гражданской войне,— я только сейчас понял, что она неизбежна,— и понадобится верный казак. Надо биться и отвоевать его у комитетов, тяготеющих к большевикам. В этом кровная необходимость! Ведь в случае новых потрясений казаки Первого и Четвертого полков перестреляют своих офицеров...

— Ясно!

— Церемониться не будут!

— ...И на их опыте,— очень горьком, к слову сказать,— должны мы учиться. Казаков Первого и Четвертого полков — хотя, впрочем, какие они теперь казаки? — в будущем придется вешать через одного, а то и просто свалить всех... Сорную траву из поля вон! Так давайте же удержим своих казаков от ошибок, за которые им придется впоследствии нести расплату.

После Листницкого взял слово тот самый командир сотни, который слушал его с таким исключительным вниманием. Старый кадровый офицер, служивший в полку девять лет, получивший за войну четыре ранения, он говорил о том, что в прежнее время тяжело было служить. Казачьи офицеры были на задворках, держались в черном теле, движение по службе было слабым, и для преобладающей части офицерских кадров чин войскового старшины был последним; этим обстоятельством, по его словам, и объяснялась инертность казачьих верхушек в момент низвержения самодержавия. Но, несмотря на это, говорил он, надо всемерно поддержать Корнилова, прочнее связавшись с ним через Совет союза казачьих войск и Главный комитет Офицерского союза.

— Пусть Корнилов будет диктатором,— для казачьих войск это спасение. При нем мы, может быть, будем даже лучше жить, чем при царе.

Время утекло далеко за полночь. Над городом простая, белесая, в распатлаченных космах облаков стояла ночь. Из окна виден был темный шпиль адмиралтейской башни и желтый половодный разлив огней.

Офицеры проговорили до рассвета. Решено было в неделю три раза проводить с казаками беседы на политические темы, взводным офицерам было вменено в обязанность ежедневно заниматься со взводами гимнастикой и читкой, для того чтобы заполнить свободное время и вырвать умы казаков из разлагающей атмосферы политики.

Перед уходом пели «Всколыхнулся, взволновался православный тихий Дон», допивали десятый самовар, под звон стаканов шутливые произносились тосты. И уже совсем перед концом Атарщиков, пошептавшись с Долговым, крикнул:

— Сейчас, в виде десерта, угостим мы вас старинной казачьей. А ну, потише! Да окошко бы открыть, а то уж больно накурено.

Два голоса — обветренный, ломкий бас Долгова и мягкий, необычайно приятный тенор Атарщикова — вначале сшибались, путались, у каждого был свой темп песни, но потом голоса буйно сплелись, звучали покоряюще красиво:

...Но и горд наш Дон, тихий Дон, наш батюшка —
Басурманину он не кланялся, у Москвы, как жить, не спрашивался.
А с Туретчиной — ох, да по потылице шашкой острою век здоровался...
А из года в год степь донская, наша матушка,
За пречистую мать богородицу, да за веру свою православную,
Да за вольный Дон, что волной шумит, в бой звала со супостатами...

Атарщиков, скрестив на коленях пальцы, на высоких тонах вел песню, за все время ни разу не сбился, несмотря на то, что, варьируя, он далеко оставлял за собой напористый бас Долгова; с виду был необычайно суров, и лишь под конец Листницкий заметил, как через коричневый кургашек родинки на глазу сбежала у него холодно сверкнувшая слезинка.

После того как офицеры чужих сотен разошлись, а оставшиеся улеглись спать, Атарщиков подсел на койку Листницкого, теребя голубые вылинявшие подтяжки на выпуклом заслоне груди, зашептал:

— Ты понимаешь, Евгений... Я до чертиков люблю Дон, весь этот старый, веками складывавшийся уклад казачьей жизни. Люблю казаков своих, казачек — все люблю! От запаха степного полынка мне хочется плакать... И вот еще, когда цветет подсолнух и над Доном пахнет смоченными дождем виноградниками,— так глубоко и больно люблю... ты поймешь... А вот теперь думаю: не

околпачиваем ли мы вот этих самых казаков? На эту ли стежку хотим мы их завернуть?..

— О чем ты? — настороженно спросил Листницкий.

Из-под воротника белой сорочки Атарщикова наивно, по-юношески трогательно смуглела шея. Над коричневой родинкой тяжко висел синий ободок века, в профиле виден был увлажненный свет одного полузакрытого глаза.

— Я думаю: надо ли казакам это?

— А что же, в таком случае, им надо?

— Не знаю... Но почему они так стихийно отходят от нас? Революция словно разделила нас на овец и козлищ, наши интересы как будто расходятся.

— Видишь ли,— осторожно начал Листницкий,— тут сказывается разница в восприятии событий. За нами больше культуры, мы можем критически оценивать тот или иной факт, а у них все примитивней, проще. Большевики вдалбливают им в головы, что надо войну кончать,— вернее, превращать ее в гражданскую. Они натравливают казаков на нас, а так как казаки устали, в них больше животного, нет того нравственного крепкого сознания долга и ответственности перед родиной, что есть у нас,— то вполне понятно, это находит благоприятную почву. Ведь что такое для них Родина? Понятие, во всяком случае, абстрактное. «Область Войска Донского от фронта далеко, и немец туда не дойдет»,— так рассуждают они. В этом-то вся и беда. Нужно правильно растолковать им, какие последствия влечет за собой превращение этой войны в войну гражданскую.

Листницкий говорил, подсознательно чувствуя, что слова его не доходят до цели и что Атарщиков сейчас закроет перед ним створки своей душевной раковины.

Так и произошло: Атарщиков что-то промычал невнятное, долго сидел молча, и Листницкий хотя и пытался, но не мог разобраться, в каких потемках бродят сейчас мысли умолкшего сослуживца.

«Надо бы дать ему высказаться до конца...» — с сожалением подумал он.

Атарщиков пожелал спокойной ночи, так и ушел, не сказав больше ни слова. На минуту потянулся к искреннему разговору, приподнял краешек той черной завесы неведомого, которой каждый укрывается от других, и вновь опустил ее.

Неразгаданность чужого, сокровенного досадно волновала Листницкого. Он покурил, полежал немного, на-

пряженно глядя в серую ватную темень, и неожиданно вспомнил Аксинью, дни отпуска, заполненные до краев ею. Уснул, примиренный думами и случайными, отрывочными воспоминаниями о женщинах, чьи пути скрещивались когда-то с его путями.

XII

В сотне Листницкого был казак Букановской станицы Лагутин Иван. По первым выборам он прошел в члены полкового военно-революционного комитета, до прихода полка в Петроград ничем особым себя не проявлял, но в последних числах июля взводный офицер сообщил Листницкому, что Лагутин бывает в военной секции Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, связан, наверное, с Советом, так как замечалось, что ведет он частые беседы с казаками своего взвода и влияет на них с отрицательной стороны. В сотне два раза были случаи отказа от назначения в караулы и разъезды. Взводный офицер приписывал эти случаи воздействию на казаков Лагутина.

Листницкий решил, что ему необходимо как-нибудь поближе узнать Лагутина, прощупать его. Вызвать казака на откровенный разговор было бы глупо и неосторожно, поэтому Листницкий решил выжидать. Случай представился скоро. В конце июля третий взвод по наряду должен был ночью нести охрану улиц, прилегающих к Путиловскому заводу.

— Я поеду с казаками,— предупредил взводного офицера Листницкий.— Передайте, чтобы мне оседлали вороного.

Листницкий имел двух лошадей,— «на всякий случай», как говорил он. Одевшись при помощи вестового, он спустился во двор. Взвод был на конях. В мглистой, вышитой огнями темноте проехали несколько улиц. Листницкий нарочно отстал, окликнул сзади Лагутина. Тот подъехал, поворачивая свою невзрачную лошаденку, сбоку выжидающе поглядел на есаула.

— Что нового у вас в комитете? — спросил Листницкий.

— Ничего нету.

— Ты какой станицы, Лагутин?

— Букановской.

— Хутора?

— Митякина.

Теперь лошади их шли рядом. Листницкий при свете фонарей искоса посматривал на бородатое лицо казака. У Лагутина из-под фуражки виднелись гладкие зачесы волос, на пухлых щеках неровная куделилась бородка, умные с хитринкой глаза сидели глубоко, прикрытые выпуклыми надбровными дугами.

«Простой с виду, постный,— а что у него за душой? Наверное, ненавидит меня, как и все, что связано со старым режимом, с «палкой капрала»...» — подумал Листницкий, и почему-то захотелось узнать о прошлом Лагутина.

— Семейный?

— Так точно. Жена и двое детишков.

— А хозяйство?

— Какое у нас хозяйство? — насмешливо, с ноткой сожаления сказал Лагутин.— Живем ни шатко ни валко. Бык на казака, а казак на быка,— так всю жисть и крутимся... Земля-то у нас песчаная,— подумав, сурово добавил он.

Листницкий когда-то ехал на станцию Себряково через Букановскую. Он живо вспомнил эту глухую, улегшуюся на отшибе от большого шляха станицу, с юга прикрытую ровнехоньким неокидным лугом, опоясанную капризными извивами Хопра. Тогда еще с гребня, от Еланской грани, верст за двенадцать, увидел он зеленое марево садов в низине, белый обглоданный мосол высокой колокольни.

— Супесь у нас,— вздохнул Лагутин.

— Домой, наверное, хочется, а?

— Как же, господин есаул! Конешно, гребтится поскорей возвернуться. Нуждишки не мало приняли за войну.

— Едва ли, брат, скоро придется вернуться...

— Придется.

— Войну-то не кончили ведь?

— Скоро прикончут. По домам скоро,— упрямо настаивал Лагутин.

— Еще между собой придется воевать. Ты как думаешь?

Лагутин, не поднимая от луки опущенных глаз, помолчав, спросил:

— С кем воевать-то?

— Мало ли с кем... Хотя бы с большевиками.

И опять надолго замолчал Лагутин, словно задремал под четкий плясовой звяк копыт. Ехали молча минуты три. Лагутин, медленно расстанавливая слова, сказал:

— Нам с ними нечего делить.

— А землю?

— Земли на всех хватит.

— Ты знаешь, к чему стремятся большевики?

— Трошки припадало слыхать...

— Так что же, по-твоему, делать, если большевики будут идти на нас с целью захвата наших земель, с целью порабощения казаков? С германцами ведь ты воевал, защищал Россию?

— Германец — дело другое.

— А большевики?

— Что ж, господин есаул,— видимо, решившись, заговорил Лагутин, поднимая глаза, настойчиво разыскивая взгляд Листницкого,— большевики последнюю землишку у меня не возьмут. У меня в аккурат один пай, им моя земля без надобности... А вот, к примеру,— вы не обижайтесь только! — у вашего папаши десять тыщев десятин...

— Не десять, а четыре.

— Ну, все одно, хучь и четыре,— рази мал кусок? Какой же это порядок, можно сказать? А кинь по России — таких, как ваш папаша, очень даже много. И так рассудите, господин есаул, что каждый рот куска просит. И вы желаете кушать, и другие всякие люди тоже желают исть. Это ить один цыган приучал кобылу не исть,— дескать, приобыкнет без корму. А она, сердешная, привыкала, привыкала, да на десятые сутки взяла да издохла... Порядки-то кривые были при царе, для бедного народа вовсе суковатые... Вашему папаше отрезали вон, как краюху пирога, четыре тыщи, а ить он не в два горла исть, а так же, как и мы, простые люди, в одно. Конешно, обидно за народ!.. Большевики — они верно нацеливаются, а вы говорите — воевать...

Листницкий слушал его с затаенным волнением. К концу он уже понимал, что бессилен противопоставить какой-либо веский аргумент, чувствовал, что несложными, убийственно-простыми доводами припер его казак к стене, и оттого, что заворошилось наглухо упрятанное сознание собственной неправоты, Листницкий растерялся, озлился.

— Ты чего же — большевик?

— Прозвище тут ни при чем...— насмешливо и протяжно ответил Лагутин.— Дело не в прозвище, а в правде. Народу правда нужна, а ее все хоронют, закапывают. Гутарют, что она давно уж покойница.

— Вот чем начиняют тебя большевики из совдепа... Оказывается, недаром ты с ними якшаешься.

— Эх, господин есаул, нас, терпеливых, сама жизня начинила, а большевики только фитиль подожгут...

— Ты эти присказки брось! Балагурить тут нечего! — уже сердито заговорил Листницкий.— Ответь мне: ты вот говорил о земле моего отца, вообще о помещичьей земле, но ведь это — собственность. Если у тебя две рубахи, а у меня нет ни одной — что же, по-твоему, я должен отбирать у тебя?

Листницкий не видел, но по голосу Лагутина догадался, что тот улыбается.

— Я сам отдам лишнюю рубаху. И отдавал на фронте не лишнюю, а последнюю, шинель на голом теле носил, а вот землицей что-то никто не прошибется...

— Да ты что — землей не сыт? Не хватает тебе? — повысил Листницкий голос.

В ответ, взволнованно задыхаясь, почти крикнул побелевший Лагутин:

— А ты думаешь, я об себе душой болею? В Польше были — там как люди живут? Видал аль нет? А кругом нас мужики как живут?.. Я-то видал! Сердце кровью закипает!.. Что ж, думаешь, мне их не жалко, что ль? Я, может быть, об этом, об поляке, изболелся весь, на его горькую землю интересуясь.

Листницкий хотел сказать что-то едкое, но от серых лобастых корпусов Путиловского завода — пронзительный крик «держи!». Грохотом пробарабанил конский топот, резнул слух выстрел. Взмахнув плетью, Листницкий пустил коня наметом.

Они с Лагутиным одновременно подскакали ко взводу, сгрудившемуся возле перекрестка. Казаки, звеня шашками, спешивались, в середине бился схваченный ими человек.

— Что? Что такое? — загремел Листницкий, врезываясь конем в толпу.

— Гад какой-то камнем...

— Шибнул — и побег.

— Дай ему, Аржанов!

— Ишь ты, сволочь! В шиб-прошиб играешь?

Взводный урядник Аржанов, свесившись с седла, держал за шиворот небольшого, одетого в черную распоясанную рубаху, человека. Трое спешившихся казаков крутили ему руки.

— Ты кто такой? — не владея собой, крикнул Листницкий.

Пойманный поднял голову, на мутно-белом лице, покривясь, плотно сомкнулись безмолвные губы.

— Ты кто? — повторил Листницкий вопрос.— Каменями швыряешься, мерзавец? Ну? Молчишь? Аржанов...

Аржанов прыгнул с седла,— выпустив из рук воротник пойманного, с маху ударил того по лицу.

— Дайте ему! — круто поворачивая коня, приказал Листницкий.

Трое или четверо спешенных казаков, валяя связанного человека, замахали плетьми. Лагутин — с седла долой, к Листницкому.

— Господин есаул!.. Что ж вы это?.. Господин есаул! — он ухватил колено есаула дрожащими цепкими пальцами, кричал: — Нельзя так!.. Человек ить! Что вы делаете?

Листницкий трогал коня поводьями, молчал. Рванувшись к казакам, Лагутин обхватил Аржанова поперек, спотыкаясь, путаясь в шашке ногами, пытался его оттащить. Тот, сопротивляясь, бормотал:

— Ты не гори дюже! Не гори! Он будет каменьями шибаться, а ему молчи?.. Пусти!.. Пусти, тебе добром говорят!..

Один из казаков, изогнувшись, смахнул с себя винтовку, бил прикладом по мягко похрустывавшему телу поваленного человека. Спустя минуту низкий, животно-дикий крик пополз над мостовой.

А потом несколько секунд молчания — и тот же голос, но уже ломкий по-молодому, захлебывающийся, исшматованный болью, между выхрипами после ударов замыкался короткими выкриками:

— Сволочи!.. Контрреволюционеры!.. Бейте! О-ох!.. А-а-а-а!..

Гак! гак! гак! — хряпали вперемежку удары.

Лагутин подбежал к Листницкому; плотно прижимаясь к его колену, царапая ногтями крыло седла, задохнулся.

— Смилуйся!

— Отойди!

— Есаул!.. Листницкий!.. Слышишь? Ответишь!

— Плевать я на тебя хотел! — засипел Листницкий и тронул коня на Лагутина.

— Братцы! — крикнул тот, подбежав к стоявшим в стороне казакам.— Я член полкового ревкома... Я вам приказываю: ослобоните человека от смерти!.. Ответ... ответ будете держать!.. Не старое время!..

Безрассудная слепящая ненависть густо обволокла Листницкого. Плетью коня меж ушей — и на Лагутина. Тыча в лицо ему вороненый, провонявший ружейным маслом ствол нагана, прорвался на визг:

— Замолчи-и-и, предатель! Большевик! Застре-лю!

Величайшим усилием воли оторвал палец от револьверного спуска, вскинув коня на дыбы, ускакал.

Несколько минут спустя тронулись следом за ним три казака. Среди лошадей Аржанова и Лапина волочился, не переставляя ног, человек в мокрой, плотно прилипшей к телу рубахе. Поддерживаемый под руки казаками, он тихо покачивался, чертил ногами булыжник. Между высоко вздернутыми острыми плечами его болталась, свешиваясь назад, белея торчмя поднятым подбородком, окровененная, разбитая в мякоть голова. Поодаль двигался третий казак. На углу освещенного переулка он увидел извозчика; привстав на стременах, зарысил к нему. Что-то коротко сказав, выразительно пощелкал по голенищу сапога плетью, и извозчик с послушной торопливостью поехал к остановившимся среди улицы Аржанову и Лапину.

На другой день Листницкий проснулся с сознанием совершенной им вчера большой непоправимой ошибки. Покусывая губы, он вспомнил сцену избиения человека, бросившего в казаков камнем, и то, что после разыгралось между ним и Лагутиным. Поморщился. Раздумчиво покашлял. Одеваясь, думал, что Лагутина трогать пока не надо, во избежание обострения отношений с полковым комитетом, а лучше выждать время, когда в памяти казаков, бывших при этом, выутюжится вчерашняя стычка с Лагутиным, и тогда потихоньку убрать его с дороги.

«Что называется, сроднился с казаком...» — горько иронизировал над собой Листницкий и все последующие дни находился под нехорошим впечатлением происшедшего.

Уже в первых числах августа, в погожий солнечный день, Листницкий пошел однажды с Атарщиковым по городу. Между ними, после разговора, происходившего в день собрания офицеров, не было ничего, что могло бы

разрешить создавшуюся тогда недоговоренность. Атарщиков был замкнут, вынашивал невысказанные размышления, на повторные попытки Листницкого вызвать его на откровенность наглухо запахивал ту непроницаемую завесу, которую привычно носит большинство людей, отгораживая ею от чужих глаз подлинный свой облик. Листницкому всегда казалось, что, общаясь с другими людьми, человек хранит под внешним обликом еще какой-то иной, который порою так и остается неуясненным. Он твердо верил, что если с любого человека соскоблить верхний покров, то вышелушится подлинная, нагая, не прикрашенная никакой ложью сердцевина. И поэтому ему всегда болезненно хотелось узнать, что кроется за грубой, суровой, бесстрашной, нахальной, благополучной, веселой внешностью разных людей. В данном случае, думая об Атарщикове, он догадывался лишь об одном — что тот мучительно ищет выхода из создавшихся противоречий, увязывает казачье с большевистским. Это предположение понудило его прекратить попытки к сближению с Атарщиковым, держаться отчужденней.

Они шли по Невскому, изредка перекидываясь незначительными фразами.

— Зайдем перекусить чего-нибудь? — предложил Листницкий, указывая глазами на двери ресторана.

— Пожалуй,— согласился Атарщиков.

Они вошли и остановились, оглядываясь с некоторой беспомощностью: все столики были заняты. Атарщиков уже повернулся было уходить, но от столика у окна поднялся внимательно глядевший на них брюзглый, хорошо одетый господин, сидевший в обществе двух дам, подошел, вежливо приподнимая котелок.

— Прошу прощения! Не угодно ли занять наш столик? Мы уходим.— Он улыбался, обнажая редкий ряд обкуренных зубов, движением руки приглашая пройти.— Я рад услужить господам офицерам. Вы — наша гордость.

Дамы, сидевшие за столиком, встали. Одна, высокая и черная, поправляла прическу, другая, помоложе, ожидала, играя зонтиком.

Офицеры поблагодарили господина, любезно предоставившего им возможность воспользоваться столиком, прошли к окну. Сквозь опущенную штору желтыми иглами втыкались в скатерть истрощенные лучи. Запахи кушаний глушили волнующе-тонкий аромат расставленных по столикам живых цветов.

Листницкий заказал ботвинью со льдом, в ожидании задумчиво ощипывал выдернутую из вазы желто-рдяную настурцию. Атарщиков вытирал платком потный лоб, устало опущенные глаза его, часто моргая, следили за солнечным зайчиком, трепетавшим на ножке соседнего столика.

Они еще не кончили закусывать, когда в ресторан, шумно разговаривая, вошли два офицера.

Передний, отыскивая глазами свободный столик, повернул к Листницкому покрытое ровным бурым загаром лицо. В косых черных глазах его сверкнула радость:

— Листницкий! Ты ли это?..— направляясь к нему, уверенно, без тени стеснения крикнул офицер.

Под черными усами его кипенно сверкнули зубы. Листницкий угадал есаула Калмыкова, следом за ним подошел Чубов. Они обменялись крепким рукопожатием. Познакомив бывших сослуживцев с Атарщиковым, Листницкий спросил:

— Какими судьбами сюда?

Калмыков, покручивая усы, кивнул головой назад,— косясь глазами по сторонам, сказал:

— Командированы. После расскажу. Ты о себе повествуй. Как живется в Четырнадцатом полку?

...Вышли они вместе. Калмыков и Листницкий отстали, свернули в первый переулок и через полчаса, миновав шумную часть города, шли, вполголоса разговаривая, опасливо поглядывая вокруг.

— Наш Третий корпус находится в резерве Румынского фронта,— оживленно рассказывал Калмыков.— Недели полторы назад получаю от командира полка предписание: сдав сотню, совместно с сотником Чубовым отправляться в распоряжение штаба дивизии. Чудесно. Сдаю. Приезжаем в штаб дивизии. Полковник М., из оперативного отделения,— ты его знаешь,— конфиденциально мне сообщает, что я немедленно должен выехать к генералу Крымову. Едем с Чубовым в корпус. Крымов принимает меня, а так как он знает, кого из офицеров к нему посылают, то прямо заявляет следующее: «У власти люди, сознательно ведущие страну к гибельному концу,— необходима смена правительственной верхушки, быть может, даже замена Временного правительства военной диктатурой». Назвал Корнилова как вероятного кандидата, потом предложил мне отправиться в Петроград, в распоряжение

Главного комитета Офицерского союза. Теперь здесь сгруппировано несколько сот надежных офицеров. Ты понимаешь, в чем заключается наша роль? Главный комитет Офицерского союза работает в контакте с нашим Советом союза казачьих войск, на узловых станциях и в дивизиях организует ударные батальоны. Все, что в недалеком будущем пригодится...

— Во что же выльется? Как ты думаешь?

— Вот тебе раз! Неужели, живя здесь, вы не уяснили обстановку? Несомненно, будет правительственный переворот, у власти станет Корнилов. Армия ведь за него горой. У нас там думают так: две равнозначащих — это Корнилов и большевики. Керенский между двумя жерновами,— не тот, так другой его сотрет. Пусть себе спит пока на постели Алисы [1]. Он — калиф на час.— Калмыков, помолчав и раздумчиво играя темляком шашки, сказал: — Мы, в сущности,— пешки на шахматном поле, а пешки ведь не знают, куда пошлет их рука игрока... Я, например, не представляю всего, что творится в ставке. Знаю, что между генералитетом — Корниловым, Лукомским, Романовским, Крымовым, Деникиным, Калединым, Эрдели и многими другими — есть какая-то таинственная связь, договоренность...

— Но армия... пойдет ли вся армия за Корниловым? — спросил Листницкий, все убыстряя шаги.

— Солдатня, конечно, не пойдет. Мы поведем ее.

— Ты знаешь, что Керенский под давлением левых хочет сместить верховного?

— Не посмеет! Завтра же поставят его на колени. Главный комитет Офицерского союза довольно категорически высказал ему свой взгляд на это.

— Вчера к нему от Совета союза казачьих войск были делегированы представители,— улыбаясь, говорил Листницкий.— Они заявили, что казачество не допускает и мысли о смещении Корнилова. И ты знаешь, что он ответил: — «Это — инсинуации. Ничего подобного Временное правительство и не думает предпринимать». Успокаивает общественность и в то же время, как проститутка, улыбается исполкому совдепа.

Калмыков на ходу достал полевую офицерскую книжку, прочитал вслух:

---

[1] Алиса — Александра Федоровна (до замужества принцесса Алиса Гессенская), жена Николая II.

— «Совещание общественных деятелей приветствует вас, верховного вождя русской армии. Совещание заявляет, что всякие покушения на подрыв вашего авторитета в армии и России считает преступными, и присоединяет свой голос к голосу офицеров, георгиевских кавалеров и казаков. В грозный час тяжелого испытания вся мыслящая Россия смотрит на вас с надеждой и верою. Да поможет вам бог в вашем великом подвиге на воссоздание могучей армии и спасение России! Родзянко». Ясно, кажется? Не может быть и речи о смещении Корнилова... Да, кстати, ты видел вчера его приезд?

— Я только ночью приехал из Царского Села.

Калмыков улыбнулся, разом оголив ровный навес зубов и розовые здоровые десны. Узкие глаза его сморщились, излучив от углов несчетное множество паутинно тонких морщин.

— Классически! Охрана — эскадрон текинцев. Пулеметы на автомобилях. Все это к Зимнему дворцу. Довольно недвусмысленное предупреждение... кха-кха-кха. Видел бы ты эти рожи в косматых папахах. О, на них стоит посмотреть! Своеобразное производят впечатление.

Поколесив по Московско-Нарвскому району, офицеры расстались.

— Нам, Женя, надо не терять друг друга из виду, — говорил на прощанье Калмыков.— Лихое наступает время. Держись за землю, а то упадешь!

Вслед уходившему Листницкому крикнул он, став вполоборота:

— Забыл тебе сказать. Меркулова нашего помнишь? Художника-то?

— Ну?

— Убили в мае.

— Не может быть!

— Да ведь как убили,— нечаянно. Глупее смерти и быть не может. В руках у разведчика разорвалась граната, самому ему по локти оторвало руки, а от Меркулова нашли мы лишь часть внутренностей да раздробленный цейсс [1]. Три года щадила смерть...

Калмыков еще что-то кричал, но поднявшийся ветер взвихрил серую пыль, нес лишь безголосые концы слов. Листницкий махнул рукой, пошел, изредка оглядываясь.

---

[1] Цейсс — здесь: цейссовский (фабрики Цейсса) бинокль.

XIII

6 августа начальник штаба верховного главнокомандующего генерал Лукомский, через первого генерал-квартирмейстера Ставки генерала Романовского, получил распоряжение о сосредоточении в районе Невель — Н. Сокольники — Великие Луки 3-го конного корпуса с Туземной дивизией.

— Почему в данном районе? Ведь части эти в резерве Румынского фронта? — спросил озадаченный Лукомский.

— Не знаю, Александр Сергеевич. Передаю вам точно приказание верховного.

— Когда вы его получили?

— Вчера. В одиннадцать часов ночи верховный вызвал меня и приказал доложить вам об этом сегодня утром.

Романовский, ступая на носки, походил у окна и, остановившись перед занявшей полстены в кабинете Лукомского стратегической картой Средней Европы, сказал, стоя спиной к нему, с преувеличенным вниманием разглядывая карту:

— Вы объяснитесь... Он сейчас у себя.

Лукомский взял со стола бумаги, отодвинул кресло, пошел той подчеркнуто твердой походкой, какой ходят все полнеющие пожилые военные. В дверях, пропуская вперед себя Романовского, сказал, очевидно, следя за ходом собственных мыслей:

— Правильно. Да.

От Корнилова только что вышел незнакомый Лукомскому высокий голенастый полковник. Он почтительно уступил дорогу, пошел по коридору, заметно прихрамывая, смешно и страшно дергая контуженным плечом.

Корнилов, чуть наклонившись вперед, опираясь о стол косо поставленными ладонями, говорил стоявшему против него пожилому офицеру:

— ...надо было ожидать. Вы меня поняли? Прошу известить немедленно по прибытии в Псков. Можете идти.

Выждав, пока за офицером закрылась дверь, Корнилов молодым, упругим движением опустился в кресло; подвигая Лукомскому второе, спросил:

— Вы получили от Романовского мое распоряжение о переброске Третьего корпуса?

— Да. Я пришел поговорить по этому поводу. Почему вами избран указанный район сосредоточения для корпуса?

Лукомский внимательно смотрел на смуглое лицо Корнилова. Оно было непроницаемо, азиатски бесстрастно; по щекам, от носа к черствому рту, закрытому негустыми вислыми усами, привычно-знакомые кривые ниспадали морщины. Жесткое, строгое выражение лица нарушала лишь косичка волос, как-то по-ребячески спускавшаяся на лоб.

Облокотившись, придерживая маленькой, сухой ладонью подбородок, Корнилов сощурил монгольские с ярким блеском глаза, ответил, касаясь рукой колена Лукомского:

— Я хочу сосредоточить конницу не специально за Северным фронтом, а в таком районе, откуда в случае надобности легко было бы ее перебросить на Северный или Западный фронты. По-моему, выбранный район наиболее удовлетворяет этому требованию. Вы мыслите иначе? Что?

Лукомский неопределенно пожал плечами.

— Опасаться за Западный фронт нет никаких оснований. Лучше сосредоточить конницу в районе Пскова.

— Пскова? — переспросил Корнилов, всем корпусом наклоняясь вперед, и, поморщась, чуть ощерив тонкую выцветшую губу, отрицательно качнул головой.— Нет! Район Пскова неудобен.

Усталым, старческим движением Лукомский положил на ручки кресла ладони; осторожно выбирая слова, сказал:

— Лавр Георгиевич, я сейчас же отдам необходимые распоряжения, но у меня создалось впечатление, что вы чего-то не договариваете... Выбранный вами район для сосредоточения конницы очень хорош на случай, если б ее надо было бросить на Петроград или Москву, но Северный фронт подобное размещение конницы не обеспечивает уже по одному тому, что ее трудно будет перебрасывать. Если я не ошибаюсь и вы действительно чего-то не договариваете, то прошу — или отпустите меня на фронт, или полностью скажите мне ваши предположения. Начальник штаба может оставаться на своем месте лишь при полном доверии со стороны начальника.

Корнилов, склонив голову, напряженно вслушивался и все же своим острым глазом успел заметить, как холодное с виду лицо Лукомского волнение испятнило еле видным, скупым румянцем. Подумав несколько секунд, он ответил:

— Вы правы. У меня есть некоторые соображения, относительно которых я с вами еще не говорил... Прошу отдать распоряжение о перемещении конницы и срочно вызовите сюда командира Третьего корпуса генерала Крымова, а мы с вами подробно переговорим после возвращения из Петрограда. От вас, Александр Сергеевич, поверьте, я ничего не хочу скрывать,— подчеркнул Корнилов последнюю фразу и с живостью повернулся на стук в дверь.— Войдите.

Вошли помощник комиссара при Ставке фон Визин, с ним низкорослый белесый генерал. Лукомский поднялся; уходя, слышал, как на вопрос фон Визина Корнилов резко сказал:

— Сейчас у меня нет времени пересматривать дело генерала Миллера. Что?.. Да, я уезжаю.

Вернувшись от Корнилова, Лукомский долго стоял у окна. Поглаживая седеющий клин бородки, задумчиво глядел, как в саду ветер зализывает густые вихры каштанов и волною гонит просвечивающую на солнце горбатую траву.

Через час штаб 3-го конного корпуса получил приказание от наштаверха [1] изготовиться к перемещению. В этот же день шифрованной телеграммой командир корпуса, генерал Крымов, в свое время, по желанию Корнилова, отказавшийся от назначения на должность командующего 11-й армией, срочно вызывался в Ставку.

9 августа Корнилов, под охраной эскадрона текинцев, специальным поездом выехал в Петроград.

На другой день в Ставке передавались слухи о смещении и даже аресте верховного, но 11-го утром Корнилов вернулся в Могилев.

Сейчас же по приезде он пригласил к себе Лукомского. Перечитав телеграммы и сводки, он заботливо поправил безукоризненно белый манжет, сочно оттенявший оливковую узкую кисть руки, коснулся воротника. В этих торопливо скользящих движениях сказывалось необычайное для него волнение.

— Сейчас мы можем докончить прерванный тогда разговор,— сказал он негромко.— Я хочу вернуться к тем соображениям, которые понудили меня передвигать Третий корпус к Петрограду и относительно которых я с вами

---

[1] Наштаверх — начальник штаба верховного главнокомандующего.

еще не говорил. Вы знаете, что третьего августа, когда я был в Петрограде на заседании правительства, Керенский и Савинков предупредили меня, чтобы я не касался особо важных вопросов обороны, так как, по их словам, среди министров есть люди ненадежные. Я, верховный главнокомандующий, отчитываясь перед правительством, не могу говорить об оперативных планах, ибо нет гарантий, что сказанное не будет через несколько дней известно германскому командованию! И это — правительство? Да разве я могу после этого верить, что оно спасет страну? — Корнилов быстрыми твердыми шагами дошел до двери, запер ее на ключ и, вернувшись, взволнованно расхаживая перед столом, сказал: — Горько и обидно, что какие-то слизняки правят страной. Безволие, слабохарактерность, неумение, нерешительность, зачастую простая подлость — вот что руководит действиями этого, с позволения сказать, «правительства». При благосклонном участии таких господ, как Чернов и другие, большевики сметут Керенского... Вот, Александр Сергеевич, в каком положении находится Россия. Руководствуясь известными вам принципами, я хочу оградить Родину от новых потрясений. Третий конный корпус я передвигаю, главным образом, для того, чтобы к концу августа стянуть его к Петрограду, и если большевики выступят, то расправиться с предателями Родины как следует. Непосредственное руководство операцией передаю генералу Крымову. Я убежден, что в случае необходимости он не задумается перевешать весь Совет рабочих и солдатских депутатов. Временное правительство... Ну, да мы еще посмотрим... Я ничего не ищу. Спасти Россию... спасти во что бы то ни стало, любой ценой!..

Корнилов оборвал шаги; остановившись против Лукомского, резко спросил:

— Разделяете вы мое убеждение, что только подобным мероприятием можно обеспечить будущее страны и армии? Пойдете ли вы со мной до конца?

Крепко, растроганно пожимая сухую, горячую руку Корнилова, Лукомский привстал.

— Вполне разделяю ваш взгляд! Пойду до конца. Надо обдумать, взвесить — и ударить. Поручите мне, Лавр Георгиевич.

— План разработан мною. Детали разработают полковник Лебедев и капитан Роженко. Ведь вы, Александр Сергеевич, завалены работой. Доверьтесь мне, у нас еще

будет время обсудить все и, если явится необходимость, внести соответствующие изменения.

Эти дни Ставка жила лихорадочной жизнью. Ежедневно в губернаторский дом в Могилеве с предложением услуг являлись с фронтов из различных частей, в пропыленных защитных гимнастерках, загорелые и обветренные офицеры, приезжали щеголеватые представители Союза офицеров и Совета союза казачьих войск, шли гонцы с Дона от Каледина — наказного атамана Области Войска Донского. Наезжали штатские разные «визитеры». Было немало стервятников, дальним нюхом чуявших запах большой крови и предугадывавших, чья твердая рука вскроет стране вены, и слетавшихся в Могилев с надеждой, что и им удастся урвать кус, если Корнилов захватит власть. Имена Завойко — бывшего корниловского ординарца, богатого помещика, крупного спекулянта, и Аладьина, заядлого монархиста, назывались в Ставке, как имена людей, имеющих самое близкое отношение к верховному. В военной среде шли слухи, что Корнилов попал в авантюрное окружение. И в то же время в широких кругах офицерства, кадетов и монархистов господствовало убеждение, что Корнилов — надежное знамя восстановления старой, упавшей в феврале, России. И под это знамя стекались отовсюду страстно желавшие реставрации.

13 августа Корнилов выехал в Москву на государственное совещание.

Теплый, чуть облачный день. Небо словно отлито из голубоватого алюминия. В зените поярчатая, в сиреневой опушке, туча. Из тучи на поля, на стрекочущий по рельсам поезд, на сказочно оперенный увяданием лес, на далекие акварельно-чистого рисунка контуры берез, на всю одетую вдовьим цветом предосеннюю землю — косой, преломленный в отсветах радуги благодатный дождь.

Поезд мечет назад пространство. За поездом рудым шлейфом дым. У открытого окна вагона маленький в защитном мундире с георгиями генерал. Сузив косые углисто-черные глаза, он высовывает в окно голову, и парные капли дождя щедро мочат его покрытое давнишним загаром лицо и черные вислые усы; ветер шевелит, зачесывает назад по-ребячески спадающую на лоб прядку волос.

XIV

За день до приезда Корнилова в Москву есаул Листницкий прибыл туда с поручением особой важности от Совета союза казачьих войск. Передав в штаб находившегося в Москве казачьего полка пакет, он узнал, что назавтра ожидается Корнилов.

В полдень Листницкий был на Александровском вокзале. В зале ожидания и буфетах первого и второго классов — крутое месиво народа; военные преобладают. На перроне строится почетный караул от Александровского военного училища, у виадука — московский женский батальон смерти. Около трех часов пополудни — поезд. Разом стих разговор. Зычный, взвихрившийся всплеск оркестра и шаркающий топот множества ног. Взбугрившаяся толпа подхватила, понесла, кинула Листницкого на перрон. Выбравшись из свалки, он увидел: у вагона главнокомандующего строятся в две шеренги текинцы. Блещущая лаком стена вагона рябит, отражая их ярко-красные халаты. Корнилов, вышедший в сопровождении нескольких военных, начал обход почетного караула, депутаций от Союза георгиевских кавалеров, Союза офицеров армии и флота, Совета союза казачьих войск.

Из числа лиц, представлявшихся верховному, Листницкий узнал донского атамана Каледина и генерала Зайончковского, остальных называли по именам окружавшие его офицеры:

— Кисляков — товарищ министра путей сообщения.

— Городской голова Руднев.

— Князь Трубецкой — начальник дипломатической канцелярии в Ставке.

— Член Государственного совета Мусин-Пушкин.

— Французский военный атташе полковник Кайо.

— Князь Голицын.

— Князь Мансырев...— звучали подобострастно почтительные голоса.

Листницкий видел, как приближавшегося к нему Корнилова осыпали цветами изысканно одетые дамы, густо стоявшие вдоль платформы. Один розовый цветок повис, зацепившись венчиком за аксельбанты на мундире Корнилова. Корнилов стряхнул его чуть смущенным, нерешительным движением. Бородатый старик уралец, заикаясь, начал приветственное слово от имени двенадцати казачьих войск. Дослушать Листницкому не удалось,— его

оттеснили к стене, едва не порвали ремень шашки. После речи члена Государственной думы Родичева Корнилов вновь тронулся, густо облепленный толпой. Офицеры, взявшись за руки, образовали предохранительную цепь, но их разметали. К Корнилову тянулись десятки рук. Какая-то полная растрепанная дама семенила сбоку от него, стараясь прижаться губами к рукаву светло-зеленого мундира. У выхода под оглушительный грохот приветственных криков Корнилова подняли на руки, понесли. Сильным движением плеча Листницкий оттер в сторону какого-то сановитого господина,— успел схватиться за мелькнувший перед его глазами лакированный сапог Корнилова. Ловко перехватив ногу, он положил ее на плечо и, не чувствуя ее невесомой тяжести, задыхаясь от волнения, стараясь только сохранить равновесие и ритм шага, двинулся, медленно влекомый толпой, оглушенный ревом и пролитой медью оркестра. У выхода наскоро оправил складки рубашки, в давке выбившейся из-под пояса. По ступенькам — на площадь. Впереди толпа, зеленые шпалеры войск, казачья сотня в конном строю. Приложив ладонь к козырьку фуражки, моргая увлажненными глазами, он пытался, но не мог унять неудержную дрожь губ. Смутно помнил, как клацали фотографические аппараты, беснovалась толпа, шли церемониальным маршем юнкера и стоял, пропуская их перед собой, стройный, подтянутый, маленький, с лицом монгола, генерал.

* * *

Спустя день Листницкий выехал в Петроград. Устроившись на верхней полке, он расстелил шинель, курил, думая о Корнилове:

«С риском для жизни бежал из плена, словно знал, что будет так необходим Родине. Какое лицо! Как высеченное из самородного камня — ничего лишнего, обыденного... Такой же и характер. Для него, наверное, все ясно, рассчитано. Наступит удобный момент — и поведет нас. Странно, я даже не знаю, кто он — монархист? Конституционная монархия... Вот если б каждый был так уверен в себе, как он».

Примерно в этот же час в Москве, в кулуарах Большого театра, во время перерыва в заседании членов Московского государственного совещания, два генерала — один щуп-

лый, с лицом монгола, другой плотный, с крепким посадом квадратной стриженной ежиком головы, с залысинами на гладко причесанных чуть седеющих висках и плотно прижатыми хрящами ушей,— уединившись, расхаживали по короткому отрезку паркета, вполголоса разговаривали:

— Этот пункт декларации предусматривает упразднение комитетов в воинских частях?

— Да.

— Единый фронт, сплоченность безусловно необходимы. Без проведения в жизнь указанных мною мероприятий нет спасения. Армия органически неспособна драться. Такая армия не только победы не даст, но и не сумеет выдержать сколько-нибудь значительного натиска. Части растлены большевистской пропагандой. А здесь, в тылу? Вы видите, как рабочие реагируют на всякую попытку найти меры к их обузданию? — забастовки и демонстрации. Члены совещания должны идти пешком... Позор! Милитаризация тыла, установление суровой карающей руки, беспощадное истребление всех большевиков, этих носителей маразма,— вот ближайшие наши задачи. Могу я заручиться и в дальнейшем вашей поддержкой, Алексей Максимович?

— Я безоговорочно с вами.

— Я был уверен в этом. Благодарю. Вы видите, когда нужно действовать решительно и твердо, правительство ограничивается полумерами и звонкими фразами — что-де «железом и кровью подавим попытки тех, кто, как в июльские дни, посягнет на народную власть». Нет, мы привыкли сначала делать, а потом говорить. Они поступают наоборот. Что же... будет время — пожнут плоды своей политики полумер. Но я не желаю участвовать в этой бесчестной игре! Я был и остаюсь сторонником открытого боя, блудословие не в моем характере.

Маленький генерал, остановившись против собеседника, покрутил металлическую пуговицу на его темно-защитном френче, сказал, слегка заикаясь от волнения:

— Сняли намордник, а теперь сами трусят своей революционной демократии, просят двинуть с фронта к столице надежные воинские части и в то же время, в угоду этой демократии, боятся предпринимать что-либо реальное. Шаг вперед, шаг назад... Только при полной консолидации наших сил, сильнейшим моральным прессом мы сможем выжать из правительства уступки, а нет — тогда

посмотрим! Я не задумаюсь обнажить фронт,— пусть их вразумляют немцы.

— Мы говорили с Дутовым. Казачество окажет вам, Лавр Георгиевич, всемерную поддержку. Нам остается согласовать вопрос о совместных действиях в дальнейшем.

— После заседания я жду вас и остальных у себя. Настроение на Дону у вас?

Плотный генерал, прижимая к груди четырехугольный выбритый до глянца подбородок, угрюмым, исподлобным взглядом глядел перед собой. Под его широкими усами дрогнули углы губ, когда он отвечал:

— Нет у меня прежней веры в казака... И сейчас вообще трудно судить о настроениях. Необходим компромисс: казачеству надо кое-чем поступиться для того, чтобы удержать за собой иногородних. Некоторые мероприятия в этом направлении мы предпринимаем, но за успех поручиться нельзя. Боюсь, что на стыке интересов, казачества и иногородних и может произойти разрыв... Земля... вокруг этой оси вертятся сейчас мысли и тех и других.

— Вам надо иметь под рукой надежные казачьи части, чтобы обеспечить себя от всяких случайностей изнутри. По возвращении в Ставку я поговорю с Лукомским, и мы, наверное, изыщем возможность отправить с фронта на Дон несколько полков.

— Буду вам очень признателен.

— Итак, сегодня мы согласуем вопрос о наших совместных действиях в будущем. Я горячо верю в благополучное завершение задуманного, но счастье вероломно, генерал... Если оно вопреки всему станет ко мне спиной,— могу я рассчитывать, что на Дону у вас я найду приют?

— Не только приют, но и защиту. Казаки ведь исстари славятся гостеприимством и хлебосольством.— В первый раз за все время разговора улыбнулся Каледин, смягчив хмурую усталь исподлобного взгляда.

Час спустя Каледин, донской атаман, выступал перед затихшей аудиторией с «Декларацией двенадцати казачьих войск».

По Дону, по Кубани, по Тереку, по Уралу, по Уссури, по казачьим землям от грани до грани, от станичного юрта до другого, черной паутиной раскинулись с того дня нити большого заговора.

XV

В версте от развалин местечка, стертого орудийным огнем июньских боев, возле леса причудливо вилюжились зигзаги окопов. Участок у самой опушки занимала казачья особая сотня.

Позади, за зеленой непролазью ольшаника и березового молодняка, ржавело торфяное болото, когда-то, еще до войны, тронутое разработками, весело, красной ягодой цвел шиповник. Правее, за выпятившимся лесным мысом, тянулось разбитое снарядами шоссе, напоминая о не исхоженных еще путях, а у опушки рос чахлый, ощелканный пулями бурьянок, сугорбились обугленные пни, желтел бурой глиной бруствер, далеко в стороны по голому полю отходили морщины окопов. Позади даже болото, изрытвленное рябью разработок, даже разрушенное шоссе пахли жизнью, кинутым трудом, у опушки же безрадостную и горькую картину являла человеческому глазу земля.

В этот день Иван Алексеевич, в прошлом машинист моховской вальцовки, уходил в близлежащее местечко, где стоял обоз первого разряда, и вернулся только перед вечером. Пробираясь к себе в землянку, он столкнулся с Захаром Королевым. Цепляясь шашкой за уступы мешков, набитых землей, бестолково махая руками, Захар почти бежал. Иван Алексеевич посторонился, уступая дорогу, но Захар схватил его за пуговицу гимнастерки, зашептал, ворочая нездорово-желтыми белками:

— Слыхал? Пехота справа уходит! Может фронт бросают?

Застывшая недвижным потоком, словно выплавленная из черного чугуна, борода Захара была в чудовищном беспорядке, глаза глядели с голодной, тоскливой жадностью.

— Как, то есть, бросают?

— Уходют, а как — я не знаю.

— Может, их сменяют? Пойдем к взводному, узнаем.

Захар повернулся и пошел к землянке взводного, скользя ногами по осклизлой, влажной земле.

Через час сотня, смененная пехотой, шла к местечку. Наутро разобрали у коноводов лошадей, форсированным маршем двинулись в тыл.

Мелкий накрапывал дождь. Понурые горбились березы. Дорога вклинилась в лес, и лошади, почуяв сырость и вянущий, острый и тоскливый запах прошлогодней листвы, зафыркали, пошли веселей. Розовыми бусами

мокрела на кустах волчья ягода, омытые дождем, пенистые шапки девичьей кашки неотразимо сияли белизной. Ядрено-тяжеловесные капли отряхал ветер с деревьев на всадников. Шинели и фуражки чернели пятнышками, будто иссеченные дробью. Тающий дымок махорки плыл над взводными рядами.

— Захватили-и — и прут черт-те куда.

— Аль не обрыдло в окопах?

— А в самом деле, куда нас гонют?

— Переформировка какая-нибудь.

— Что-то непохоже.

— Эх, станица, покурим — все горе забудем!

— Я свое горе в саквах вожу...

— Господин есаул, дозвольте песню заиграть?

— Дозволил, что ль?.. Заводи, Архип!

Кто-то в передних рядах, откашлявшись, завел:

Ехали казаченки да со службы домой,
На плечах погоники, на грудях кресты.

Отсыревшие голоса вяло потянули песню и замолкли. Захар Королев, ехавший в одном ряду с Иваном Алексеевичем, приподнялся на стременах, закричал насмешливо:

— Эй, вы — старцы слепые! Рази же так по-нашему играют? Вам под церквой с кружкой побираться, «Лазаря» играть. Песельники...

— А ну, заведи!

— Шея у него короткая, голосу негде помещаться.

— Нахвалился, а теперя хвост на сторону?

Королев зажал в кулаке черный слиток завшивевшей бороды, на минуту закрыл глаза и, отчаянно махнув поводьями, кинул первые слова:

Ой, да возвеселитесь, храбрые донцы-казаки...

Сотня, словно разбуженная его напевным вскриком, рявкнула:

Честь и славою своей! —

и понесла над мокрым лесом, над просекой-дорогой:

Ой, да покажите всем друзьям пример,
Как мы из ружей бьем своих врагов!
Бьем, не портим боевой порядок.
Только слушаем один да приказ.
И что нам прикажут отцы-командиры,
Мы туда идем — рубим, колем, бьем!

Весь переход шли с песнями, радуясь, что вырвались из «волчьего кладбища». К вечеру погрузились в вагоны. Эшелон потянулся к Пскову. И только через три перегона узнали, что сотня, совместно с другими частями 3-го конного корпуса, направляется на Петроград для подавления начинающихся беспорядков. После этого разговоры притихли. Долго баюкалась в красных вагонах дремотная тишина.

— Из огня да в полымю! — высказал долговязый Борщев общую для большинства мысль.

Иван Алексеевич — с февраля бессменный председатель сотенного комитета — на первой же остановке пошел к командиру сотни.

— Казаки волнуются, господин есаул.

Есаул долго глядел на глубокую ямку на подбородке Ивана Алексеевича, сказал, улыбаясь:

— Я сам, милый мой, волнуюсь.

— Куда нас отправляют?

— В Петроград.

— Усмирять?

— А ты думал — способствовать беспорядкам?

— Мы ни того, ни другого не хотим.

— А нас, в аккурат, и не спрашивают.

— Казаки...

— Что «казаки»? — уже озлобленно перебил его командир сотни.— Я сам знаю, что казаки думают. Мне-то приятна эта миссия? Возьми вот, прочитай в сотне. На следующей станции я побеседую с казаками.

Командир подал свернутую телеграмму и, морщась, с видимым отвращением стал жевать покрытые крупками жира куски мясных консервов.

Иван Алексеевич вернулся в свой вагон. В руке, словно горящую головню, нес телеграмму.

— Созовите казаков из других вагонов.

Поезд уже тронулся, а в вагон все прыгали казаки. Набралось человек тридцать.

— Телеграмму командир получил. Зараз читал.

— Ну-кась, что там написано? Давай!

— Читай, не бреши!

— Замиренье?

— Цыцте!

В застойной тишине Иван Алексеевич вслух прочитал воззвание верховного главнокомандующего Корнилова.

Потом листок с перевранными телеграфом словами пошел по потным рукам.

Я, верховный главнокомандующий Корнилов, перед лицом всего народа объявляю, что долг солдата, самоотверженность гражданина свободной России и беззаветная любовь к Родине заставили меня в эти тяжелые минуты бытия отечества не подчиниться приказанию Временного правительства и оставить за собой верховное командование армией и флотом. Поддерживаемый в этом решении всеми главнокомандующими фронтами, я заявляю всему русскому народу, что предпочитаю смерть устранению меня от должности верховного главнокомандующего. Истинный сын народа русского всегда погибает на своем посту и несет в жертву Родине самое большое, что имеет,— свою жизнь.

В эти поистине ужасные минуты существования отечества, когда подступы к обеим столицам почти открыты для победоносного движения торжествующего врага, Временное правительство, забыв великий вопрос самого независимого существования страны, кидает в народ призрачный страх контрреволюции, которую оно само своим неуменьем к управлению, своей слабостью во власти, своей нерешительностью в действиях вызывает к скорейшему воплощению.

Не мне, кровному сыну своего народа, всю жизнь свою на глазах всех отдавшему на беззаветное служение ему,— не стоять на страже великих свобод великого будущего своего народа. Но ныне будущее это — в слабых, безвольных руках. Надменный враг посредством подкупа и предательства распоряжается у нас, как у себя дома, несет гибель не только свободе, но и существованию народа русского. Очнитесь, люди русские, и вглядитесь в бездонную пропасть, куда стремительно идет наша Родина!

Избегая всяких потрясений, предупреждая какое-либо пролитие русской крови, междоусобной брани и забывая все обиды и оскорбления, я перед лицом всего народа обращаюсь к Временному правительству и говорю: приезжайте ко мне в Ставку, где свобода ваша и безопасность обеспечена моим честным словом, и совместно со мной выработайте и образуйте такой состав народной обороны, который, обеспечивая свободу, вел бы народ русский к великому будущему, достойному могучего свободного народа.

Генерал *Корнилов*

На следующей станции эшелон задержали. Ожидая отправки, казаки собрались возле вагонов, обсуждая телеграмму Корнилова и только что прочитанную командиром сотни телеграмму Керенского, объявлявшего Корнилова изменником и контрреволюционером. Казаки растерянно переговаривались. Командир сотни и взводные офицеры были в замешательстве.

— Все перепуталось в голове,— жаловался Мартин Шамиль.— Чума их разберет, кто из них виноватый!

— Сами мордуются и войска мордуют.

— Начальство с жиру бесится.

— Каждый старшим хочет быть.

— Паны дерутся, у казаков чубы трясутся.

— Идет все коловертью... Беда!

Группа казаков подошла к Ивану Алексеевичу, потребовала:

— Иди к командиру, узнавай, что делать.

Толпой пошли к сотенному. Офицеры, собравшись в своем вагоне, о чем-то совещались. Иван Алексеевич вошел в вагон.

— Господин командир, казаки допытываются, что теперь делать.

— Я сейчас выйду.

Сотня ждала, собравшись у крайнего вагона. Командир смешался с толпой казаков; пробравшись на середину, поднял руку.

— Мы подчиняемся не Керенскому, а верховному главнокомандующему и своему непосредственному начальству. Правильно? Поэтому мы должны беспрекословно исполнять приказ своего начальства и ехать к Петрограду. В крайнем случае мы можем, доехав до станции Дно, выяснить положение у командира Первой Донской дивизии,— там видно будет. Я прошу казаков не волноваться. Такое уж время мы переживаем.

Сотенный еще долго говорил о воинском долге, родине, революции, успокаивал казаков, уклончиво отвечал на вопросы. Своей цели он достиг; к составу тем временем прицепили паровоз (казаки не знали, что два офицера их сотни добились ускоренной отправки, угрожая оружием начальнику станции), и казаки разошлись по вагонам.

Сутки тащился эшелон, приближаясь к станции Дно. Ночью его вновь задержали, пропуская эшелоны уссурийцев и Дагестанского полка. Казачий состав перевели на запасный путь. Мимо, в опаловой ночной темноте, поблескивая огнями, пробегали вагоны Дагестанского полка. Слышался удаляющийся гортанный говор, стон зурны, чуждые мелодии песен.

Уже в полночь отправили сотню. Малосильный паровоз долго стоял у водокачки, от топки падал на землю искрящийся свет огней. Машинист, попыхивая цигаркой, поглядывал в окошко, словно чего-то ожидал. Один из казаков ближнего к паровозу вагона высунулся в дверь, крикнул:

— Эй, Гаврила, крути, а то зараз стрелять будем!

Машинист выплюнул цигарку, помолчал, видимо, следя за дугообразным ее полетом; сказал, покашливая:

— Всех не перестреляете,— и отошел от окна.

Спустя несколько минут паровоз рванул вагоны, лязгнули буфера, зацокотали копыта лошадей, потерявших от толчка равновесие. Состав поплыл мимо водокачки, мимо редких квадратиков освещенных окон и темных, за полотном, березовых куп. Казаки, задав лошадям корм, спали, редко кто бодрствовал, покуривая у полуоткрытых дверей, глядя на величавое небо, думая о своем.

Иван Алексеевич лежал рядом с Королевым, глядел в дверную щель на текучую звездную россыпь. За минувший день, обдумав все, твердо решил он всячески противодействовать дальнейшему продвижению сотни на Петроград; лежа, размышлял, каким образом склонить казаков к своему решению, как на них подействовать.

Еще до воззвания Корнилова он ясно сознавал, что казакам с Корниловым не одну стежку топтать, чутье подсказывало, что и Керенского защищать не с руки; поворочал мозгами, решил: не допустить сотню до Петрограда, а если и придется с кем цокнуться, так с Корниловым, но не за Керенского, не за его власть, а за ту, которая станет после него. Что после Керенского будет желанная, подлинно своя власть,— в этом он был больше чем уверен. Еще летом пришлось ему побывать в Петрограде, в военной секции исполкома, куда посылала его сотня за советом по поводу возникшего с командиром сотни конфликта; поглядев работу исполкома, переговорив с несколькими товарищами большевиками, подумал: «Обрастет этот костяк нашим рабочим мясом,— вот это будет власть! Умри, Иван, а держись за нее, держись, как дите за материну сиську!»

В эту ночь, лежа на попоне, чаще, чем обычно, вспоминал с большой, не изведанной доселе горячей любовью человека, под руководством которого прощупал жесткую свою дорогу. Думая о том, что должен был назавтра говорить казакам, вспомнил и слова Штокмана о казаках, их он повторял часто, будто гвоздь по самую шляпку вбивал: «Казачество консервативно по своему существу. Когда ты будешь убеждать казака в правоте большевистских идей,— не забывай этого обстоятельства, действуй осторожно, вдумчиво, умей приспособляться к обстановке. Вначале к тебе будут относиться с таким же предубеждением, с каким и ты и Мишка Кошевой относились вначале ко мне, но пусть это тебя не смущает. Долби упорно,— конечный успех за нами».

Иван Алексеевич рассчитывал, что, убеждая казаков не идти с Корниловым, он встретит со стороны некоторых возражения, но утром, когда в своем вагоне осторожно заговорил о том, что надо потребовать возвращения на фронт, а не идти на Петроград драться со своими же, казаки охотно согласились и с большой готовностью решили отказаться от дальнейшего следования на Петроград. Захар Королев и казак Чернышевской станицы Турилин были ближайшими сообщниками Ивана Алексеевича. Весь день они, перебираясь из вагона в вагон, говорили с казаками, а к вечеру, на каком-то полустанке, когда поезд замедлил ход, в вагон, где был Иван Алексеевич, вскочил урядник третьего взвода Пшеничников.

— На первой же станции сотня сгружается! — взволнованно крикнул он, обращаясь к Ивану Алексеевичу.— Какой ты председатель комитета, ежели не знаешь, что казаки хотят? Будет из нас дурачка валять! Не поедем дальше!.. Офицерья на нас удавку вешают, а ты ни в дудочку, ни в сопелочку. Для этого мы тебя выбирали? Ну, чего скалишься-то?

— Давно бы так,— улыбаясь, проговорил Иван Алексеевич.

На остановке он первый выскочил из вагона. В сопровождении Турилина прошел к начальнику станции.

— Поезд наш дальше не отправляй. Сгружаться тут зачнем.

— Как это так? — растерянно спросил начальник станции.— У меня распоряжение... путевка...

— Замкнись! — сурово перебил его Турилин.

Они разыскали станционный комитет, председателю, плотному рыжеватому телеграфисту, объяснили, в чем дело, и через несколько минут машинист охотно повел состав в тупик.

Спешно подмостив сходни, казаки начали выводить из вагонов лошадей. Иван Алексеевич стоял у паровоза, расставив длинные ноги, вытирая пот с улыбающегося смуглого лица. К нему подбежал бледный командир сотни.

— Что ты делаешь?.. Ты знаешь, что...

— Знаю! — оборвал его Иван Алексеевич.— А ты, господин есаул, не шуми.— И, бледнея, двигая ноздрями, четко сказал: — Отшумелся, парень! Теперь мы на тебя с прибором кладем. Так-то!

— Верховный Корнилов...— побагровев, заикнулся было есаул, но Иван Алексеевич, глядя на свои растоп-

танные сапоги, глубоко ушедшие в рыхлый песок, облегченно махнув рукой, посоветовал:

— Повесь его на шею замест креста, а нам он без надобности.

Есаул повернулся на каблуках, побежал к своему вагону.

Час спустя сотня без единого офицера, но в полном боевом порядке выступила со станции, направляясь на юго-запад. В головном взводе рядом с пулеметчиками ехали принявший командование сотней Иван Алексеевич и помощник его, низенький Турилин.

С трудом ориентируясь по отобранной у бывшего командира карте, сотня дошла до деревни Горелое, стала на ночевку. Общим советом было решено идти на фронт, в случае попыток задержания — сражаться.

Стреножив лошадей и выставив сторожевое охранение, казаки улеглись позоревать. Огней не разводили. Чувствовалось, что у большинства настроение подавленное, улеглись без обычных разговоров и шуток, скрытно тая друг от друга мысли.

«Что, ежели одумаются и пойдут с повинной?» — не без тревоги подумал Иван Алексеевич, умащиваясь под шинелью.

Словно подслушав его мысль, подошел Турилин.

— Спишь, Иван?

— Пока нет.

Турилин присел у него в ногах, посвечивая огоньком цигарки, сказал шепотом:

— Казаки-то мутятся... Нашкодили, а зараз побаиваются. Заварили мы кашку... не густо, ты как думаешь?

— Там видно будет,— спокойно ответил Иван Алексеевич.— Ты-то не боишься?

Турилин, почесывая под фуражкой затылок, криво усмехнулся:

— По правде сказать, робею... Начинали — не робел, а зараз оторопь берет.

— Жидок оказался на расплату.

— Да ить что, Иван, его сила.

Они долго молчали. В деревне гасли огни. Откуда-то из безбрежных заливов болотистой, покрытой ивняком луговины несся утиный кряк.

— Матери́ка крячет,— задумчиво проговорил Турилин и снова замолк.

Мягкая, ночная, ласковая тишина паслась на лугу. Роса обминала траву. Смешанные запахи мочажинника, изопревшей куги, болотистой почвы, намокшей в росе травы нес к казачьему стану ветерок. Изредка — звяк конской треноги, брызжущее фырканье да тяжелый туп и кряхтенье валяющейся лошади. Потом опять сонная тишина, далекий-далекий, чуть слышный хрипатый зов дикого селезня и ответный — поближе — кряк утки. Стремительный строчащий пересвист невидимых в темени крыльев. Ночь. Безмолвие. Туманная луговая сырость. На западе у подножия неба — всхожая густо-лиловая опара туч. А посредине, над древней псковской землей, неусыпным напоминанием, широким углящимся шляхом вычеканен Млечный Путь.

На рассвете сотня выступила в поход. Прошли деревню Горелое, вслед им долго смотрели бабы и ребятишки, выгонявшие коров. Поднялись на кирпично-красный, окрашенный восходом бугор. Турилин, оглянувшись, тронул ногой стремя Ивана Алексеевича.

— Оглянись, верховые сзади бегут...

Три всадника, окутанные розовым батистом пыли, миновав деревню, стлались в намете.

— Со-о-отня, стой! — скомандовал Иван Алексеевич.

Казаки с привычной быстротой построились серым квадратом. Всадники, не доезжая с полверсты, перешли на рысь. Один из них, казачий офицер, вынул носовой платок, помахал им над головой. Казаки не сводили глаз с подъезжавших. Офицер, одетый в защитный мундир, ехал передним, двое остальных, в черкесках, держались немного поодаль.

— По какому делу? — выезжая навстречу, спросил Иван Алексеевич.

— На переговоры,— прикладывая руку к козырьку, ответил офицер.— Кто из вас принял сотню?

— Я.

— Я уполномочен от Первой Донской казачьей дивизии, а это — представители Туземной дивизии,— офицер указал глазами на горцев и, туго натягивая поводья, погладил рукой мокрую глянцевую шею взмыленного коня.— Если желаете вести переговоры, прикажите сотне спешиться. Я имею передать устное распоряжение начальника дивизии генерал-майора Грекова.

Казаки спешились. Сошли с коней и приехавшие представители. Нырнув в толпу казаков, они выплыли на середине. Сотня расступилась, очистив небольшой круг.

Первым заговорил казачий офицер:

— Станичники! Мы приехали для того, чтобы уговорить вас одуматься и предотвратить тяжелые последствия вашего поступка. Вчера штаб дивизии узнал о том, что вы, поддавшись чьим-то преступным уговорам, самовольно покинули вагоны, и сегодня направил нас передать вам распоряжение о немедленном возвращении на станцию Дно. Войска Туземной дивизии и остальные кавалерийские части вчера заняли Петроград — сегодня получена телеграмма. Наш авангард вступил в столицу, занял все правительственные учреждения, банки, телеграф, телефонные станции и все важные пункты. Временное правительство бежало и считается низложенным. Одумайтесь, станичники! Ведь вы идете на гибель! В том случае, если вы не подчинитесь распоряжению командира дивизии, против вас будут направлены вооруженные силы. Ваш поступок расценивается как измена, как невыполнение боевого задания. Вы можете только беспрекословным подчинением предотвратить пролитие братской крови.

Когда подъехали представители, Иван Алексеевич, учитывая настроение казаков, понял, что избежать переговоров нельзя, так как отказ от переговоров неминуемо должен был вызвать обратные результаты. Подумав, он отдал распоряжение сотне спешиться, сам, неприметно мигнув Турилину, протиснулся поближе к представителям. Во время речи офицера видел, как, потупив головы, нахмурясь, слушают казаки, некоторые перешептывались. Захар Королев криво улыбался, черная борода его плавилась по рубахе застывшим чугунным потоком; Борщев играл плеткой, косился в сторону; Пшеничников, округлив раззявленный рот, смотрел в глаза говорившему офицеру; Мартин Шамиль грязной рукой елозил по щекам, часто мигал; за ним желтело дурковатое лицо Багрова; пулеметчик Красников выжидательно щурился; Турилин сапно дышал; веснушчатый Обнизов, сдвинув на затылок фуражку, мотал чубатой головой, словно бык, почуявший на шее ярмо; весь второй взвод стоял, не поднимая голов, как на молитве; слитая толпа молчала, люди жарко и тяжко дышали, по лицам зыбью текла растерянность...

Иван Алексеевич понял, что в настроении казаков назрел переломный момент: еще несколько минут —

и краснобаю-офицеру удастся повернуть сотню на свой лад. Во что бы то ни стало требовалось разрушить впечатление, произведенное словами офицера, поколебать невысказанное, но уже сложившееся в умах казаков решение. Он поднял руку, обвел толпу расширенными, странно побелевшими глазами.

— Братцы! Погодите трошки! — и, обращаясь к офицеру: — Телеграмма при вас?

— Какая телеграмма? — изумился офицер.

— Об том, что Петроград взяли.

— Телеграмма?.. Нет. При чем тут телеграмма?

— Ага! Нет!..— единой грудью облегчающе вздохнула сотня.

И многие подняли головы, с надеждой устремили глаза на Ивана Алексеевича, а он, повысив сиповатый голос, уже насмешливо, уверенно и зло кричал, властно греб к себе внимание.

— Нету, говоришь? А мы тебе поверим? На мякине хочешь подсидеть?

— Об-ман! — гулом вздохнула сотня.

— Телеграмма не мне адресована! Станичники! — офицер убеждающе прижимал к груди руки.

Но его уже не слушали. Иван Алексеевич, почуяв, что симпатии и доверие сотни вновь перекинулись к нему, резал, как алмазом по стеклу:

— А хучь бы и взяли,— нам с вами не по дороге! Мы не желаем воевать со своими. Против народа мы не пойдем! Стравить хотите? Нет! Перевелись на белом свете дураки! Генеральскую власть на ноги ставить не хотим! Так-то!

Казаки дружно загомонили, толпа качнулась, расплескалась криками.

— Вот это да!

— В разрез вогнал!

— Правильна-а-а!..

— Гнать их, этих благородий, взашей!

— Сваты приехали, тоже...

— В Петрограде вон три полка казачьих, а что-то они сомневаются против народа выходить.

— Слышь, Иван! Налаживай их по чем попало мешалкой! Нехай уезжают!

Иван Алексеевич глянул на представителей; казачий офицер, поджав губы, терпеливо выжидал; позади него плечом к плечу стояли горцы,— статный молодой офицер-

ингуш, скрестив на нарядной черкеске руки, поблескивал из-под черной кубанки косыми миндалинами глаз, другой — пожилой рыжий осетин — стоял, небрежно отставив ногу; положив ладонь на головку гнутой шашки, он насмешливыми, щупающими глазами оглядывал казаков. Иван Алексеевич только что хотел прервать переговоры, но его опередил казачий офицер; пошептавшись с офицером-ингушом, он зычно крикнул:

— Донцы! Разрешите сказать слово представителю Дикой дивизии?

Не дожидаясь согласия, ингуш, мягко ступая сапогами без каблуков, вышел на середину круга, нервно поправил узенький наборный ремешок.

— Братья казаки! Зачим такой балшой шум? Надо говорить без ожистачения. Вы нэ хотите генерала Корнилова? Вы хотите войны? Пожалуйста! Мы будем воивать. Ни страшна! Зовсим ни страшна! Сегодня же мы вас разыдавим. Два полка горцев идут за нашим спином. Ва! Какой может быть шум, зачим шум? — Вначале он говорил с видимым спокойствием, но под конец уже с повышенной страстностью кидал горячие фразы; в гортанную ломаную речь его вплетались слова родного языка.— Вас смущает вот этот казак, он — балшевик, а вы идете за ним! Ва! Что я, нэ вижу! Арэстуйте его! Абэзаружти его!

Смелым жестом указывал он на Ивана Алексеевича и метался по тесному кругу, побледневший, страстно жестикулирующий, с лицом, облитым коричневым румянцем. Товарищ его, пожилой рыжий осетин, хранил ледяное спокойствие; казачий офицер теребил изношенный темляк шашки. Казаки вновь приумолкли, вновь замешательство взволновало их ряды. Иван Алексеевич глядел неотрывно на ингуша-офицера, на зверино-белый оскал его зубов, на косую серую полоску пота, перерезавшую левый висок, с тоскою думал, что напрасно упустил момент, когда можно было словом одним кончить переговоры и увести казаков. Положение выручил Турилин. Он прыгнул на средину круга, отчаянно взмахнул руками, обрывая на вороте рубахи пуговицы, захрипел, задергался, пенясь бешеной слюной:

— Гады ползучие!.. Черти!.. Сволочи!.. Вас уговаривают как б..., а вы ухи развесили!.. Офицерья вам свою нужду навязывают!.. Что вы делаете? Что-о-о вы делаете?! Их рубить надо, а вы их слухаете?.. Головы им с плеч, кровину из них спустить. Покеда вы тут муздыкаетесь,— нас

окружут!.. Из пулеметов посекут... Под пулеметом не замитингуешь!.. Вам нарошно очки втирают, покеда ихнее войско подойдет... А-а-а-а-э-эх, вы, казаки! Юбошники вы!

— На конь!.. — громовым голосом рявкнул Иван Алексеевич.

Крик его лопнул над толпой шрапнельным разрывом. Казаки кинулись к лошадям. Через минуту рассеянная сотня уже строилась во взводные колонны.

— Послушайте! Станичники! — метался казачий офицер.

Иван Алексеевич сдернул с плеча винтовку; твердо уложив пухло-суставчатый палец на спуске, вонзая в губы заигравшегося коня удила, крикнул:

— Кончились переговоры! Теперь ежели доведется гутарить с вами, так уж будем вот этим языком.— И он выразительно потряс винтовкой.

Взвод за взводом выехали на дорогу. Оглядываясь, казаки видели, как представители, сев на коней, о чем-то совещаются. Ингуш, сузив глаза, что-то горячо доказывал, часто поднимал руку; шелковая подкладка отвернутого обшлага на рукаве его черкески снежно белела.

Иван Алексеевич, глянув в последний раз, увидел эту ослепительно сверкающую полоску шелка, и перед глазами его почему-то встала взлохмаченная ветром-суховеем грудь Дона, зеленые гривастые волны и косо накренившееся, чертящее концом верхушку волны белое крыло чайки-рыболова.

XVI

Уже 29 августа из телеграмм, получаемых от Крымова, Корнилову стало ясно, что дело вооруженного переворота погибло.

В два пополудни в Ставку прибыл от Крымова офицер-ординарец. Корнилов долго беседовал с ним, после вызвал Романовского; нервно комкая какую-то бумагу, сказал:

— Рушится все! Нашу карту побьют... Крымов не сможет вовремя стянуть корпус к Петрограду, момент будет упущен. То, что казалось так легко осуществимо, встречает тысячи препятствий... Исход предрешен в отрицательную сторону... Вот... посмотрите-ка, как эшелонировались войска! — Он протянул Романовскому карту с отметками последнего местопребывания эшелонов кор-

пуса и Туземной дивизии; судорога зигзагом прошлась по его энергическому, измятому бессонницей лицу.— Вся эта железнодорожная сволочь вставляет нам палки в колеса. Они не думают о том, что в случае удачи я прикажу вешать десятого из них. Ознакомьтесь с донесением Крымова.

Пока Романовский читал, поглаживая большой ладонью свое одутловатое масленое лицо, Корнилов бегло написал:

Новочеркасск,
войсковому атаману Алексею Максимовичу Каледину

Сущность Вашей телеграммы Временному правительству доведена до моего сведения. Истощив терпение в бесплодной борьбе с изменниками и предателями, славное казачество, видя неминуемую гибель Родины, с оружием в руках отстоит жизнь и свободу страны, которая росла и ширилась его трудами и кровью. Наши отношения остаются в течение некоторого времени стесненными. Прошу вас действовать в согласованности со мной,— так, как вам подскажет любовь к Родине и честь казака. 29.8.17.

Генерал *Корнилов*

— Передайте немедленно эту телеграмму,— дописав, попросил он Романовского.

— Прикажете послать вторичную телеграмму князю Багратиону о том, чтобы дальнейшее следование производилось походным порядком?

— Да, да.

Романовский, помолчав, раздумчиво проговорил:

— По-моему, Лавр Георгиевич, пока у нас нет еще оснований быть пессимистически настроенными. Вы неудачно предвосхищаете ход событий...

Корнилов, суетливо выкидывая руку, пытался поймать порхавшую над ним крохотную лиловую бабочку. Пальцы его сжимались, на лице было слегка напряженное, ожидающее выражение. Бабочка, колеблемая рывками воздуха, спускаясь, планировала крыльями, стремилась к открытому окну. Корнилову все же удалось поймать ее, и он облегчающе задышал, откинулся на спинку кресла.

Романовский ждал ответа на свою реплику, но Корнилов, задумчиво и хмуро улыбаясь, стал рассказывать:

— Сегодня я видел сон Будто я — бригадный командир одной из стрелковых дивизий, веду наступление в Карпатах. Вместе со штабом приезжаем на какую-то

ферму. Встречает нас пожилой, нарядно одетый русин. Он потчует меня молоком и, снимая войлочную белую шляпу, говорит на чистейшем немецком языке: «Кушай, генерал! Это молоко необычайно целебного свойства». Я будто бы пью и не удивляюсь тому, что русин фамильярно хлопает меня по плечу. Потом мы шли в горах, и уж как будто бы не в Карпатах, а где-то в Афганистане, по какой-то козьей тропе... Да, вот именно козьей тропкой: камни и коричневый щебень сыпались из-под ног, а внизу за ущельем виднелся роскошный южный, облитый белым солнцем ландшафт...

Легкий сквозняк шевелил на столе бумаги, тек между распахнутыми створками окна. Затуманенный и далекий взгляд Корнилова бродил где-то за Днепром, по ложбинистым увалам, искромсанным бронзовой прожелтенью луговин.

Романовский проследил за его взглядом и сам, неприметно вздохнув, перевел глаза на слюдяной глянец застекленного безветрием Днепра, на дымчатые поля, покрытые нежнейшей предосенней ретушью.

XVII

Кинутые на Петроград части 3-го конного корпуса и Туземной дивизии эшелонировались на огромном протяжении восьми железных дорог: Ревель, Везенберг, Нарва, Ямбург, Гатчина, Сомрино, Вырица, Чудово, Гдов, Новгород, Дно, Псков, Луга и все остальные промежуточные станции и разъезды были забиты медленно передвигавшимися, застревавшими эшелонами. Полки находились вне всякого морального воздействия старшего командного состава, расчлененные сотни теряли меж собой связь. Путаница усугублялась тем, что корпус с приданной ему Туземной дивизией на походе разворачивался в армию; требовались известное перемещение и сборка разбросанных частей, перегруппировка эшелонов. Все это создавало неразбериху, бестолковые, зачастую несогласованные распоряжения, накаляло и без того напряженно-нервную атмосферу.

Встречая на своем пути противодействие рабочих и служащих железнодорожников, преодолевая препятствия, эшелоны корниловской армии тихо стекали к Петрограду, копились на узлах, вновь рассасывались.

В красных клетушках вагонов, у расседланных полуголодных лошадей, толпились полуголодные донские, уссурийские, оренбургские, нерчинские и амурские казаки, ингуши, черкесы, кабардинцы, осетины, дагестанцы. Эшелоны, ожидая отправки, часами простаивали на станциях, всадники густо высыпали из вагонов, саранчой забивали вокзалы, толпились на путях, пожирали все съедобное, что оставалось от проходивших ранее эшелонов, под сурдинку воровали у жителей, грабили продовольственные склады.

Желтые и красные лампасы казаков, щеголеватые куртки драгун, черкески горцев... Никогда не видела скупая на цвета северная природа такого богатого сочетания красок.

29 августа около Павловска 3-я бригада Туземной дивизии, под командой князя Гагарина, уже вошла в соприкосновение с противником. Наткнувшись на разобранный путь, Ингушский и Черкесский полки, шедшие в голове дивизии, выгрузились и походным порядком пошли по направлению на Царское Село. Разъезды ингушей проникли до станции Сомрино. Полки замедленным темпом развивали наступление, теснили гвардейцев, выжидая, пока подтянутся остальные части дивизии. А те в Дно ожидали отправки. Некоторые не доехали еще и до этой станции.

Командир Туземной дивизии, князь Багратион, находился в имении неподалеку от станции, ожидая сосредоточения остальных частей, не рискуя идти походным порядком до Вырицы.

28-го он получил из штаба Северного фронта копию следующей телеграммы:

Прошу комкору 3-й и начальникам дивизий 1-й Донской, Уссурийской и кавказской Туземной передать приказание главковерха, что если вследствие каких-либо непредвиденных обстоятельств встретится затруднение к следованию эшелонов по железной дороге, то главковерх приказал дивизиям дальнейшее движение производить походным порядком. 27 августа 1917 года. № 6411.

Романовский

Около 9 часов утра Багратион по телеграфу уведомил Корнилова о том, что в 6 часов 40 минут утра получил через начальника штаба Петроградского округа, полковника Багратуни, приказание Керенского вернуть все эшелоны обратно и что эшелоны дивизии задержаны по пути от

разъезда Гачки до станции Оредеж, так как железная дорога, согласно распоряжению Временного правительства, не дает жезлов. Но, несмотря на то, что полученная им резолюция Корнилова гласила:

Князю Багратиону. Продолжать движение по железной дороге. Если по железной дороге не представится возможным, походным порядком до Луги, где поступить в полное подчинение генералу Крымову,—

Багратион все же не решился идти походным порядком и отдал распоряжение о погрузке в вагоны штаба корпуса.

Полк, в котором когда-то служил Евгений Листницкий, совместно с остальными полками, входившими в состав 1-й Донской казачьей дивизии, перебрасывался на Петроград по линии Ревель — Везенберг — Нарва. 28-го в пять пополудни эшелон из двух сотен полка прибыл в Нарву. Командир эшелона узнал, что в ночь выехать нельзя: между Нарвой и Ямбургом испорчен путь, часть железнодорожного батальона послана туда экстренным поездом; к утру, если успеют восстановить путь, эшелон будет отправлен. Волей-неволей эшелонному пришлось согласиться. Чертыхаясь, он влез в свой вагон, поделился новостью с офицерами, засел пить чай.

Ночь пришла пасмурная. С залива дул сырой, пронизывающий ветер. На путях, в вагонах глухо переговаривались казаки, да копытили деревянные полы лошади, обеспокоенные паровозными гудками. В хвосте эшелона молодой казачий голос пел, жаловался в темноте неведомо кому:

Прощай ты, город и местечко,
Прощай, родимый хуторок!
Прощай ты, девка молодая,
Ой, да прощай, лазоревый цветок!
Бывало, от зари до зорьки
Лежал у милки на руке,
А и эх, теперя от зари до зорьки
Стою с винтовкою в руке...

Из-за серой махины пакгауза вышел человек. Постоял, прислушиваясь к песне; оглядел пути, отмеченные желтыми запятыми огней, уверенно пошел к эшелону. Шаги его мягко звучали на шпалах, глохли, когда ступал и шел по утрамбованному суглинку. Он миновал крайний вагон, его окликнул, оборвав песню, стоявший у дверей казак:

— Кто таков?

— А тебе кого? — нехотя отозвался, уходя.

— Чего шляешься по ночам? Мы вас, жуликов, шлепаем! Присматриваешь, что плохо лежит?

Не отвечая, человек прошел до средины состава, спросил, просовывая голову в дверную щель вагона:

— Какая сотня?

— Арестантская,— хахакнули из темноты.

— Делом спрашиваю — какая?

— Вторая.

— А четвертый взвод где?

— Шестой от головы вагон.

У шестого от паровоза вагона курили трое казаков. Один сидел на корточках, двое стояли около. Они молча смотрели на подходившего к ним человека.

— Здорово живете, станичники!

— Слава богу,— ответил один, всматриваясь в лицо подошедшего.

— Никита Дугин живой? Тут он?

— А вот я,— певческим тенорком отозвался сидевший на корточках и встал, каблуком задавил цигарку.— Не опознаю тебя. Чей ты? Откель? — Он вытянул бородатое лицо, стараясь разглядеть незнакомого человека в шинели и помятой солдатской фуражке, и вдруг изумленно крякнул: — Илья! Бунчук? Любезный мой, откель тебя лихоманец вытряхнул?

Подержав в шершавой ладони волосатую руку Бунчука, нагибаясь к нему, негромко сказал:

— Это свои ребята, ты их не боись. Откель ты очутился тут? Говори же, еж тебя наколи!

Бунчук за руку поздоровался с остальными казаками, ответил надломленным, чугунно-глухим голосом:

— Приехал из Питера, насилу разыскал вас. Дело есть. Надо потолковать. Я, брат, рад видеть тебя живым и здоровым.

Он улыбался, на сером квадрате его большого лобастого лица белели зубы, тепло, сдержанно и весело поблескивали глаза.

— Потолковать? — пел тенорок бородатого.— Ты хучь и офицер, а нашим кумпанством, значит, не гребуешь? Ну спасибо, Илюша, спаси Христос, а то мы ласковое слово и ощупкой не пробовали...— В голосе его подрагивали нотки добродушного, беззлобного смеха.

Бунчук так же приветливо отшутился:

— Будет, будет тебе воду мутить! Ты все играешься! Шутки шутишь, а у самого борода ниже пупка.

— Бороду мы могем в любой час побрить, а вот ты скажи, что там в Питере? Бунты зачались?

— Пойдем-ка в вагон,— обещающе предложил Бунчук.

Они влезли в вагон. Дугин кого-то расталкивал ногами, вполголоса говорил:

— Вставайте, ребятежь! Человек нужный прибыл к нам в гости. Ну, поторапливайтесь, служивые, поскореича!

Казаки покряхтывали, вставали. Чьи-то большие, провонявшие табаком и конским потом ладони, бережно касаясь, ощупали в темноте лицо присевшего на седло Бунчука; густой мазутный бас спросил:

— Бунчук?

— Я. А это ты, Чикамасов?

— Я, я. Здорово, дружок!

— Здравствуй.

— Зараз сбегаю, ребят третьего взвода покличу.

— Ну-ну!.. Мотай.

Третий взвод пришел почти целиком, лишь двое остались при лошадях. Казаки подходили к Бунчуку, совали черствые краюхи ладоней, наклоняясь, вглядывались при свете фонаря в его большое, угрюмоватое лицо, называли то Бунчуком, то Ильей Митричем, то Илюшей, но во всех голосах одним тоном звучал товарищеский, теплый привет.

В вагоне стало душно. На дощатых стенах танцевали световые блики, качались и увеличивались в размерах безобразные тени, жирным лампадным светом дымился фонарь.

Бунчука заботливо усадили к свету. Передние сидели на корточках, остальные, стоя, обручем сомкнулись вокруг. Тенористый Дугин откашлялся.

— Письмо твою, Илья Митрич, мы надысь получили, одначе нам хотится послушать от тебя и чтоб ты посоветовал нам, как в дальнейшем быть. Ить двигают нас к Питеру — что ты поделаешь?

— Видишь, какое дело, Митрич,— заговорил стоявший у самых дверей казак с серьгой в морщеной мочке уха, тот самый казак, которого обидел некогда Листницкий, не разрешив кипятить чай на окопном щите,— тут к нам подбиваются разные агитаторы, отговаривают — мол, не ходите на Петроград, мол, воевать нам промеж себя не из чего, и разное подобное гутарют. Мы слухать — слухаем, а веры им дюже не даем. Чужой народ. Может, они нас под монастырь надворничать ведут,— кто их знает? Откажись,

а Корнилов черкесов направит — и вот опять кроворазлитие выйдет. А вот ты — наш, казак, и мы тебе веры больше даем и очень даже благодарственны, что письмишки нам из Питера писал и газеты опять же... тут, признаться, бумагой бедствовали, а газеты получим...

— Чего мелешь, чего брешешь, дурья голова? — возмущенно перебил один.— Ты — неграмотный, так думаешь — и всем темно, как тебе? Как будто мы на курево газеты потребляли! Вперед, Илья Митрич, мы их от головы до хвоста перечитаем, бывалоча.

— Набрехал, дьявол, грызной!

— «На курево» — рубанул тоже!

— Сдуру, как с дубу!

— Братушки! Я не в том понятии сказал,— оправдывался казак с серьгой.— Конешно, спервоначалу мы газеты читали...

— Вы самое читали?

— Мне грамоту не привелось узнать... к тому говорю, что вообче читали, а потом уж на курево...

Бунчук, скупо улыбаясь, сидел на седле, посматривал на казаков; ему неудобно было говорить сидя, он привстал и, поворачиваясь к фонарю спиной, медленно, натужно заговорил:

— В Петрограде вам делать нечего. Никаких бунтов там нет. Знаете вы, для чего вас туда посылают? Чтобы свергнуть Временное правительство... Вот! Кто вас ведет? — царский генерал Корнилов. Для чего ему надо спихнуть Керенского? Чтобы самому сесть на это место. Смотрите, станичники! Деревянное ярмо с вас хочут скинуть, а уж ежели наденут, так наденут стальное! Из двух бед надо выбирать беду, какая поменьше. Не так ли? Вот и рассудите сами: при царе в зубы вас били, вашими руками на войне жар загребали. Загребают и при Керенском, но в зубы не бьют. Но совсем по-другому будет после Керенского, когда власть перейдет к большевикам. Большевики войны не хотят. Будь власть в их руках,— сейчас же был бы мир. Я не за Керенского, черт ему брат,— все они одним миром мазаны! — Бунчук улыбнулся и, вытирая рукавом пот со лба, продолжал: — Но я зову вас не проливать кровь рабочих. Если будет Корнилов, то в рабочей крови по колено станет бродить Россия, при нем труднее будет вырвать власть и передать ее в руки трудящегося народа.

— Погоди трошки, Илья Митрич! — сказал, выходя из задних рядов, небольшой казак, такой же коренастый, как и Бунчук; он откашлялся, потер длинные руки, похожие на обмытые водой корни дуба-перестарка, и, глядя на Бунчука улыбающимися светло-зелеными, клейкими, как молодые листочки, глазами, спросил: — Ты вот про ярмо гутарил... А большевики, как заграбают власть, какую ярмо на нас наденут?

— Ты что же, сам на себя будешь ярмо надевать?

— Как это — сам?

— А так. Ведь при большевиках кто будет у власти? Ты будешь, если выберут, или Дугин, или вот этот дядя. Выборная власть, Совет. Понял?

— А сверху кто?

— Опять же кого выберут. Выберут тебя — и ты будешь сверху.

— Ой ли? А не брешешь ты, Митрич?

Казаки засмеялись, заговорили все сразу, даже часовой, стоявший у двери, отошел на минуту, вмешался в разговор.

— А всчет землишки они как?

— Не заберут у нас?

— Войну-то прикончут? Или, может, зараз тольки сулятся, чтоб за них руки подымали.

— Ты нам все по совести рассказывай!

— Мы тут в потемках блукаем.

— Чужим-то верить опасно. Брехни много...

— Вчерась матросик какой-то об Керенском плакал, а мы его за волосья да из вагона.

— «Вы,— шумит,— кондры!..» Чудак!

— Мы этих слов не понимаем, с чем их едят.

Бунчук, поворачиваясь во все стороны, щупал глазами казаков, ждал, пока угомонятся. У него исчезла бывшая вначале неуверенность в успехе своего предприятия, и он, завладев настроением казаков, уже твердо знал, что во что бы то ни стало задержит эшелон в Нарве. Днем раньше, когда, явившись в Петроградский районный комитет партии, он предложил себя в качестве агитатора для работы среди подходивших к Петрограду частей 1-й Донской дивизии, был уверен в успехе, но добрался до Нарвы — и уверенность в нем поколебалась. Он знал, что какими-то иными словами надо говорить с казаками, со страхом чувствовал, что, пожалуй, и не найдет общего языка, потому что, вернувшись девять месяцев назад в рабочую гущу,

вновь кровно сросся с ней,— выступая, привык, что его чувствуют и понимают с полуслова, а тут, с земляками, требовались иной, полузабытый, черноземный язык, ящериная изворотливость, какая-то большая сила убеждения,— чтобы не только опалить, но и зажечь, чтобы уничтожить напластовавшийся веками страх ослушания, раздавить косность, внушить чувство своей правоты и повести за собой.

Вначале, когда заговорил, собственным слухом ловил в голосе своем спотыкающуюся неуверенность, наигранность, будто со стороны вслушивался в свои бессочные слова,— ужасался неубедительности приводимых доводов, мучительно шарил в голове, разыскивал какие-то большие, тяжелые глыбы слов, чтобы ломать ими, крушить... И вместо этого с неизъяснимой горечью ощущал, как мыльными пузырями срываются с его губ легковесные фразы, а в голове путаются выхолощенные, скользкие мысли. Он стоял, обжигаясь пóтом, тяжко дыша. Говорил, просверливаемый навылет одной мыслью: «Мне доверили такое большое дело — и вот я его поганю собственными руками... Слова не свяжу... Да что же это со мной? Другой на моем месте сказал бы и убедил в тысячу раз лучше... О, черт, какая же я бездарь!»

Казак с зелеными клейкими глазами, спросивший о ярме, выбил из состояния дурного полузабытья; разговор, поднявшийся после этого, дал Бунчуку возможность встряхнуться, оправиться, и потом, дивясь самому себе, чувствуя необычайный прилив сил и богатейший подбор ярких, отточенных, режущих слов, он загорелся и, тая под внешним спокойствием прихлынувшее возбуждение, уже веско и зло разил ехидные вопросы, вел разговор, как всадник, усмиривший досель необъезженного, запененного в скачке коня.

— А ну, скажи: чем плохое Учредительное собрание?

— Ленина-то вашего немцы привезли... нет? А откель же он взялся... с вербы?

— Митрич, ты своей охотой приехал, аль подослали тебя?

— Войсковые земли кому отойдут?

— А чем нам при царе плохо жилось?

— Меньшевики ить тоже за народ?

— У нас Войсковой круг, власть народная — на что нам Советы? — спрашивали казáки.

Разошлись за полночь. Порешили собраться на следующее утро обеими сотнями на митинг. Бунчук остался ночевать в вагоне. Чикамасов предложил ему ложиться с ним. Крестясь на сон грядущий, укладываясь, предупредил:

— Ты, Илья Митрич, может, без опаски ложишься, так ты извиняй... У нас, дружок, вошки водются. Коли наберешься — не обижайся. С тоски такую ядреную вшу развели, что прямо беда! Каждая с холмогорскую телку ростом.— Помолчав, тихонько спросил: — Илья Митрич, а из каких народов Ленин будет? Словом, где он родился и произрастал?

— Ленин-то? Русский.

— Хо?!

— Верно, русский.

— Нет, браток! Ты, видать, плохо об нем знаешь,— с оттенком собственного превосходства пробасил Чикамасов.— Знаешь, каких он кровей? Наших. Сам он из донских казаков, родом из Сальского округа, станицы Великокняжеской,— понял? Служил батарейцем, гутарют. И личность у него подходящая,— как у низовских казаков: скулья здоровые и опять же глаза.

— Откуда ты слышал?

— Гутарили промеж собой казаки, довелось слыхать.

— Нет, Чикамасов! Он — русский, Симбирской губернии рожак.

— Нет, не поверю. А очень даже просто не поверю! Пугач из казаков? А Степан Разин? А Ермак Тимофеевич? То-то и оно! Все, какие беднеюшчий народ на царей подымали,— все из казаков. А ты вот говоришь — Сибирской губернии. Даже обидно, Митрич, слухать такое...

Улыбаясь, Бунчук спросил:

— Так говорят, что казак?

— Он и есть казак, только зараз не объявляется. Я, как на личность глазами кину,— доразу опознаю.— Чикамасов закурил и, дыша в лицо Бунчуку густым махорочным запахом, задумчиво кашлянул.— Диву я даюсь, и мы тут до драки спорили: ежели он, Владимир Ильгич — нашинский казак, батареец, то откель он мог такую огромную науку почерпнуть? Гутарют, будто спервоначалу войны попал он к немцам в плен, обучался там, а потом все науки прошел, да как начал ихних рабочих бунтовать да ученым очки вставлять,— они и перепужались до смерти. «Иди, говорят, лобастый, восвояси, Христос с тобою, а то ты нам та-

ких делов напутляешь, что и в жисть не расхлебать!» — и проводили его в Россию, забоялись, как бы он рабочих не настропалил. Ого! Он, брат, зубец! — не без хвастливости произнес Чикамасов последнюю фразу и радостно засмеялся в темноту.— Ты, Митрич, не видал его? Нет? Жалко. Гутарют, у него башка агромадная.— Покашлял, выпустил через ноздрину рыжий сноп дыма и, докуривая цигарку, продолжал: — Во каких бабы побольше бы родили. Зубец, пра! Он ишо не одному царю перекрут сделает...— И вздохнул: — Нет, Митрич, ты не спорий со мной: Ильгич-то — казак... Чего уж там тень наводить! В Сибирской губернии таких и на корешо не бывает.

Бунчук промолчал, долго лежал, улыбаясь, не закрывая глаз.

Уснул не скоро,— его и в самом деле густо обсыпали вши, расползлись под рубахой огневой, нудной чесоткой; рядом вздыхал и скреб тело Чикамасов, отпугивала дремоту чья-то фыркающая беспокойная лошадь. Он совсем уже было заснул, но неполадившие лошади подрались, затопали, зло взвизжались.

— Балуй, дьявол!.. Тр-р-р! Тр-р-р, проклятый!..— заспанным тенорком вскричал вскочивший Дугин и чем-то тяжелым ударил ближнюю лошадь.

Бунчук, одолеваемый вшами, поворочался, перевернулся на другой бок и, с досадой сознавая, что сон ушел надолго, стал думать о завтрашнем митинге. Пытался представить себе — во что выльется противодействие офицеров, усмехнулся: «Сбегут, наверное, если казаки дружно запротестуют, а впрочем, черт их знает! На всякий случай договорюсь с гарнизонным комитетом». Как-то непроизвольно вспомнил эпизод из войны, атаку в октябре 1915 года, а затем память, словно обрадовавшись, что направили ее на знакомую утоптанную тропу, настойчиво и злорадно стала подсовывать обрезки воспоминаний: лица, безобразные позы убитых русских и немецких солдат, разноголосую речь, бескрасочные, стертые временем куски виденных когда-то пейзажей, невысказанные, почему-то сохранившиеся мысли, внутренне еле ощутимые отзвуки канонады, знакомый стук пулемета и шорох ленты, бравурную мелодию, красивый до боли, чуть блеклый рисунок рта любимой когда-то женщины и опять — клочки войны: убитые, осевшие холмики братских могил...

Бунчук засуетился; приподнявшись, сел, вслух сказал или только подумал: «До смерти буду носить вот эти вос-

поминания, и не я один, а все, кто уцелеет. Искалечили, надругались над жизнью!.. Проклятые! Проклятые! Вы и смертью не покроете свою вину!..»

И еще вспомнил двенадцатилетнюю Лушу, дочь убитого на войне петроградского рабочего-металлиста, приятеля, с которым некогда вместе работали в Туле. Вечером шел по бульвару. Она — этот угловатый, щуплый подросток — сидела на крайней скамье, ухарски раскинув тоненькие ноги, покуривая. На увядшем лице ее — усталые глаза, горечь в углах накрашенных, удлиненных преждевременной зрелостью губ. «Не узнаете, дяденька?» — хрипло спросила она, улыбаясь с профессиональной заученностью, и встала, совсем по-детски беспомощно и горько заплакала, сгорбясь, прижимаясь головой к локтю Бунчука.

Он чуть не задохнулся от хлынувшей в него ядовитой, как газ, ненависти; бледнея, заскрипел зубами, застонал. После долго растирал волосатую грудь, дрожал губами; ему казалось, что ненависть скипелась в груди горячим комком шлака,— тлея, мешает дышать и причиняет эту боль в левой стороне под сердцем.

Он не уснул до утра. А с рассветом, пожелтевший, угрюмый больше, чем всегда, пошел в комитет железнодорожников, договорился, что казачий эшелон из Нарвы не выпустят, и через час вышел на поиски членов гарнизонного комитета.

Вернулся к составу в восьмом часу. Шел, всем телом ощущая утреннюю тепловатую прохладу, смутно радуясь и вероятному успеху своей поездки, и солнцу, перелезавшему через ржавую крышу пакгауза, и музыкальному, певучему тембру доносившегося откуда-то женского голоса. Перед зарей отзвенел дождь, буйный, проливной и короткий. Песчаная земля на путях была размыта, извилюжена следами крохотных ручейков, пресно пахла дождем и еще хранила на своей поверхности, там, где втыкались дождевые капли, густой засев чуть подсохших крохотных ямочек — будто оспа изрябила ее.

Обходя состав, навстречу Бунчуку шел офицер в шинели и высоких обляпанных грязью сапогах. Бунчук узнал есаула Калмыкова, чуть замедлил шаг, выжидая. Они сошлись. Калмыков остановился, холодно блеснул косыми черными глазами.

— Хорунжий Бунчук? Ты на свободе? Прости, руки я тебе не подам...

Он туго сжал губы, сунул руки в карманы шинели.

— Я не собираюсь протягивать тебе руку... ты поспешил,— насмешливо отозвался Бунчук.

— Ты, что же, спасаешь здесь шкуру? Или... приехал из Петрограда? Не от душки ли Керенского?

— Это что — допрос?

— Законное любопытство к судьбе некогда дезертировавшего сослуживца.

Бунчук, затая усмешку, пожал плечами.

— Могу тебя успокоить: я приехал сюда не от Керенского.

— Но ведь вы же сейчас, перед лицом надвигающейся опасности, трогательно единитесь. Итак, все же, кто ты? Погон нет, шинель солдатская...— Калмыков, шевеля ноздрями, презрительно и сожалеюще оглядел сутуловатую фигуру Бунчука.— Политический коммивояжер? Угадал? — не дожидаясь ответа, повернулся, размашисто зашагал.

У своего вагона Бунчука встретил Дугин.

— Чего же ты? Митинг уже начался.

— Как начался?

— А так. Наш сотенный есаул Калмыков в отлучке был, а нынче прикатил из Питера на паровозе, созвал казаков. Зараз только пошел их уговаривать.

Бунчук задержался, выспрашивая о том, с какого времени был откомандирован в Петроград Калмыков. Со слов Дугина узнал, что тот отсутствовал почти месяц.

«Один из тех душителей революции, которых Корнилов посылал в Питер под предлогом изучения бомбометания. Значит — надежный корниловец. Ну ладно!» — отрывочно подумал он, направляясь вместе с Дугиным к месту митинга.

За пакгаузом — серо-зеленый частокол казачьих гимнастерок и шинелей. В средине, окруженный офицерами, на опрокинутом бочонке стоял Калмыков, резко, раздельно кричал:

— ...довести до победного конца! Нам доверяют — и мы оправдаем это доверие! Сейчас я прочту телеграмму генерала Корнилова к казакам.

Он с излишней торопливостью вытащил из бокового кармана френча помятый листок, пошептался с эшелонным.

Бунчук и Дугин подошли, смешались с казаками.

— «Казаки, дорогие станичники! — выразительно и не без подъема читал Калмыков.— Не на костях ли ваших предков расширялись и росли пределы государства Российского? Не вашей ли могучей доблестью, не вашими ли подвигами, жертвами и геройством была сильна великая Россия? Вы, вольные, свободные сыны тихого Дона, красавицы Кубани, буйного Терека, залетные могучие орлы уральских, оренбургских, астраханских, семиреченских и сибирских степей и гор и далеких Забайкалья, Амура и Уссури, всегда стояли на страже чести и славы ваших знамен, и русская земля полна сказаниями о подвигах ваших отцов и дедов. Ныне настал час, когда вы должны прийти на помощь Родине. Я обвиняю Временное правительство в нерешительности действий, в неумении и неспособности управлять, в допущении немцев к полному хозяйничанию внутри страны, о чем свидетельствует взрыв в Казани, где взорвалось около миллиона снарядов и погибло 12 000 пулеметов. Более того. Я обвиняю некоторых членов правительства в прямом предательстве Родины и тому привожу доказательства: когда я был на заседании Временного правительства в Зимнем дворце, 3 августа, министр Керенский и Савинков указали мне, что нельзя всего говорить, так как среди министров есть люди неверные. Ясно, что такое правительство ведет страну к гибели, что такому правительству верить нельзя и вместе с ним не может быть спасения несчастной России... Поэтому, когда вчера Временное правительство, в угоду врагам, потребовало от меня оставления должности верховного главнокомандующего, я, как казак, по долгу совести и чести, вынужден был отказаться от исполнения этого требования, предпочитая смерть на поле брани позору и предательству Родины. Казаки, рыцари земли Русской! Вы обещали встать вместе со мной на спасенье Родины, когда я найду это нужным. Час пробил — Родина накануне смерти! Я не подчиняюсь распоряжениям Временного правительства и ради спасения свободной России иду против него и против тех безответственных советников его, которые продают Родину. Поддержите, казаки, честь и славу беспримерно доблестного казачества, и этим вы спасете Родину и свободу, завоеванную революцией. Слушайтесь же и исполняйте мои приказания! Идите же за мной! 28 августа 1917 года. Верховный главнокомандующий генерал *Корнилов*».

Калмыков помолчал; свертывая листок, выкрикнул:

— Агенты большевиков и Керенского препятствуют продвижению наших частей по железной дороге. Получено приказание верховного главнокомандующего: в том случае, если не представится возможным совершать переброску по железной дороге, то идти на Петроград походным порядком. Сегодня же мы выступаем. Приготовьтесь к выгрузке!

Бунчук, грубовато работая локтями, прорвался на средину; не подходя к кругу офицеров, зычно, по-митинговому крикнул:

— Товарищи казаки! Я послан к вам петроградскими рабочими и солдатами. Вас ведут на братоубийственную войну, на разгром революции. Если вам хочется идти против народа, если вам хочется восстановить монархию,— идите!.. Но петроградские рабочие и солдаты надеются, что вы не будете каинами. Они шлют вам пламенный братский привет и хотят видеть вас не врагами, а союзниками...

Договорить ему не дали. Поднялся неуемный шум, буря выкриков словно сорвала Калмыкова с бочонка. Наклонившись, он быстрыми шагами шел к Бунчуку; не дойдя нескольких шагов, крутнулся на каблуках.

— Казаки! Хорунжий Бунчук в прошлом году дезертировал с фронта,— вы это знаете. Что же, неужели мы будем слушать этого труса и предателя?

Командир шестой сотни, войсковой старшина Сукин, смял голос Калмыкова басистым раскатом:

— Арестовать его, подлеца! Мы кровь проливали, а он спасался по тылам!.. Берите его!

— Погодим бра-ать!

— Пущай говорит!

— На чужой роток нечего накидывать платок. Пущай выясняет свою направлению.

— Арестовать!

— Дезертиров нам не надо!

— Говори, Бунчук!

— Митрич! Рубани-ка их до сурепки!

— До-ло-о-ой!..

— Цыц, сучье вымя!

— Крой их! Крой их, Бунчук! Ты им вспоперек! Вспоперек!

На бочонок вскочил высокий, без фуражки, с наголо остриженной головой казак, член полкового ревкома. Он горячо призывал казаков не подчиняться душителю рево-

люции генералу Корнилову, говорил о гибельности войны с народом, закончил речь, обращаясь к Бунчуку:

— А вы, товарищ, не думайте, что мы вас, как и господа офицеры, презираем. Мы вам рады и уважаем как представителя народа, и ишо за то уважаем, что, бывши вы офицером, не притесняли казаков, а были с нами вроде как по-братски. Грубого слова от вас мы не слыхали, но не думайте, что мы, необразованные люди, не понимаем обхожденья,— ласковое слово и скотина понимает, не то что человек. Земно вам кланяемся и просим передать питерским рабочим и солдатам, что на них руку мы не подымем!

Будто в литавры ахнули: грохот одобрительных криков достиг последней степени напряжения и, медленно спадая, утих.

Вновь на бочонке качнулся, переламываясь статным торсом, Калмыков. О славе и чести седого Дона, об исторической миссии казачества, о совместно пролитой офицерами и казаками крови говорил он, задыхаясь, мертвенно бледнея.

Калмыкова сменил плотный белобрысый казак. Злобную речь его, направленную против Бунчука, прервали,— оратора стянули за руки. На бочонок вспрыгнул Чикамасов. Будто раскалывая полено, махнул руками, гаркнул:

— Не пойдем! Не будем сгружаться! В телеграмме прописано, будто казаки сулились помогать Корнилову,— а кто нас спросил? Не сулились мы ему! Офицерья из казачьего союзного Совета сулились! Греков хвостом намотал,— пущай он и помогает!..

Все чаще сменялись выступавшие. Бунчук стоял, угнув лобастую голову, земляным румянцем чернело его лицо, на шее и висках во вздувшихся венах стремительно колотился пульс. Сгущалась наэлектризованная атмосфера. Чувствовалось, что еще немного — и каким-нибудь безрассудным поступком, кровью разрядится напряженность.

Со станции толпой пришли солдаты гарнизона, и офицеры покинули митинг.

Через полчаса запыхавшийся Дугин подбежал к Бунчуку.

— Митрич, что делать?.. Калмыков что-то удумал. Сгружают зараз пулеметы, гонца верхового куда-то послали.

— Пойдем туда. Собери человек двадцать казаков! Живо!

У вагона эшелонного Калмыков и три офицера навьючивали на лошадей пулеметы. Бунчук подошел первый, оглянулся на казаков и, сунув в карман шинели руку, выхватил новенький, заботливо вычищенный офицерский наган.

— Калмыков, ты арестован! Руки!

Калмыков прыгнул от лошади, избочился, лапнул кобуру, но вытащить револьвер не успел: выше головы его цвинькнула пуля; опережая звук выстрела, глухо недобрым голосом крикнул Бунчук:

— Руки!..

Курок его нагана, обнажая клювик бойка, медленно поднялся до половины. Калмыков следил за ним сузившимися глазами, трудно поднимал руки, пощелкивал пальцами.

Офицеры неохотно сдали оружие.

— И шашки прикажете снять? — почтительно спросил молодой хорунжий-пулеметчик.

— Да.

Казаки развьючили лошадей, внесли пулеметы в вагон.

— К этим приставить часовых,— обратился Бунчук к Дугину.— Чикамасов арестует остальных и доставит их сюда. Слышишь, Чикамасов? А Калмыкова мы с тобой поведем в ревком гарнизона. Есаул Калмыков, изволь идти вперед.

— Ловко! Ловко! — восхищенно сказал один из офицеров, прыгая в вагон и провожая глазами удалявшихся Бунчука, Дугина и Калмыкова.

— Господа! Стыдно, господа! Мы вели себя, как дети! Никто не сообразил вовремя шлепнуть этого подлеца! Когда он направил на Калмыкова револьвер, тут бы ему раз — и готово бы! — Войсковой старшина Сукин с возмущением оглядел офицеров, долго доставал прыгающими пальцами папироску из партсигара.

— Ведь их целый взвод... перестреляли бы,— виновато заметил хорунжий-пулеметчик.

Офицеры молча курили, изредка переглядывались. Быстрота совершившегося их ошеломила.

Калмыков, покусывая кончик черного уса, некоторое время шел молча. Левая скуластая щека его горела, как от пощечины. Встречавшиеся жители смотрели изумленно, останавливались, шептались. Над Нарвой линяло предвечернее пасмурное небо. По путям червонными слитками лежали опавшие листья берез — август растерял уходя.

Через зеленый купол церкви перелетывали галки. Где-то за станцией, за сумеречными полями, дыша холодком, уже легла ночь, а от Нарвы на Псков, на Лугу небесной целиной, бездорожьем все еще шли загрунтованные свинцовыми белилами вечера рваные облака; переходя невидимую границу, теснила сумерки ночь.

Подле станции Калмыков круто повернулся, плюнул в лицо Бунчуку.

— Под-лец!..

Бунчук, уклонившись от плевка, взмахом поднял брови, долго сжимал левой рукой кисть правой, порывавшейся скользнуть в карман.

— Иди!..— насилу выговорил он.

Калмыков пошел, безобразно ругаясь, выплевывая грязные сгустки слов.

— Ты предатель! Изменник! Ты поплатишься за это! — выкрикивал он, часто останавливаясь, наступая на Бунчука.

— Иди! Прошу...— всякий раз уговаривал тот.

И Калмыков, сжимая кулаки, снова срывался с места, шел толчками, как запаленная лошадь. Они подошли к водокачке. Скрипя зубами, Калмыков кричал:

— Вы не партия, а банда гнусных подонков общества! Кто вами руководит! — немецкий главный штаб! Большеви-ки... х-х-ха! Ублюдки! Вашу партию, сброд этот, покупают как б... Хамы! Хамы!.. продали Родину!.. Я бы всех вас на одной перекладине. О-о-о-о! Время придет!.. Ваш этот Ленин не за тридцать немецких марок продал Россию?! Хапнул миллиончик — и скрылся... каторжанин!..

— Становись к стенке! — протяжно, заикаясь, крикнул Бунчук.

Дугин испуганно затомошился.

— Илья Митрич, погоди! Чегой-то ты? Посто-ой!..

Бунчук с обезображенным яростью, почерневшим лицом подскочил к Калмыкову, крепко ударил его в висок. Топча ногами слетевшую с головы Калмыкова фуражку, он тащил его к кирпичной темной стене водокачки.

— Станови-ись!

— Ты что?! Ты!.. Не смей!.. Не смей бить!..— рычал Калмыков, сопротивляясь.

Глухо ударившись спиной о стену водокачки, он выпрямился, понял:

— Убить хочешь?

Изогнувшись, торопился Бунчук, рвал револьвер, курком зацепившийся за подкладку кармана.

Калмыков шагнул вперед, быстро застегивая шинель на все пуговицы.

— Стреляй, сукин сын! Стреляй! Смотри, как умеют умирать русские офицеры... Я и перед сме-е...

Пуля вошла ему в рот. За водокачкой, взбираясь на ступенчатую высоту, взвилось хрипатое эхо. Споткнувшись на втором шагу, Калмыков левой рукой обхватил голову, упал. Выгнулся крутой дугой, сплюнул на грудь черные от крови зубы, сладко почмокал языком. Едва лишь спина его, выпрямляясь, коснулась влажного щебня, Бунчук выстрелил еще раз. Калмыков дернулся, поворачиваясь на бок, как засыпающая птица подвернул голову под плечо, коротко всхлипнул.

На первом перекрестке Дугин догнал Бунчука.

— Митрич... Что же ты, Митрич?.. За что ты его?

Бунчук сжал плечи Дугина; вонзая в глаза ему насталенный, неломкий взгляд, сказал странно спокойным потухшим голосом:

— Они нас, или мы их!.. Середки нету. На кровь — кровью. Кто кого... Понял? Таких, как Калмыков, надо уничтожать, давить, как гадюк. И тех, кто слюнявится жалостью к таким, стрелять надо... понял? Чего слюни развесил? Сожмись! Злым будь! Калмыков, если бы его власть была, стрелял бы в нас, папироски изо рта не вынимая, а ты... Эх, мокрогубый!

У Дугина долго тряслась голова, пощелкивали зубы и как-то нелепо путались большие, в порыжелых сапогах, ноги.

По безлюдному руслу улочки шли молча. Бунчук изредка поглядывал назад. Над ними в темноте низко пенились, устремляясь на восток, черные облака. В просвет, с крохотного клочка августовского неба, зеленым раскосым оком глядел ущербленный, омытый вчерашним дождем, месяц. На ближнем перекрестке стояли, прижимаясь друг к дружке, солдат и женщина в белом накинутом на плечи платке. Солдат обнимал женщину, притягивая ее к себе, что-то шептал, а она, упираясь ему в грудь руками, откидывала голову, бормотала захлебывающимся голосом: «Не верю! Не верю»,— и приглушенно, молодо смеялась.

XVIII

31 августа в Петрограде застрелился вызванный туда Керенским генерал Крымов.

С повинной потекли в Зимний дворец делегации и командиры частей крымовской армии. Люди, недавно шедшие на Временное правительство войной, теперь любезно расшаркивались перед Керенским, уверяя его в своих верноподданнических чувствах.

Разбитая морально, крымовская армия еще агонизировала: части по инерции катились к Петрограду, но движение это уже утратило всякий смысл, ибо подходил к концу корниловский путч, гасла взметнувшаяся бенгальским огнем вспышка реакции, и временный правитель республики,— правда, растерявший за эти дни мясистость одутловатых щек,— по-наполеоновски дрыгая затянутыми в краги икрами, уже говорил на очередном заседании правительства о «полной политической стабилизации».

За день до самоубийства Крымова генерал Алексеев получил назначение на должность главковерха. Корректный и щепетильный Алексеев, понимая всю неприглядную двусмысленность своего положения, вначале категорически отказался, но потом принял назначение, руководясь единственно желанием облегчить участь Корнилова и тех, кто был так или иначе замешан в организации антиправительственного мятежа.

С пути он по прямому проводу снесся со Ставкой, пытаясь уяснить отношение Корнилова к его назначению и приезду. Нудные переговоры длились с перерывом до поздней ночи.

В тот же день у Корнилова происходило совещание чинов штаба и лиц, Корнилову близких. На поставленный им вопрос о целесообразности дальнейшей борьбы с Временным правительством большинство присутствовавших на совещании высказалось за продолжение борьбы.

— Прошу вас высказаться, Александр Сергеевич,— обратился Корнилов к Лукомскому, молчавшему на протяжении всего совещания.

Тот в сдержанных, но решительных выражениях возражал против продолжения междоусобной брани.

— Капитулировать? — спросил, резко прерывая его, Корнилов.

Лукомский пожал плечами.

— Выводы напрашиваются сами собой.

Разговоры длились еще в течение получаса. Корнилов молчал, видимо огромным усилием воли удерживая самообладание. Совещание вскоре распустил, а через час вызвал к себе Лукомского.

— Вы правы, Александр Сергеевич! — Хрустнул пальцами и, глядя куда-то в сторону угасшими, седыми, словно осыпанными пеплом глазами, устало сказал: — Дальнейшее сопротивление было бы и глупо и преступно.

Долго барабанил пальцами, вслушивался во что-то — быть может, в мышиную суетню собственных мыслей; помолчав, спросил:

— Когда приедет Михаил Васильевич?

— Завтра.

1 сентября приехал Алексеев. Вечером этого же дня по приказанию Временного правительства он арестовал Корнилова, Лукомского и Романовского. Перед отправкой арестованных в гостиницу «Метрополь», где они должны были содержаться под стражей, Алексеев с глазу на глаз о чем-то в течение двадцати минут беседовал с Корниловым; вышел из его комнаты глубоко потрясенный, почти не владеющий собой. Романовский, пытавшийся пройти к Корнилову, был остановлен его женой.

— Простите! Лавр Георгиевич просил никого к нему не допускать.

Романовский бегло взглянул на ее расстроенное лицо и отошел, взволнованно помаргивая, чернея верхушками щек.

В Бердичеве на другой же день были арестованы главнокомандующий Юго-Западным фронтом генерал Деникин, его начштаба — генерал Марков, генерал Ванновский и командующий Особой армией генерал Эрдели.

В Быхове, в женской гимназии, бесславно закончилось ущемленное историей корниловское движение, закончилось, породив новое: где же, как не там, возникли зачатки планов будущей гражданской войны и наступления на революцию развернутым фронтом?

XIX

В последних числах октября, рано утром, есаул Листницкий получил распоряжение от командира полка — с сотней в пешем строю явиться на Дворцовую площадь.

Отдав распоряжение вахмистру, Листницкий торопливо оделся.

Офицеры вставали, зевая, поругиваясь.

— В чем дело?

— В большевиках!

— Господа, кто брал у меня патроны?

— Куда выступать?

— Вы слышите: стреляют?

— Какой черт стреляют? У вас галлюцинация слуха!

Офицеры вышли во двор. Сотня перестраивалась во взводные колонны. Листницкий быстрым маршем вывел казаков со двора. Невский пустовал. Где-то действительно постукивали одиночные выстрелы. По Дворцовой площади разъезжал броневик, патрулировали юнкера. Улицы берегли пустынную тишину. У ворот Зимнего казаков встретил наряд юнкеров и казачьи офицеры четвертой сотни. Один из них, командир сотни, отозвал Листницкого в сторону:

— Вся сотня с вами?

— Да. А что?

— Вторая, пятая и шестая не пошли, отказались, но пулеметная команда с нами. Как казаки?

Листницкий коротко махнул рукой.

— Горе. А Первый и Четвертый полки?

— Нет их. Те не пойдут. Вы знаете, что сегодня ожидается выступление большевиков? Черт знает что творится! — и тоскливо вздохнул: — Махнуть бы на Дон от всей этой каши...

Листницкий ввел сотню во двор. Казаки, составив винтовки в ко́злы, разбрелись по просторному, как плац, двору. Офицеры собрались в дальнем флигеле. Курили. Переговаривались.

Через час пришли полк юнкеров и женский батальон. Юнкера разместились в вестибюле дворца, втащили туда пулеметы. Ударницы [1] толпились во дворе. Слонявшиеся казаки подходили к ним, грязно подшучивали. Одну, кургузую, одетую в куцую шинель, урядник Аржанов шлепнул по спине.

— Тебе бы, тетка, детей родить, а ты на мущинском деле.

---

[1] Ударницы — здесь: солдаты женского ударного батальона («батальона смерти»).

— Рожай сам! — огрызнулась басовитая неприветливая «тетка».

— Любушки мои! И вы с нами? — приставал к ударницам старовер и бабник Тюковнов.

— Драть их, хлюстанок!

— Вояки раскоряченные!

— Сидели б по домам! Ишь нужда вынесла!

— Двухстволки мирского образца!

— Спереду — солдат, а сзаду — не то поп, не то черт его знает что... Даже плюнуть охота!

— Эй, ты, ударная! Подбери-ка сиделку, а то ложем ахну!

Казаки гоготали, веселели, глядя на женщин. Но к полудню веселое настроение исчезло. Ударницы, разбившись на взводы, несли с площади сосновые толстые брусья, баррикадировали ворота. Распоряжалась ими дородная, мужского покроя баба, с георгиевской медалью на хорошо подогнанной шинели. По площади чаще стал проезжать броневик, юнкера откуда-то внесли во дворец ручные ящики с патронами и пулеметными лентами.

— Ну, станишники, держись!

— Выходит, что будем сражаться?

— А ты думал — как? Ударницев лапать тебя привели сюда?

Около Лагутина группировались земляки — букановцы и слащевцы. Они о чем-то совещались, переходили с места на место. Офицеры куда-то исчезли. Во дворе, кроме казаков и ударниц, не было никого. Почти у самых ворот стояли брошенные пулеметчиками пулеметы, щиты их мокро тускнели.

К вечеру посыпалась изморось. Казаки заволновались.

— Что же это за порядки: завели — и держут на базу без продовольствия?!

— Надо Листницкого найтить.

— Ищи свищи! Он во дворце, а юнкера нашего брата туда не допущают.

— Надо за кухней посылать человека — пущай везут.

За кухней снарядили двух казаков.

— Валяйте без винтовок, а то посымают,— посоветовал Лагутин.

Кухню ждали часа два. Ни кухни, ни гонцов не было. Как оказалось, кухню, выезжавшую со двора, вернули солдаты-семеновцы. Перед сумерками ударницы, скопившиеся возле ворот, рассыпались густой цепью; лежа под

брусьями, начали постреливать куда-то через площадь. Казаки участия в стрельбе не принимали, курили, нудились. Лагутин собрал сотню возле стены и, опасливо поглядывая на окна дворца, заговорил:

— Вот что, станишники! Нам тут делать нечего. Надо уходить, а то без вины пострадаем. Зачнут дворец обстреливать, а мы тут при чем? Офицеров — и след простыл... что же мы: аль проклятые, что должны тут погибать? Айда домой, нечего тут стены обтирать! А Временное правительство... да на кой оно нам ляд приснилось! Как вы, станишники?

— Выйди с базу, а красногвардейцы и зачнут из пулеметов полоскать.

— Головы посымают!

— Не должно быть...

— Тогда разбирайся!

— Нет уж, будем сидеть до конца.

— Наше дело телячье — поел да в закут.

— Кому как, а наш взвод уходит!

— И мы пойдем!

— К большакам людей направить — пущай они нас не трогают, а мы их не тронем.

Подошли казаки первой и четвертой сотен. Советовались недолго. Три казака, от каждой сотни по одному, вышли из ворот, а через час вернулись в сопровождении трех матросов. Матросы, перепрыгнув через брусья, наваленные у ворот, шагали по двору с деланно развязным видом; подошли к казакам, поздоровались. Один из них, молодой черноусый красавец, в распахнутом бушлате и сдвинутой на затылок шапке, протиснулся в середину казачьей толпы.

— Товарищи казаки! Мы, представители революционного Балтийского флота, пришли затем, чтобы предложить вам покинуть Зимний дворец. Вам нечего защищать чужое вам буржуазное правительство. Пусть его защищают буржуазные сынки, юнкера. Ни один солдат не встал на защиту Временного правительства, и ваши братья — казаки Первого и Четвертого полков — присоединились к нам. Кто желает идти с нами — отходи влево!

— Погоди, браток! — вперед выступил бравый урядник первой сотни.— Пойтить — мы с нашим удовольствием... а как нас красногвардейцы на распыл пустят?

— Товарищи! Именем Петроградского Военно-революционного комитета мы обещаем вам полную безопасность. Никто вас не тронет.

Рядом с черноусым матросом стал другой, коренастый и рябоватый. Он оглядел казаков, поворачивая толстую бычью шею, ударил себя по обтянутой форменкой выпуклой груди:

— Мы вас будем сопровождать! Нечего, братишки, сомневаться, мы вам не враги, и петроградские пролетарии вам не враги, а враги вот эти...— Он ткнул отставленным большим пальцем в сторону дворца и улыбнулся, оголив плотные зубы.

Казаки мялись в нерешительности, женщины-ударницы подходили, слушали, поглядывали на казаков и вновь шли к воротам.

— Эй вы, бабы! Пойдете с нами? — крикнул бородатый казачина.

Ответа не дождался.

— Разбирай винтовки — и ходу! — решительно сказал Лагутин.

Казаки дружно расхватали винтовки, построились.

— Пулеметы брать, что ли? — спросил черноусого матроса казак-пулеметчик.

— Берите. Кадетам их не оставлять.

Перед уходом казаков появились в полном составе офицеры сотен. Стояли тесной кучей, глаз не сводили с моряков. Сотни, построившись, тронулись. Впереди пулеметная команда везла пулеметы. Колесики мелко поскрипывали, тарахтели по мокрым камням. Матрос в бушлате шел рядом с головным взводом первой сотни. Высокий белобрысый казак Федосеевской станицы держал его за рукав, виновато-растроганно говорил:

— Милый мой, аль нам охота против народа? Сдуру заплюхались сюда, а кабы знали, да рази же мы б пошли? — и сокрушенно мотал чубатой головой.— Верь слову — не пошли бы! Ей-бо!

Четвертая сотня шла последней. У ворот, где густо столпился весь женский батальон,— заминка. Здоровенный казак, взобравшись на брусья, убеждающе и значительно трясет ногтястым черным пальцем:

— Вы, стрелки, слухайте сюда! Вот мы зараз уходим, а вы, по своей бабьей глупости, остаетесь. Ну, так вот, чтоб без дуростев! Ежели в спину зачнете нам стрелять,— вер-

немся и перерубим всех на мелкое крошево. Толково гутарю? Ну, то-то. Прощевайте покуда.

Он соскакивает с брусьев, рысью догоняет своих, время от времени поглядывает назад.

Казаки доходят почти до середины площади. Оглянувшись, один взволнованно говорит:

— Гля, ребята! Офицер нам вдогон!

Многие на ходу поворачивают головы, смотрят. По площади бежит, придерживая шашку, высокий офицер.

Он машет рукой.

— Это — Атарщиков, третьей сотни.

— Какой?

— Высокий, ишо родинка у него на глазу.

— Надумал уходить с нами.

— Он славный парнюга.

Атарщиков быстро настигает сотню, издали видно, как на лице его дрожит улыбка. Казаки машут руками, смеются.

— Нажми, господин сотник!

— Шибче!

От дворцовых ворот — сухой одинокий щелчок выстрела. Атарщиков широко взмахивает руками и, запрокидываясь, падает на спину, мелко сучит ногами, бьется о мостовую, пытается встать. Сотни, как по команде, разворачиваются лицом к дворцу. Около повернувшихся пулеметов — на коленях номера. Шорох лент. Но возле дворцовых ворот, за сосновыми брусьями — ни души. Ударниц и офицеров, минуту назад толпившихся там, выстрел будто слизал. Сотни опять торопливо строятся, идут, уже ускоряя шаг. Двое казаков последнего взвода возвращаются от места, где упал Атарщиков. Громко, чтобы слышала вся сотня, один кричит:

— Кусануло его под левую лопатку. Готов!

Шаг в ногу звучит гремуче и четко. Матрос в бушлате командует:

— Левое плечо вперед... арш!..

Сотни, извиваясь, сворачивают. Молчанием провожает их притихший сугорбленный дворец.

XX

Теплилась осень. Перепадали дожди. Над Быховом редко показывалось обескровленное солнце. В октябре начался отлет дикой птицы. Даже ночами звенел над про-

хладной, черной землей журавлиный горько волнующий зов. Спешили перелетные станицы, уходя от близких заморозков, от знобких в вышине северных ветров.

Быховские заключенные, арестованные по делу Корнилова, ждали суда полтора месяца. За это время жизнь их в тюрьме как-то отстоялась и приняла если не совсем обычные, но все же своеобразно-твердые формы. По утрам, после завтрака, генералы шли на прогулку; возвращаясь, разбирали почту, принимали навещавших их родных и знакомых, обедали, после «мертвого» часа порознь занимались в своих комнатах, вечерами обычно собирались у Корнилова, подолгу беседовали и совещались.

В женской гимназии, преобразованной в тюрьму, жили всё же не без комфорта.

Наружную охрану несли солдаты Георгиевского батальона, внутреннюю — текинцы. Но охрана эта если до некоторой степени и стесняла свободу заключенных, то взамен являла весьма существенное преимущество: была построена так, что в любой момент арестованные могли, при желании, легко и безопасно бежать. За все время пребывания в быховской тюрьме они беспрепятственно сносились с внешним миром, давили на буржуазную общественность, требуя ускорения следствия и суда, заметали следы мятежа, прощупывали настроения офицерства и на худой конец готовились к побегу.

Корнилов, озабоченный удержанием возле себя преданных ему текинцев, снесся с Калединым, и тот, по его настоянию, спешно отправил в Туркестан голодавшим семьям текинцев несколько вагонов хлеба. За помощью для семей офицеров — участников корниловского выступления — Корнилов обратился с письмом весьма резкого содержания к крупным банкирам Москвы и Петрограда; те не замедлили выслать несколько десятков тысяч рублей, опасаясь невыгодных для себя разоблачений. С Калединым у Корнилова до ноября не прерывалась деятельная переписка. В пространном письме, отправленном Каледину в середине октября, он запрашивал о положении на Дону и о том, как отнесутся казаки к его приезду туда. Каледин прислал положительный ответ.

Октябрьский переворот колыхнул почву под ногами быховских заключенных. На другой же день во все стороны полетели гонцы, и уже через неделю отголоском чьей-то тревоги за участь заключенных прозвучало письмо Каледина, адресованное генералу Духонину, самочинно объ-

явившему себя главнокомандующим, в котором он настоятельно просил Корнилова и остальных арестованных на поруки. С такой же просьбой обращались в Ставку Совет союза казачьих войск и Главный комитет Союза офицеров армии и флота. Духонин медлил.

1 ноября Корнилов отправил ему письмо. Пометки Духонина на полях письма — яркое свидетельство того, как бессильна была Ставка, к тому времени фактически уже утратившая всякую власть над армией, доживавшая в прострации последние дни.

МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ!

Вас судьба поставила в такое положение, что от Вас зависит изменить ход событий, принявших гибельное для страны направление, главным образом благодаря нерешительности и попустительству старшего командного состава. Для Вас наступает минута, когда люди должны или дерзать, или уходить, иначе на них ляжет ответственность за гибель страны и позор за окончательный развал армии.

По тем неполным, отрывочным сведениям, которые доходят до меня, положение тяжелое, но еще не безвыходное. Но оно станет таковым, если Вы допустите, что Ставка будет захвачена большевиками, или же добровольно признаете их власть.

Имеющихся в Вашем распоряжении Георгиевского батальона, наполовину распропагандированного, и слабого Текинского полка далеко не достаточно.

Предвидя дальнейший ход событий, я думаю, Вам необходимо безотлагательно принять такие меры, которые, прочно обеспечивая Ставку, дали бы благоприятную обстановку для организации дальнейшей борьбы с надвигающейся анархией.

Таковыми мерами я считаю:

1. Немедленный перевод в Могилев одного из Чешских полков и Польского уланского полка.

Пометка Духонина. *Ставка не считает их вполне надежными. Эти части одни из первых пошли на перемирие с большевиками.*

2. Занятие Орши, Смоленска, Жлобина и Гомеля частями Польского корпуса, усилив дивизии последнего артиллерией за счет казачьих батарей фронта.

Пометка. *Для занятия Орши и Смоленска сосредоточена 2-я Кубанская дивизия и бригада астраханских казаков. Полк 1-й Польской дивизии из Быхова нежелательно брать для безопасности арестованных. Части 1-й дивизии имеют слабые кадры и потому не представляют реальной силы. Корпус определенно держится того, чтобы не вмешиваться во внутренние дела России.*

3. Сосредоточение на линии Орша — Могилев — Жлобин всех частей Чешско-Словацкого корпуса, Корниловского полка, под предлогом перевозки их на Петроград и Москву, и одной-двух казачьих дивизий из числа наиболее крепких.

Пометка. *Казаки заняли непримиримую позицию — не воевать с большевиками.*

4. Сосредоточение в том же районе всех английских и бельгийских броневых машин, с заменой прислуги их исключительно офицерами.

5. Сосредоточение в Могилеве и в одном из ближайших к нему пунктов, под надежной охраной, запаса винтовок, патронов, пулеметов, автоматических ружей и ручных гранат для раздачи их офицерам и волонтерам, которые обязательно будут собираться в указанном районе.

Пометка. *Это может вызвать эксцессы.*

6. Установление прочной связи и точного соглашения с атаманами Донского, Терского и Кубанского войск и с комитетами польским и чехословацким. Казаки определенно высказались за восстановление порядка в стране, для поляков же и чехов вопрос восстановления порядка в России — вопрос их собственного·существования.

* * *

С каждым днем все тревожнее приходили вести. В Быхове нарастало беспокойство. Между Могилевом и Быховом сновали автомобили доброжелателей Корнилова, требовавших у Духонина освобождения заключенных. Казачий совет прибегал даже к скрытым угрозам.

Духонин, подавленный тяжестью надвигавшихся событий, колебался. 18 ноября он отдал распоряжение об отправке заключенных на Дон, но сейчас же отменил его.

На другой день утром к главному подъезду быховской гимназии-тюрьмы подкатил густо забрызганный грязью автомобиль. Шофер с подобострастной предупредительностью распахнул дверцу, и из автомобиля вышел немолодой складный офицер. Он предъявил караульному офицеру документы на имя полковника генштаба Кусонского.

— Я из Ставки. Имею личное поручение к арестованному генералу Корнилову. Где я могу видеть коменданта?

Комендант — подполковник Текинского полка Эргардт — немедленно провел приехавшего к Корнилову. Кусонский, представившись, подчеркнуто, с чуть заметной аффектацией доложил:

— Через четыре часа Могилев будет сдан Ставкой без боя. Генерал Духонин приказал вам передать, что всем заключенным необходимо сейчас же покинуть Быхов.

Расспросив Кусонского о положении в Могилеве, Корнилов пригласил подполковника Эргардта. Тяжело опираясь пальцами левой руки о край стола, сказал:

— Немедленно освободите генералов. Текинцам изготовиться к выступлению к двенадцати часам ночи. Я иду с полком.

Весь день в походной кузне хрипели, задыхаясь, мехи, рдяно горел раскаленный уголь, звенели молотки, у станков зло визжали кони. Текинцы на полный круг ковали лошадей, чинили сбрую, чистили винтовки, готовились.

Днем генералы поодиночке покинули место заключения. А в волчью, глухую полночь, когда маленький провинциальный городишко, затушив огни, спал беспросыпно крепко, со двора быховской гимназии, по три в ряд, стали выезжать всадники. Вороненые силуэты их рельефно, как вылепленные, маячили на фоне стального неба. Всадники, похожие на нахохленных черных птиц, ехали, надвинув высокие папахи, зябко горбились в седлах, кутали в башлыки маслено-смуглые лица. В середине полковой колонны, рядом с командиром полка, полковником Кюгельгеном, на высоком поджаром коне сутуло качался Корнилов. Он морщился от холодного, плутавшего по быховским улочкам ветра, щурил узенькие прорези глаз на морозное вызвездившееся небо.

Воркующий чокот свежекованых конских копыт несся по улицам и заглох на окраине.

XXI

Полк отступал вторые сутки. Медленно, с боями, но отступал. По возвышенным грунтовым дорогам тянулись обозы русской и румынской армий. Объединенные австро-германские части охватывали отступавших глубоким фланговым обходом, пытались сомкнуть кольцо.

К вечеру стало известно, что 12-му полку и соседней с ним румынской бригаде грозит окружение. Противник на закате солнца выбил румын из деревни Ховинески и уже продвинулся до высоты «480», что граничит с Голшским перевалом.

Ночью 12-й полк, подкрепленный батареей конно-горного дивизиона, получил приказ занять позиции в низовьях Голшской долины. Полк, выставив сторожевое охранение, приготовился к встречному бою.

В эту ночь Мишка Кошевой и хуторянин его, чурбаковатый Алексей Бешняк, были в секрете. Таились в арке возле покинутого обвалившегося колодца, вдыхая разреженный морозом воздух. По облачному мохнатому небу изредка протекала припозднившаяся стайка диких гусей, сторожкими криками отмечавшая свое направление. Кошевой, с досадой вспоминая, что курить нельзя, тихо шелестел:

— Чудна́я жизнь, Алексей!.. Ходют люди ощупкой, как слепые, сходются и расходются, иной раз топчут один

одного... Поживешь вот так, возле смерти, и диковинно становится, на что вся эта мура? По-моему, страшней людской середки ничего на свете нету, ничем ты ее до дна не просветишь... Вот я зараз лежу с тобой, а не знаю, об чем ты думаешь, и сроду не узнаю, и какая у тебя сзади легла жизня — не знаю, а ты обо мне не знаешь... Может, я тебя зараз убить хочу, а ты вот мне сухарь даешь, ничего не подозреваешь... Люди про себя мало знают. Был я летом в госпитале. Рядом со мной солдат лежал, московский родом. Так он все дивовался, пытал, как казаки живут, что да чего. Они думают — у казака одна плетка, думают — дикой казак и замест души у него бутылошная склянка, а ить мы такие же люди: и баб так же любим, и девок милуем, своему горю плачем, чужой радости не радуемся... Ты как, Алешка? Я, парень, жадный до жизни стал — как вспомню, сколько на свете красивых баб, аж сердце защемит! Вздумаю, что мне их всех сроду не придется облюбить,— и кричать хочу с тоски! Такой я нежный до баб стал, что каждую бы до болятки миловал... Крыл бы и летучую и катучую, лишь бы красивая была... А то тоже с большого ума приладили жизню: всучут одну тебе до смерти — и мусоль ее... нешто не надоисть! Ишо воевать вздумали, и так...

— Мало тебя в спину кололи, бугай идолов! — беззлобно поругивался Бешняк.

Кошевой, запрокинувшись на спину, молчал, долго глядел в вышнюю пустошь и, мечтательно улыбаясь, волнующе-нежно ласкал руками нахолодавшую, неприступно-равнодушную землю.

За час до смены взяли их немцы. Бешняк, успевший выстрелить, присел, скрежеща зубами, сгибаясь в смертном поклоне: немецкий ножевой штык искромсал ему внутренности, распорол мочевой пузырь и туго дрогнул, воткнувшись в позвоночник. Кошевого положили прикладом. С полверсты его тащил на себе плотный ландштурмист. Мишка очнулся, почувствовал, что захлебывается кровью, передохнул и, собравшись с силами, без особого труда сорвался со спины немца. По нему ударили залпом, но ночь и кустарник выручили — бежал.

После того как отступление приостановилось и русско-румынские части вышли из мешка, 12-й полк был снят с позиции, брошен в тыл, левее своего участка на несколько верст. Был объявлен приказ по полку: нести заградительную службу, выставлять дозоры на дорогах,

следить, чтобы в тыл не уходили дезертиры, задерживать их, не стесняясь применением оружия, и под конвоем направлять в штаб дивизии.

Мишка Кошевой в числе первых попал в наряд. Он и еще трое казаков с утра вышли из деревушки и, по указанию вахмистра, расположились в конце кукурузного поля, неподалеку от дороги. Дорога, обегая перелесок, скрывалась в холмистой, исполосованной квадратами пахоты равнине. Казаки наблюдали поочередно. После полудня заметили группу, человек в десять, солдат, подвигавшуюся по направлению на них. Солдаты шли, имея явное намерение обойти видневшуюся под изволоком деревушку. Поравнявшись с перелеском, они остановились, закурили — очевидно, совещаясь,— потом пошли, круто изменив направление, под прямым углом свернув влево.

— Шумнуть им? — поднимаясь из зарослей кукурузных будыльев, спросил у остальных Кошевой.

— Стрельни вверх.

— Эй, вы! Стойте!

Солдаты, находившиеся от казаков на расстоянии нескольких десятков саженей, заслыша крик, на минуту остановились и вновь, словно нехотя, тронулись вперед.

— Сто-о-ой! — крикнул один из казаков, раз за разом выпуская вверх обойму.

С винтовками наперевес казаки догнали медленно шагавших солдат.

— Черта ли не стоите? Какой части? Куда идете? Документы! — подбежав, крикнул урядник Колычев, начальник поста.

Солдаты остановились. Трое неспешно сняли винтовки. Задний нагнулся, шматком телефонной проволоки перевязывая оторванную подошву сапога. Все они были невероятно оборванны, грязны. На полах шинелей щетинились коричневые кожушки череды,— видно, валялись эту ночь в лесу, в зарослях. На двух были летние фуражки, на остальных грязно-серые вязаной смушки папахи, с расстегнутыми отворотами и болтающимися мотузками завязок. Последний,— как видно, вожак,— высокий и по-стариковски сутулый, дрожа дряблыми сумками щек, закричал злым гундосым голосом:

— Вам чего? Мы вас трогаем? Чего вы привязываетесь-то!

— Документы! — напуская на себя строгость, перебил его урядник.

Голубоглазый солдат, красный, как свежеобожженный кирпич, достал из-за пояса бутылочную гранату,— помахивая ею перед носом урядника, оглядываясь на товарищей, зачастил ярославской скороговоркой:

— Вот, малый, те документ! Вот! Это тебе на весь год мандат! Береги жизнь, а то как ахну — печенки-селезенки не соберешь. Понял? Понял, что ли? Понял?..

— Ты не балуй,— толкая его в грудь, хмурился урядник.— Не балуй и не стращай нас, мы и так пужаные. А раз вы дезертиры,— поворачивай в штаб. Там таких супцов до рук прибирают.

Переглянувшись, солдаты сняли винтовки. Один из них, темноусый и испитой, по виду шахтер, шепнул, переводя отчаянные глаза с Кошевого на остальных казаков:

— Вот как возьмем вас в штыки!.. А ну, прочь! Отойди! Ей-богу, сейчас первому пулю всажу!..

Голубоглазый солдат кружил над головой гранату; высокий, сутулый, шедший впереди, царапнул ржавым жалом штыка сукно урядницкой шинели; похожий на шахтера матерился и замахивался на Мишку Кошевого прикладом, а у того палец дрожал на спуске и прыгало прижатое к боку локтем ложе винтовки; один из казаков, ухватив небольшого солдатишку за отвороты шинели, возил его на вытянутой руке и боязливо оглядывался на остальных, опасаясь удара сзади.

Шуршали на кукурузных будыльях сохлые листья. За холмистой равниной переливами синели отроги гор. Около деревушки по пажитям бродили рыжие коровы. Ветер клубил за перелеском морозную пыль. Сонлив и мирен был тусклый октябрьский день; благостным покоем, тишиной веяло от забрызганного скупым солнцем пейзажа. А неподалеку от дороги в бестолковой злобе топтались люди, готовились кровью своей травить сытую от дождей, обсемененную, тучную землю.

Страсти улеглись немного, и, пошумев, солдаты и казаки стали разговаривать мирнее.

— Мы трое суток как с позиций снялись! Мы не по тылам ходили! А вы бегете, совестно! Товарищей кидаете! Кто же фронт держать будет? Эх вы, люди!.. У меня вон у самого товарища под боком закололи — в секрете с ним были, а ты говоришь, что мы войны не нюхали. Понюхай ты ее так, как мы нюхали! — озлобленно говорил Кошевой.

— Чего там распотякивать! — перебил его один из казаков: — Идем в штаб — и безо всяких!

— Ослобоните дорогу, казаки! А то, видит бог, стрелять будем! — убеждал солдат шахтерского обличья.

Урядник сокрушенно разводил руками:

— Не могем мы исделать этого, браток! Нас побьете — все одно уйтить вам не придется: вон в деревне наша сотня стоит...

Высокий сутулый солдат то грозил, то уговаривал, то начинал униженно просить. Под конец он, суетясь, достал из грязного подсумка бутылку, оплетенную соломой, и, заискивающе мигая Кошевому, зашептал:

— Мы вам, казачки, и деньжонок прикинем и вот... водка немецкая... еще чего-нибудь соберем... Отпустите, ради Христа... Дома детишки, сам понимаешь... Измотались все, тоской изошли... До каких же пор?.. Господи!.. Неужели не отпустите? — Он торопливо достал из голенища кисет, вытряхнул из него две помятые керенки, настойчиво стал совать их в руки Кошевого.— Бери, бери! Фу, божа мой!.. Да ты не сомневайся... мы перебьемся и так!.. Деньга — это ничего... без нее можно... Бери! Еще соберем...

Опаленный стыдом, Кошевой отошел от него, пряча за спину руки, мотая головой. Кровь с силой кинулась ему в лицо, выжала из глаз слезы: «Через Бешняка озлел... Что ж это я... сам против войны, а людей держу,— какие же права имею?.. Мать честная, вот так набороздил! Этакая я псюрня!»

Он подошел к уряднику и отвел его в сторону; не глядя в глаза, сказал:

— Давай их пустим! Ты как, Колычев? Давай, ейбогу!..

Урядник, тоже блудя взглядом, будто совершал в этот миг что-то постыдное, проговорил:

— Пущай идут... Черта ли с ними делать? Мы сами скоро вокат на такой дистанции будем... Чего уж греха таить!

И, повернувшись к солдатам, крикнул негодующе:

— Подлюги! С вами, как с добрыми, со всей увежливостью, а вы нам денег? Да что, у нас своих мало, что ль? — и побагровел.— Хорони кошельки, а то в штаб попру!..

Казаки отошли в сторону. Поглядывая на далекие пустые улочки деревушки, Кошевой крикнул уходившим солдатам:

— Эй, кобылка! Куда ж вы на чистое претесь? Вон лесок, переднюйте в нем, а ночью дальше! А то ить на другой пост нарветесь,— заберут!

Солдаты поглядели по сторонам, пожались в нерешительности и, как волки, гуськом, грязно-серой цепкой потянулись в залохматевшую осинником ложбинку.

* * *

В первых числах ноября стали доходить до казаков разноречивые слухи о перевороте в Петрограде. Штабные ординарцы, обычно осведомленные лучше всех, утверждали, что Временное правительство бежало в Америку, а Керенского поймали матросы, остригли наголо и, вымазав в дегте, как гулящую девку, два дня водили по улицам Петрограда.

Позже, когда было получено официальное сообщение о свержении Временного правительства и переходе власти в руки рабочих и крестьян, казаки настороженно притихли. Многие радовались, ожидая прекращения войны, но тревогу вселяли глухие отголоски слухов о том, что 3-й конный корпус вместе с Керенским и генералом Красновым идет на Петроград, а с юга подпирает Каледин, успевший заблаговременно стянуть на Дон казачьи полки.

Фронт рушился. Если в октябре солдаты уходили разрозненными, неорганизованными кучками, то в конце ноября с позиций снимались роты, батальоны, полки; иные уходили налегке, но большей частью забирали полковое имущество, разбивали склады, постреливали офицеров, попутно грабили и раскованной, буйной, половодной лавиной катились на родину.

В сложившейся обстановке было бессмысленно назначение 12-го полка задерживать дезертиров, и полк — после того как его вновь кинули на позиции, тщетно пытаясь затыкать те дыры и прорехи, которые образовывала пехота, бросавшая свои участки,— в декабре снялся с позиций, походным порядком дошел до ближайшей станции и, погрузив все полковое имущество, пулеметы, запасы патронов, лошадей, тронулся внутрь перекипавшей в боях России.

Через Украину двигались эшелоны 12-го полка на Дон. Неподалеку от Знаменки полк пытались разоружить красногвардейцы. Переговоры длились полчаса. Кошевой и еще пятеро казаков, председатели сотенных ревкомов, просили пропустить их с оружием.

— Зачем вам оружие? — допытывались члены станционного Совета депутатов.

— Своих буржуев и генералов бить! Каледину хвост ломать! — за всех отвечал Кошевой.

— Оружие наше, войсковое, не дадим! — волновались казаки.

Эшелоны пропустили. В Кременчуге вновь пытались обезоружить. Согласились пропустить, лишь когда казаки-пулеметчики, установив у открытых дверей вагонов пулеметы, взяли под прицел станцию, а одна из сотен, рассыпавшись цепью, легла за полотном. Под Екатеринославом не помогла и перестрелка с красногвардейским отрядом,— полк все же частично обезоружили: взяли пулеметы, более сотни ящиков патронов, аппараты полевого телефона и несколько катушек проволоки. На предложение арестовать офицеров казаки ответили отказом. За всю дорогу потеряли лишь одного офицера — полкового адъютанта Чирковского, которого приговорили к смерти сами казаки, а привели в исполнение приговор Чубатый и какой-то красногвардеец-матрос.

Перед вечером 17 декабря на станции Синельниково казаки вытащили адъютанта из вагона.

— Этот самый предавал казаков? — весело спросил вооруженный маузером и японской винтовкой щербатый матрос-черноморец.

— Ты думал — мы обознались? Нет, мы не промахнулись, его вытянули! — задыхаясь, говорил Чубатый.

Адъютант, молодой подъесаул, затравленно озирался, гладил волосы потной ладонью и не чувствовал ни холода, жегшего лицо, ни боли от удара прикладом. Чубатый и матрос немного отвели его от вагона.

— Через таких вот чертей и бунтуются люди, и революция взыграла через таких... У-у-у, ты, коханый мой, не трясись, а то осыпешься,— пришептывал Чубатый и, сняв фуражку, перекрестился.— Держись, господин подъесаул!

— Приготовился? — играя маузером и шалой белозубой улыбкой, спросил Чубатого матрос.

— Го-тов!

Чубатый еще раз перекрестился, искоса глянул, как матрос, отставив ногу, поднимает маузер и сосредоточенно жмурит глаз — и, сурово улыбаясь, выстрелил первый.

Под Чаплином полк случайно ввязался в бой, происходивший между анархистами и украинцами, потерял трех казаков убитыми и насилу прорвался, с большим трудом прочистив путь, занятый эшелонами какой-то стрелковой дивизии.

Через трое суток головной эшелон полка уже выгружался на станции Миллерово.

Остальные застряли в Луганске.

Полк в половинном составе (остальные разъехались по домам еще со станции) пришел в хутор Каргин. На другой день с торгов продавали трофеи: приведенных с фронта отбитых у австрийцев лошадей, делили денежные суммы полка, обмундирование.

Кошевой и остальные казаки с хутора Татарского выехали домой вечером. Поднялись на гору. Внизу, над белесым ледяным извивом Чира, красивейший в верховьях Дона, лежал хутор Каргин. Из трубы паровой мельницы рассыпчатыми мячиками выскакивал дым; на площади чернели толпы народа; звонили к вечерне. За Каргинским бугром чуть виднелись макушки верб хутора Климовского, за ними, за полынной сизью оснеженного горизонта, искрился и багряно сиял дымный распластавшийся вполнеба закат.

Восемнадцать всадников миновали курган, подпиравший три обыневших диких яблоньки, и свежей рысью, поскрипывая подушками седел, пошли на северо-восток. Морозная воровски таилась за гребнем ночь. Казаки, кутаясь в башлыки, временами переходили на полевой намёт. Резко, звучно до боли щелкали подковы. На юг текла из-под конских копыт накатанная дорога; по бокам леденистая пленка снега, прибитого недавней ростепелью, держалась, цепляясь за травяные былки, при свете месяца блестела и переливалась меловым текучим огнем.

Казаки молча торопили коней. Стекала на юг дорога. Кружился на востоке в Дубовеньком буераке лес. Мелькали сбочь конских ног филейные [1] петли заячьих следов. Над степью наборным казачьим поясом-чеканом лежал нарядно перепоясавший небо Млечный Путь.

---

[1] Филе — здесь: вязаная сеткою (ячейками) работа (например, рыболовные сети).

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

Глубокой осенью 1917 года стали возвращаться с фронта казаки. Пришел постаревший Христоня с тремя казаками, служившими с ним в 52-м полку. Вернулись уволенные по чистой, по-прежнему голощекий Аникушка, батарейцы Томилин Иван и Яков Подкова, за ними — Мартин Шамиль, Иван Алексеевич, Захар Королев, нескладно длинный Борщев; в декабре неожиданно заявился Митька Коршунов, спустя неделю — целая партия казаков, бывших в 12-м полку: Мишка Кошевой, Прохор Зыков, сын старика Кашулина — Андрей Кашулин, Епифан Максаев, Синилин Егор.

На красивейшем буланом коне, взятом у австрийского офицера, приехал прямо из Воронежа отбившийся от своего полка калмыковатый Федот Бодовсков и после долго рассказывал, как пробирался он через взбаламученные революцией деревни Воронежской губернии и уходил из-под носа красногвардейских отрядов, полагаясь на резвость своего коня.

Следом за ним явились уже из Каменской бежавшие из обольшевиченного 27-го полка Меркулов, Петро Мелехов и Николай Кошевой. Они-то и принесли в хутор известие, что Григорий Мелехов, служивший в последнее время во 2-м запасном полку, подался на сторону большевиков, остался в Каменской. Там же, в 27-м полку, прижился бесшабашный в прошлом — конокрад Максимка Грязнов, привлеченный к большевикам новизною наступивших смутных времен и возможностями привольно пожить. Го-

ворили про Максимку, что обзавелся он конем невиданной уродливости и столь же невиданной лютой резвости; говорили, что у Максимкина коня через всю спину протянулся природный серебряной шерсти ремень, а сам конь невысок, но длинен и масти прямо-таки бычино-красной. Про Григория мало говорили,— не хотели говорить, зная, что разбились у него с хуторными пути, а сойдутся ли вновь — не видно.

Курени, куда вернулись казаки хозяевами или жданными гостями, полнились радостью. Радость-то эта резче, безжалостней подчеркивала глухую прижившуюся тоску тех, кто навсегда потерял родных и близких. Многих недосчитывались казаков — растеряли их на полях Галиции, Буковины, Восточной Пруссии, Прикарпатья, Румынии, трупами легли они и истлели под орудийную панихиду, и теперь позаросли бурьяном высокие холмы братских могил, придавило их дождями, позамело сыпучим снегом. И сколько ни будут простоволосые казачки выбегать на проулки и глядеть из-под ладоней,— не дождаться милых сердцу! Сколько ни будет из опухших и выцветших глаз ручьиться слез — не замыть тоски! Сколько ни голосить в дни годовщины и поминок — не донесет восточный ветер криков их до Галиции и Восточной Пруссии, до осевших холмиков братских могил!..

Травой зарастают могилы — давностью зарастает боль. Ветер зализал следы ушедших — время залижет и кровяную боль, и память тех, кто не дождался родимых и не дождется, потому что коротка человеческая жизнь и не много всем нам суждено истоптать травы...

Билась головой о жесткую землю жена Прохора Шамиля, грызла земляной пол зубами, наглядевшись, как ласкает вернувшийся брат покойного мужа, Мартин Шамиль, свою беременную жену, нянчит детей и раздает им подарки. Билась баба и ползала в корчах по земле, а около в овечью кучу гуртились детишки, выли, глядя на мать захлебнувшимися в страхе глазами.

Рви, родимая, на себе ворот последней рубахи! Рви жидкие от безрадостной, тяжкой жизни волосы, кусай свои в кровь искусанные губы, ломай изуродованные работой руки и бейся на земле у порога пустого куреня! Нет у твоего куреня хозяина, нет у тебя мужа, у детишек твоих — отца, и помни, что никто не приласкает ни тебя, ни твоих сирот, никто не избавит тебя от непосильной работы и нищеты, никто не прижмет к груди твою голову ночью,

когда упадешь ты, раздавленная усталью, и никто не скажет тебе, как когда-то говорил он: «Не горюй, Аниська! Проживем!» Не будет у тебя мужа, потому что высушили и издурнили тебя работа, нужда, дети; не будет у твоих полуголых, сопливых детей отца; сама будешь пахать, боронить, задыхаясь от непосильного напряжения, скидывать с косилки, метать на воз, поднимать на тройчатках тяжелые вороха пшеницы и чувствовать, как рвется что-то внизу живота, а потом будешь корчиться, накрывшись лохунами, и исходить кровью.

Перебирая старое бельишко Алексея Бешняка, плакала мать, точила горькие скупые слезы, принюхивалась, но лишь последняя рубаха, привезенная Мишкой Кошевым, таила в складках запах сыновнего пота, и, припадая к ней головой, качалась старуха, жалостно причитала, узорила клейменую бязевую грязную рубаху слезами.

Осиротели семьи Маныцкова, Афоньки Озерова, Евлантия Калинина, Лиховидова, Ермакова и других казаков.

Лишь по одному Степану Астахову никто не плакал — некому было. Пустовал его забитый дом, полуразрушенный и мрачный даже в летнюю пору. Аксинья жила в Ягодном, по-прежнему в хуторе о ней слышали мало, а она в хутор не заглядывала — не тянуло, знать.

Казаки верховых станиц Донецкого округа шли домой земляческими валками. В хутора Вешенской станицы в декабре почти полностью вернулись фронтовики.

Через хутор Татарский день и ночь тянулись конные, человек по десять — сорок, направляясь на левую сторону Дона.

— Откуда, служивые? — выходя, спрашивали старики.

— С Черной речки.

— С Зимовной.

— С Дубровки.

— С Решетовского.

— Дударевские.

— Гороховские.

— Алимовские,— звучали ответы.

— Навоевались, что ль? — ехидно пытали старики.

Иные фронтовики, совестливые и смирные, улыбались:

— Хватит, отцы! Навоевались.

— Нуждишки приняли, гребемся домой.

А те, которые поотчаянней, позлей, матерно ругались, советовали:

— Пойди-ка ты, старый, потрепи хвост!
— Чего допытываешься? Какого тебе надо?
— Вас тут много, шептунов!

В конце зимы под Новочеркасском уже завязывались зачатки гражданской войны, а в верховьях Дона, в хуторах и станицах, кладбищенская покоилась тишина. В куренях лишь шла скрытая, иногда прорывавшаяся наружу семейная междоусобица; старики не ладили с фронтовиками.

О войне, закипавшей под стольным градом Области Войска Донского, знали лишь понаслышке; смутно разбираясь в возникавших политических течениях, выжидали событий, прислушивались.

До января и на хуторе Татарском жили тихо. Вернувшиеся с фронта казаки отдыхали возле жен, отъедались, не чуяли, что у порогов куреней караулят их горшие беды и тяготы, чем те, которые приходилось переносить на пережитой войне.

II

Мелехов Григорий в январе 1917 года был произведен за боевые отличия в хорунжии, назначен во 2-й запасной полк взводным офицером.

В сентябре он, после того как перенес воспаление легких, получил отпуск; прожил дома полтора месяца, оправился после болезни, прошел окружную врачебную комиссию и вновь был послан в полк. После Октябрьского переворота получил назначение на должность командира сотни. К этому времени можно приурочить и тот перелом в его настроениях, который произошел с ним вследствие происходивших вокруг событий и отчасти под влиянием знакомства с одним из офицеров полка — сотником Ефимом Извариным.

С Извариным Григорий познакомился в первый день приезда из отпуска, после постоянно сталкивался с ним на службе и вне службы и незаметно для самого себя подпадал под его влияние.

Ефим Изварин был сыном зажиточного казака Гундоровской станицы, образование получил в Новочеркасском юнкерском училище, по окончании его отправился на фронт в 10-й Донской казачий полк, прослужил в нем около года, получил, как он говаривал, «офицерский Ге-

оргий на грудь и четырнадцать осколков ручной гранаты во все подобающие и неподобающие места» и попал для завершения недолгой своей служебной карьеры во 2-й запасной.

Человек недюжинных способностей, несомненно одаренный, образованный значительно выше той нормы, которой обычно не перерастало казачье офицерство, Изварин был заядлым казаком-автономистом. Февральская революция встряхнула его, дала возможность развернуться, и он, связавшись с казачьими кругами самостийного толка, умело повел агитацию за полную автономию Области Войска Донского, за установление того порядка правления, который существовал на Дону еще до порабощения казачества самодержавием. Он превосходно знал историю, носил горячую голову, умом был ясен и трезв; покоряюще красиво рисовал будущую привольную жизнь на родимом Дону — когда править будет державный Круг, когда не будет в пределах области ни одного русака и казачество, имея на своих правительственных границах пограничные посты, будет как с равными, не ломая шапок, говорить с Украиной и Великороссией и вести с ними торговлю и мену. Кружил Изварин головы простодушным казакам и малообразованному офицерству. Под его влияние подпал и Григорий. Вначале происходили у них горячие споры, но полуграмотный Григорий был безоружен по сравнению со своим противником, и Изварин легко разбивал его в словесных боях. Спорили обычно где-либо в углу казармы, причем сочувствие слушателей клонилось всегда на сторону Изварина. Он импонировал казакам своими рассуждениями, вычерчивая картину будущей независимой жизни,— трогал наиболее сокровенное, лелеемое большей частью зажиточного низового казачества.

— Как же мы без России будем жить, ежели у нас, окромя пшеницы, ничего нету? — спрашивал Григорий.

Изварин терпеливо разъяснял:

— Я не мыслю самостоятельного и обособленного существования одной Донской области. На основах федерации, то есть объединения, мы будем жить совместно с Кубанью, Тереком и горцами Кавказа. Кавказ богат минералами, там мы найдем все.

— А каменный уголь?

— У нас под рукой Донецкий бассейн!

— Но ить он принадлежит России!

— Кому он принадлежит и на чьей территории находится — это еще вопрос спорный. Но даже в том случае, если Донецкий бассейн отойдет России, мы очень мало теряем. Наш федеративный Союз будет базироваться не на промышленности. По характеру мы — край аграрный, а раз так, то для того, чтобы насытить нашу небольшую промышленность углем, мы будем закупать его в России. И не только уголь, но и многое другое нам придется покупать у России: лес, изделия металлической промышленности и прочее, а взамен будем снабжать их высокосортной пшеницей, нефтью.

— А какая нам выгода отделяться?

— Прямая. Прежде всего избавимся от политической опеки, восстановим свои уничтоженные русскими царями порядки, выселим всех пришлых иногородних. В течение десяти лет, путем ввоза из-за границы машин, так поднимем свое хозяйство, что обогатимся в десять раз. Земля эта — наша, кровью наших предков полита, костями их удобрена, а мы, покоренные Россией, защищали четыреста лет ее интересы и не думали о себе. У нас есть выходы к морю. У нас будет сильнейшая и боеспособнейшая армия, и не только Украина, но Россия не осмелится посягнуть на нашу независимость!

Среднего роста, статный, широкоплечий, Изварин был типичным казаком: желтоватые, цвета недозрелого овса, вьющиеся волосы, лицо смуглое, лоб покатый, белый, загар тронул только щеки и гранью лег на уровень белесых бровей. Говорил он высоким послушным тенором, в разговоре имел привычку остро ломать левую бровь и как-то по-своему поводить небольшим горбатым носом; от этого казалось, что он всегда к чему-то принюхивается. Энергическая походка, самоуверенность в осанке и в открытом взгляде карих глаз отличали его от остальных офицеров полка. Казаки относились к нему с явным уважением, пожалуй, даже с бо́льшим, чем к командиру полка.

Изварин подолгу беседовал с Григорием, и тот, чувствуя, как вновь зыбится под его ногами недавно устойчивая почва, переживал примерно то же, что когда-то переживал в Москве, сойдясь в глазной лечебнице Снегирева с Гаранжой.

Вскоре после Октябрьского переворота у них с Извариным происходил следующий разговор.

Обуреваемый противоречиями, Григорий осторожно расспрашивал о большевиках:

— А вот скажи, Ефим Иваныч, большевики, по-твоему, как они — правильно али нет рассуждают?

Углом избочив бровь, смешливо морща нос, Изварин кхакал:

— Рассуждают? Кха-кха... Ты, милый мой, будто новорожденный... У большевиков своя программа, свои перспективы и чаяния. Большевики правы со своей точки зрения, а мы со своей. Партия большевиков, знаешь, как именуется? Нет? Ну, как же ты не знаешь? Российская социал-демократическая *рабочая* партия! Понял? Рабочая! Сейчас они заигрывают и с крестьянами и с казаками, но основное у них — рабочий класс. Ему они несут освобождение, крестьянству — новое, быть может, худшее порабощение. В жизни не бывает так, чтобы всем равно жилось. Большевики возьмут верх — рабочим будет хорошо, остальным плохо. Монархия вернется — помещикам и прочим будет хорошо, остальным плохо. Нам не нужно ни тех, ни других. Нам необходимо *свое*, и прежде всего избавление ото всех опекунов — будь то Корнилов, или Керенский, или Ленин. Обойдемся на своем поле и без этих фигур. Избавь, боже, от друзей, а с врагами мы сами управимся.

— Но большинство казаков за большевиков тянут... знаешь?

— Гриша, ты, дружок, пойми вот что — это основное: *сейчас* казаку и крестьянину с большевиками по пути. Знаешь почему?

— Ну?

— Потому...— Изварин крутил носом, округляя его, смеялся: — Потому, что большевики стоят за мир, за немедленный мир, а казакам война вот где сейчас сидит!

Он звонко шлепал себя по тугой смуглой шее и, выравнивая изумленно вздыбленную бровь, кричал:

— Потому казаки пахнут большевизмом и шагают с большевиками в ногу. Но-о-о, как толь-ко кон-чит-ся война и большевики протянут к казачьим владениям руки, пути казачества и большевиков разойдутся! Это обоснованно и исторически неизбежно. Между сегодняшним укладом казачьей жизни и социализмом — конечным завершением большевистской революции — непереходимая пропасть...

— Я говорю...— глухо бурчал Григорий,— что ничего я не понимаю... Мне трудно в этом разобраться... Блукаю я, как в метель в степи...

— Ты этим не отделаешься! Жизнь заставит разобраться, и не только заставит, но и силком толкнет тебя на какую-нибудь сторону.

Разговор этот происходил в последних числах октября. А в ноябре Григорий случайно столкнулся с другим казаком, сыгравшим в истории революции на Дону немалую роль,— столкнулся Григорий с Федором Подтелковым, и после недолгих колебаний вновь перевесила в его душе прежняя правда.

В этот день изморосный дождь сеялся с полудня. Перед вечером прояснело, и Григорий решил пойти на квартиру к станичнику, подхорунжему 28-го полка Дроздову. Четверть часа спустя он уже вытирал о подстилку сапоги, стучался в дверь квартиры Дроздова. В комнате, заставленной тщедушными фикусами и потертой мебелью, кроме хозяина, сидел на складной офицерской койке, спиной к окну, здоровый, плотный казак с погонами вахмистра гвардейской батареи. Ссутулив спину, он широко расставил ноги в черных суконных шароварах, разложил на круглых широких коленях такие же широкие рыжеволосые руки. Гимнастерка туго облегала его бока, морщинилась под мышками, чуть не лопалась на широченной выпуклой груди. На скрип двери он повернул короткую полнокровную шею, холодно оглядел Григория и захоронил под припухлыми веками, в узких глазницах, прохладный свет зрачков.

— Обзнакомьтеся. Это, Гриша, почти сосед наш, усть-хоперский, Подтелков.

Григорий и Подтелков молча пожали друг другу руки. Садясь, Григорий улыбнулся хозяину:

— Я наследил тебе — не будешь ругать?

— Не, не бойсь. Хозяйка затрет... Чай будешь пить?

Хозяин, мелкорослый, подвижной, как вьюн, щелкнул самовар обкуренным охровым ногтем, посожалел:

— Холодный придется пить.

— Я не хочу. Не беспокойся.

Григорий предложил Подтелкову папиросу. Тот долго пытался ухватить белую, плотно вжатую в ряд трубочку своими крупными красными пальцами; багровея от смущения, досадливо сказал:

— Не ухвачу никак... Ишь ты, проклятая!

Он наконец-то выкатил на крышку портсигара папиросу, поднял на Григория прижмуренные в улыбке, от

этого еще более узкие, глаза. Григорию понравилась его непринужденность, спросил:

— С каких хуторов?

— Я сам рожак с Крутовского,— охотно заговорил Подтелков.— Там произрастал, а жил последнее время в Усть-Калиновском. Крутовский-то вы знаете — слыхал, небось? Он тут почти рядом с Еланской гранью. Плешаковский хутор знаешь? Ну, а за ним выходит Матвеев, а рядом уж нашей станицы Тюковновский хутор, а дальше и наши хутора, с каких я родом: Верхний и Нижний Крутовский.

Все время в разговоре он называл Григория то на «ты», то на «вы», говорил свободно и раз даже, освоившись, тронул тяжелой рукой плечо Григория. На большом, чуть рябоватом выбритом лице его светлели заботливо закрученные усы, смоченные волосы были приглажены расческой, возле мелких ушей взбиты, с левой стороны чуть курчавились начесом. Он производил бы приятное впечатление, если бы не крупный приподнятый нос да глаза. На первый взгляд, не было в них ничего необычного, но, присмотревшись, Григорий почти ощутил их свинцовую тяжесть. Маленькие, похожие на картечь, они светлели из узких прорезей, как из бойниц, приземляли встречный взгляд, влеплялись в одно место с тяжелым упорством.

Григорий с любопытством присматривался к нему, отметил одну характерную черту: Подтелков почти не мигал, разговаривая, он упирал в собеседника свой невеселый взгляд, говорил, переводя глаза с предмета на предмет, причем куценькие обожженные солнцем ресницы его все время были приспущены и недвижны. Изредка лишь он опускал пухлые веки и снова рывком поднимал их, нацеливаясь картечинами глаз, обегая ими все окружающее.

— Вот любопытно, братцы! — заговорил Григорий, обращаясь к хозяину и Подтелкову.— Кончится война — и по-новому заживем. На Украине Рада правит, у нас — Войсковой круг.

— Атаман Каледин,— вполголоса поправил Подтелков.

— Все равно. Какая разница?

— Разницы-то нету,— согласился Подтелков.

— России-матушке мы теперя низко кланялись,— продолжал Григорий пересказ речей Изварина, желая выведать, как отнесутся к этому Дроздов и этот здоровила из гвардейской батареи.— Своя власть, свои порядки. Хохлов с казачьей земли долой, протянем границы — и не

подходи! Будем жить, как в старину наши прадеды жили. Я думаю, революция нам на руку. Ты как, Дроздов?

Хозяин заюлил улыбкой, резвыми телодвижениями.

— Конешно, лучше будет! Мужики нашу силу переняли, житья за ними нету. Чтой-то за черт — наказные атаманья все какие-то немцы: фон Таубе, да фон Граббе, да разные подобные! Земли всем этим штаб-офицерам резали... Теперь хучь воздохнем.

— А Россия с этим помирится? — ни к кому не обращаясь, тихо спросил Подтелков.

— Небось, помирится,— уверил Григорий.

— И будет одно и то же... Тех же щей, да пожиже влей.

— Как это так?

— А точно так.— Подтелков проворней заворочал картечинами глаз, кинул лобовой грузный взгляд на Григория.— Так же над народом, какой трудящийся, будут атаманья измываться. Тянись перед всяким их благородием, а он тебя будет ссланивать по сусалам. Тоже... Прекрасная живуха... камень на шею — да с яру!

Григорий встал. Отмеряя по тесной горенке шаги, несколько раз касался расставленных колен Подтелкова; остановившись против него, спросил:

— А как же?

— До конца.

— До какого?

— Чтоб раз начали — значит, борозди до последнего. Раз долой царя и контрреволюцию — надо стараться, чтоб власть к народу перешла. А это — басни, детишкам утеха. В старину прижали нас цари, и теперь не цари, так другие-прочие придавют, аж запишшим!..

— Как же, Подтелков, по-твоему?

И опять забегали, разыскивая простор в тесной горенке, тяжелые на подъем глаза-картечины.

— Народную власть... выборную. Под генеральскую лапу ляжешь — опять война, а нам это лишнее. Кабы такая власть кругом, по всему свету, установилась: чтоб народ не притесняли, не травили на войне! А то что ж?! Худые шаровары хучь наизнанку выверни — все одно те же дыры.— Гулко похлопав ладонями по коленям, Подтелков зло улыбнулся, раздел мелкие несчетно-плотные зубы.— Нам от старины подальше, а то в такую упряжку запрягут, что хуже царской обозначится.

— А править нами кто будет?

— Сами! — оживился Подтелков.— Заберем свою власть — вот и правило. Лишь бы подпруги нам зараз чудок отпустили, а скинуть Калединых сумеемся!

Остановившись у запотевшего окна, Григорий долго глядел на улицу, на детишек, игравших в какую-то замысловатую игру, на мокрые крыши противоположных домов, на бледно-серые ветви нагого осокоря в палисаднике и не слышал, о чем спорили Дроздов с Подтелковым; мучительно старался разобраться в сумятице мыслей, продумать что-то, решить.

Минут десять стоял он, молча вычерчивая на стекле вензеля. За окном, над крышей низенького дома, предзимнее, увядшее тлело на закате солнце: словно ребром поставленное на ржавый гребень крыши, оно мокро багровело, казалось, что оно вот-вот сорвется, покатится по ту или эту сторону крыши. От городского сада, прибитые дождем, шершавые катились листья, и, налетая с Украины, с Луганска, гайдамачил над станицей час от часу крепчавший ветер.

III

Новочеркасск стал центром притяжения для всех бежавших от большевистской революции. Стекались в низовья Дона большие генералы, бывшие вершители судеб развалившейся русской армии, надеясь на опору реакционных донцов, мысля с этого плацдарма развернуть и повести наступление на Советскую Россию.

2 ноября в Новочеркасск прибыл в сопровождении ротмистра Шапрона генерал Алексеев. Переговорив с Калединым, он принялся за организацию добровольческих отрядов. Бежавшие с севера офицеры, юнкера, ударники, учащиеся, деклассированные элементы из солдатских частей, наиболее активные контрреволюционеры из казаков и просто люди, искавшие острых приключений и повышенных окладов, хотя бы и керенками,— составили костяк будущей Добровольческой армии.

В последних числах ноября прибыли генералы Деникин, Лукомский, Марков, Эрдели. К этому времени отряды Алексеева уже насчитывали более тысячи штыков.

6 декабря в Новочеркасске появился Корнилов, покинувший в дороге свой конвой текинцев и переодетым добравшийся до донских границ.

Каледин, успевший к этому времени стянуть на Дон почти все казачьи полки, бывшие на румынском и австро-германском фронтах, расположил их по железнодорожной магистрали Новочеркасск — Чертково — Ростов — Тихорецкая. Но казаки, уставшие от трехлетней войны, вернувшиеся с фронта революционно настроенные, не изъявляли особой охоты драться с большевиками. В составах полков оставалась чуть ли не треть нормального числа всадников. Наиболее сохранившиеся полки — 27-й, 44-й и 2-й запасной — находились в станице Каменской. Туда же в свое время были отправлены из Петрограда лейб-гвардии Атаманский и лейб-гвардии Казачий полки. Пришедшие с фронта полки 58-й, 52-й, 43-й, 28-й, 12-й, 29-й, 35-й, 10-й, 39-й, 23-й, 8-й и 14-й и батареи 6-я, 32-я, 28-я, 12-я и 13-я были расквартированы в Черткове, Миллерове, Лихой, Глубокой, Звереве, а также в районе рудников. Полки из казаков Хоперского и Усть-Медведицкого округов прибывали на станции Филоново, Урюпинская, Себряково, некоторое время стояли там, потом рассасывались.

Властно тянули к себе родные курени, и не было такой силы, что могла бы удержать казаков от стихийного влечения домой. Из донских полков лишь 1-й, 4-й и 14-й были в Петрограде, да и те задержались там ненадолго.

Некоторые особенно ненадежные части Каледин пытался расформировать или изолировать путем окружения наиболее устойчивыми частями.

В конце ноября, когда он в первый раз попытался двинуть на революционный Ростов фронтовые части, казаки, подойдя к Аксайской, отказались идти в наступление, вернулись обратно.

Широко развернувшаяся организация по сколачиванию «лоскутных» отрядов дала свои результаты: 27 ноября Каледин уже был в состоянии оперировать стойкими добровольческими отрядами, заимствуя силы и у Алексеева, собравшего к тому времени несколько батальонов.

2 декабря Ростов был с бою занят добровольческими частями. С приездом Корнилова туда перенесен был центр организации Добровольческой армии. Каледин остался один. Казачьи части раскидал он по границам области, двинул к Царицыну и на грань Саратовской губернии, но для актуальных, требовавших скорейшего разрешения задач употреблял лишь офицерско-партизанские отряды; на

них только могла опереться изо дня в день ветшавшая, немощная войсковая власть.

Для усмирения донецких шахтеров были кинуты свеженавербованные отряды. В Макеевском районе подвизался есаул Чернецов, там же находились и части регулярного 58-го казачьего полка. В Новочеркасске наскоро формировались отряды Семилетова, Грекова, различные дружины; на севере, в Хоперском округе, сколачивался из офицеров и партизан так называемый «отряд Стеньки Разина». Но с трех сторон уже подходили к области колонны красногвардейцев. В Харькове, Воронеже накапливались силы для удара. Висели над Доном тучи, сгущались, чернели. Орудийный гром первых боев уже несли ветры с Украины.

IV

Изжелта-белые, грудастые, как струги, тихо проплывали над Новочеркасском облака. В вышней заоблачной синеве, прямо над сияющим куполом собора, недвижно висел седой курчавый каракуль перистой тучи, длинный хвост ее волнами снижался и розово серебрился где-то над станицей Кривянской.

Неяркое вставало солнце, но окна атаманского дворца, отражая его, жгуче светились. На домах блестели покаты железных крыш, сырость вчерашнего дождя хранил на себе бронзовый Ермак, протянувший на север сибирскую корону.

По Крещенскому спуску поднимался взвод пеших казаков. На штыках их винтовок играло солнце. Граненой тишины утра, нарушаемой редкими пешеходами да дребезжаньем извозчичьей пролетки, почти не колебал четкий, чуть слышный шаг казаков.

В это утро с московским поездом приехал в Новочеркасск Илья Бунчук. Он последним вышел из вагона, одергивая на себе полы демисезонного старенького пальто, чувствуя себя в штатском неуверенно и непривычно.

На платформе прохаживались жандарм и две молоденькие чему-то смеявшиеся девушки. Бунчук пошел в город; дешевый, изрядно потертый чемодан нес под мышкой. За всю дорогу, до самой окраины улицы, почти не попадались люди. Спустя полчаса Бунчук, наискось пересекший город, остановился у небольшого полуразрушен-

ного домика. Давным-давно не ремонтированный домик этот выглядел жалко. Время наложило на него свою лапу, и под тяжестью ее ввалилась крыша, покривились стены, расхлябанно обвисли ставни, парализованно перекосились окна. Бунчук, открывая калитку, взволнованно обежал глазами дом и тесный дворик, спеша, зашагал к крыльцу.

В тесном коридорчике половину места занимал заваленный разной рухлядью сундук. В темноте Бунчук стукнулся коленом об угол его,— не чувствуя боли, рванул дверь. В передней низкой комнатке никого не было. Он прошел во вторую и, не найдя и там никого, стал на пороге. От страшно знакомого запаха, присущего только этому дому, у него закружилась голова. Взглядом охватил всю обстановку: тяжелый застав икон в переднем углу горницы, кровать, столик, пятнистое от старости зеркальце над ним, фотографии, несколько дряхлых венских стульев, швейную машину, тусклый от давнишнего употребления самовар на лежанке. С внезапно и остро застучавшим сердцем,— через рот, как при удушье, вдыхая воздух, Бунчук повернулся и, кинув чемодан, оглядел кухню; так же приветливо зеленела окрашенная фуксином лобастая печь, из-за голубенькой ситцевой занавески выглядывал старый пегий кот; в глазах его светилось осмысленное, почти человеческое любопытство — видно, редки были посетители. На столе беспорядочно стояла немытая посуда, около, на табуретке, лежал клубок пряденой шерсти, поблескивали вязальные спицы, пронизавшие с четырех углов недоконченный паголенок чулка.

Ничто не изменилось здесь за восемь лет. Словно вчера отсюда ушел Бунчук. Он выбежал на крыльцо. Из дверей сарая, стоявшего в конце двора, вышла сгорбленная, согнутая прожитым и пережитым старуха. «Мама!.. Да неужели?.. Она ли?..» Дрожа губами, Бунчук рванулся ей навстречу. Он сорвал с головы шапку, смял в кулаке.

— Вам кого надо? Кого вам? — встревоженно спрашивала старушка, прикладывая ладонь к выцветшим бровям, не двигаясь.

— Мама!..— глухо прорвалось у Бунчука.— Что же ты — не узнаешь?..

Спотыкаясь, он шел к ней, видел, как мать качнулась от его крика, словно от удара,— хотела, видно, бежать, но силы изменили, и она пошла толчками, будто преодолевая сопротивление ветра. Бунчук подхватил ее уже падающую, целуя маленькое сморщенное лицо, потускневшие от

испуга и безумной радости глаза, моргал беспомощно и часто.

— Илюша!.. Илюшенька!.. Сыночек! Не угадала.. Господи, откуда ты взялся?..— шептала старушка, пытаясь выпрямиться и стать на ослабевшие ноги.

Они вошли в дом. И тут только, после пережитых минут глубокого волнения, Бунчука вновь стало тяготить пальто с чужого плеча,— оно стесняло, давило под мышками, путало каждое движение. Он с облегчением сбросил его, присел к столу.

— Не думала живого повидать!.. Сколько годков не видались. Родименький мой! Как же мне тебя угадать, коли ты вон как вырос, постарел!

— Ну, ты как живешь, мама? — улыбаясь, расспрашивал Бунчук.

Путано рассказывая, она суетилась: собирала на стол, сыпала в самовар уголья и, размазывая по заплаканному лицу слезы и угольную черноту, не раз подбегала к сыну, гладила его руки, тряслась, прижимаясь к его плечу. Она нагрела воды, сама вымыла ему голову, достала откуда-то со дна сундука пожелтевшее от старости чистое белье, накормила родного гостя — и до полуночи сидела, глаз не сводила с сына, расспрашивала, горестно кивала головой.

На соседней колокольне пробило два часа, когда Бунчук улегся спать. Он уснул сразу и, засыпая, забыл настоящее: представлялось ему, что он, маленький разбойный ученик ремесленного училища, набегавшись, улегся, окунается в сон, а из кухни вот-вот откроет мать дверь, спросит строго: «Илюша, уроки-то выучил к завтрему?» — так и уснул с застывшей напряженно-радостной улыбкой.

До зари несколько раз подходила к нему мать, поправляла одеяло, подушку, целовала его большой лоб с приспущенной наискось русой прядью, неслышно уходила.

Через день Бунчук уехал. Утром пришел к нему товарищ в солдатской шинели и новехонькой защитной фуражке, что-то вполголоса сказал ему, и Бунчук засуетился, быстро собрал чемодан, кинул сверху пару выстиранного матерью белья,— болезненно морщась, натянул пальто. Попрощался с матерью комкано, наспех, обещал через месяц быть.

— Куда едешь-то, Илюша?

— В Ростов, мама, в Ростов. Скоро приеду... Ты... ты, мама, не горюй! — бодрил он старуху.

Она, торопясь, сняла с себя нательный маленький крест,— целуя сына, крестя его, надела на шею. Заправляла гайтан за воротник, а пальцы прыгали, кололи холодком.

— Носи, Илюша. Это — святого Николая Мирликийского. Защити и спаси, святой угодник-милостивец, укрой и оборони... Один он у меня...— шептала, прижимаясь к кресту горячечными глазами.

Порывисто обнимая сына, не сдержалась, углы губ дрогнули, горько поползли вниз. На волосатую руку Бунчука, как в весенний дождь, упала одна теплая капелька, другая. Бунчук рознял на своей шее руки матери, хмурясь, вырвался на крыльцо.

* * *

Народу на вокзале в Ростове — рог с рогом. Пол по щиколотки засыпан окурками, подсолнечной лузгой. На вокзальной площади солдаты гарнизона торгуют казенным обмундированием, табаком, крадеными вещами. Разноплеменная толпа, обычная для большинства южных приморских городов, медленно движется, гудит.

— Ас-с-смоловские, ас-с-смоловские рассыпные! — голосит мальчишка-папиросник.

— Дешево продам, господин-гражданин...— заговорщицки зашептал в самое ухо Бунчука какой-то подозрительного вида восточный человек и подмигнул на распухшую полу своей шинели.

— Семечки каленые, жареные! А вот семечки! — разноголосо верещат девицы и бабы, торгующие у входа.

Пробиваясь сквозь толпу, громко разговаривая, хохоча, прошло человек шесть матросов-черноморцев. На них праздничная форма, ленты, золото пуговиц, широкий клеш, захлюстанный в грязи. Перед ними почтительно расступались.

Бунчук шел, медленно буравя толпу.

— Золотая?! Черта с два! Самоварное твое золото... Что, я не вижу, что ли? — насмешливо говорил щуплый солдат искровой команды [1].

В ответ ему негодующе гудел продавец, размахивая сомнительно массивной золотой цепкой.

---

[1] Искровая команда — так назывались радиотелеграфисты.

— Что ты видишь?.. Золото! Червонное, коли хочешь знать, у мирового судьи добыто... А ну, иди к черту, рвань! Тебе пробу подавай... а этого не хочешь?

— Флот не пойдет... что там глупости пороть! — слышалось рядом.

— А чего не пойдет?

— В газетах в этих...

— Пацан, неси сюда!

— Мы за пятый номер [1] голосили. Иначе нельзя, не с руки...

— Мамалыга! Вкусная мамалыга! Прикажите!

— Эшелонный обещал: мол, завтра тронемся.

Бунчук разыскал здание комитета партии, по лестнице поднялся на второй этаж. Вооруженный японской винтовкой с привинченным ножевым штыком, ему преградил путь рабочий-красногвардеец.

— Вам кого, товарищ?

— Мне товарища Абрамсона. Он здесь?

— Третья комната налево.

Невысокий, носатый, жуково-черный человек, заложив пальцы левой руки за борт сюртука, правой методически взмахивая, напирал на собеседника — пожилого железнодорожника:

— Так нельзя! И это не есть организация! При подобных приемах агитации вы будете иметь обратные результаты!

Железнодорожник что-то хотел говорить, оправдываться, судя по смущенно-виноватому выражению его лица, но человек с жуково-черной головой не давал ему рта раскрыть; находясь, видимо, в степени крайнего раздражения, он выкрикивал, не желая слушать собеседника и избегая его взгляда:

— Сейчас же отстраните от работы Митченко! Мы не можем безучастно смотреть на происходящее у вас. Верхоцкий будет отвечать перед революционным судом! Он арестован? Да?.. Я буду настаивать, чтобы его расстреляли! — жестко докончил он и повернулся к Бунчуку разгоряченным лицом; еще не окончательно овладев собой, резко спросил: — Вам что?

— Вы Абрамсон?

— Да.

---

[1] Пятым номером обозначался список большевистских кандидатов на выборах в Учредительное собрание.

Бунчук подал ему документы и письмо от одного из ответственнейших петроградских товарищей, присел около, на подоконнике.

Абрамсон внимательно перечитал письмо, хмуро улыбнувшись (ему неловко было за свой резкий окрик), попросил:

— Обождите несколько, сейчас мы с вами поговорим.

Он отпустил взопревшего железнодорожника, вышел, через минуту привел с собой рослого бритого военного, с голубым проследком рубленой раны вдоль нижней челюсти, с выправкой кадрового офицера.

— Это член нашего Военно-революционного комитета. Познакомьтесь. Вы, товарищ... простите, я забыл вашу фамилию.

— Бунчук.

— ...товарищ Бунчук... вы, кажется, по специальности пулеметчик?

— Да.

— Это нам и требуется! — улыбнулся военный.

Шрам его на всем протяжении, от кончика уха до подбородка, порозовел от улыбки.

— Вы сможете в возможно короткий срок организовать нам пулеметную команду из рабочих-красногвардейцев? — спросил Абрамсон.

— Постараюсь. Дело во времени.

— Ну, а сколько вам необходимо времени? Неделю, две, три? — наклоняясь к Бунчуку, спрашивал военный и просто, выжидающе улыбался.

— Несколько дней.

— Отлично.

Абрамсон тер лоб, сказал с заметной ноткой раздражения:

— Части гарнизона крайне деморализованы, они не имеют реальной ценности. У нас, товарищ Бунчук, как и везде, полагаю, надежда на рабочих. Моряки — да, а солдаты... Поэтому, понимаете, и хотелось бы иметь своих пулеметчиков.— Он подергал синие кольца бороды, спросил озабоченно: — Вы как в смысле материального обеспечения? Ну, мы это устроим. Обедали вы сегодня? Ну конечно, нет!

«Сколько же тебе пришлось голодать, браток, что ты с одного взгляда отличаешь сытого от голодного, и сколько пережил ты горя либо ужаса, прежде чем у тебя появился вот этот седой клок?» — с растроганной ласковостью по-

думал Бунчук, глядя на жуковую голову Абрамсона, белевшую справа ослепительно ярким пятном седины. И уже шагая с провожатым на квартиру Абрамсона, Бунчук все думал о нем: «Вот это парень, вот это большевик! Есть злой упор, и в то же время сохранилось хорошее, человеческое. Он не задумывается подмахнуть смертный приговор какому-нибудь саботажнику Верхоцкому и в то же время умеет беречь товарища и заботиться о нем».

Весь под теплым впечатлением встречи с Абрамсоном, он дошел до его квартиры, где-то в конце Таганрогского, отдохнул в маленькой, заваленной книгами комнатке, пообедал, предъявил записку Абрамсона квартирной хозяйке, прилег на кровать. Уснул и не помнил как.

V

В течение четырех дней с утра до вечера Бунчук занимался с рабочими, присланными в его распоряжение комитетом партии. Их было шестнадцать. Люди самых разнообразных профессий, возрастов и даже национальностей. Двое грузчиков, полтавский украинец Хвылычко и обрусевший грек Михалиди, наборщик Степанов, восемь металлистов, забойщик с Парамоновского рудника Зеленков, тщедушный пекарь-армянин Геворкянц, квалифицированный слесарь из русских немцев Иоганн Ребиндер, двое рабочих депо, и семнадцатую путевку принесла женщина в ватной солдатской теплушке, в больших, не по ноге, сапогах.

Принимая от нее закрытый пакет, не догадываясь о цели ее прихода, Бунчук спросил:

— Вы на обратном пути можете зайти в штаб?

Она улыбнулась, растерянным движением поправляя широкую прядь волос, выбившуюся из-под платка, несмело сказала:

— Я направлена к вам...— и, преодолевая минутное смущение, запнулась,— в пулеметчики.

Бунчук густо покраснел.

— Что они там — с ума спятили? Женский батальон у меня, что ли?.. Вы простите, но для вас это неподходящее дело: работа тяжелая, необходимо наличие мужской силы... Ведь это что же?.. Нет, я не могу вас принять!

Он, нахмурясь, вскрыл пакет, бегло пробежал путевку, где суховато было сказано, что в его распоряжение на-

правляется член партии товарищ Анна Погудко, и несколько раз перечитал приложенную к путевке записку Абрамсона.

«Дорогой тов. Бунчук!

Посылаем к Вам хорошего товарища Анну Погудко. Мы уступили ее горячим настояниям и, посылая ее, надеемся, что Вы сделаете из нее боевого пулеметчика. Я знаю эту девушку. Горячо рекомендуя ее Вам, прошу об одном: она — ценный работник, но горяча, немного экзальтирована (еще не перебродила молодость), удерживайте ее от безрассудных поступков, берегите.

Цементирующим составом, ядром у Вас, несомненно, эти восемь человек металлистов; из них обращаю внимание на т. Богового. Очень дельный и преданный революции товарищ. Ваш пулеметный отряд по составу — интернационален,— это хорошо: будет боеспособней.

Ускорьте обучение. Есть сведения, будто бы Каледин собирается в поход на нас.

С тов. приветом *С. Абрамсон*»

Бунчук глянул на стоявшую перед ним девушку (дело происходило в подвальном помещении, в одном из домов на Московской улице, где производилось обучение). Скупой свет тушевал ее лицо, делал черты его невнятными.

— Ну что же? — неласково сказал он.— Если это ваше собственное пожелание... и Абрамсон вот просит... Оставайтесь.

* * *

Зевлоротого «максима» густо облепляли со всех сторон, гроздьями висели над ним, опираясь на спины передних, следили жадно-любопытствующими глазами, как под умелыми руками Бунчука споро распадался он на части. Бунчук вновь собирал его четкими, рассчитанно-медленными движениями, объяснял устройство и назначение отдельных частей, учил способам обращения, показывал правила наводки, прицела, объяснял меры деривации [1] по траектории, предельную досягаемость в полете пули. Учил, как располагаться во время боя, чтобы не подвер-

[1] Деривация — отклонение вправо во время полета снарядов и пуль нарезного оружия.

гаться поражению под обстрелом противника; сам ложился под щит с обтрескавшейся защитной краской, говорил о преимущественном выборе места, о расположении ящиков с лентами.

Все усваивали легко, за исключением пекаря Геворкянца. У того все не клеилось: сколько ни показывал ему Бунчук правила разборки,— никак не мог запомнить, путал, терялся, шептал смущенно:

— Зачем не получается? Ах, что я... виноватый... надо вот этого сюда. Опять не виходит!..— вскрикивал он отчаянно.— Зачем?

— Вот тебе и «зачем»! — передразнивал его смуглолицый, с синими крапинками пороха на лбу и щеках, Боговой.— Потому не получается, что бестолковый ты. Вот как надо! — показывал он, уверенно вкладывая часть в принадлежащее ей место.— Я вон с детства интерес имел к военному делу,— под общий хохот тыкал пальцем в свои синии конопины по лицу: — Пушку делал, ее разорвало,— пришлось пострадать. Зато вот теперь способности проявляю.

Он и действительно легче и быстрее всех усвоил пулеметное дело. Отставал один Геворкянц. Чаще всего слышался его плачущий, раздосадованный голос:

— Опять не так! Зачем — не знаю!

— Какой ишек, ка-а-акой ишек! На вся Нахичевань один такой! — возмущался злой грек Михалиди.

— На редкость бестолков! — соглашался сдержанный Ребиндер.

— Оце тоби нэ бублыки месить! — фыркал Хвылычко, и все беззлобно посмеивались.

Один Степанов, румянея, раздраженно кричал:

— Надо товарищу показывать, а не зубы скалить!

Его поддерживал Крутогоров, большой, рукастый, глаза навыкат, пожилой рабочий депо.

— Смеетесь, колотушники, а дело стоит! Товарищ Бунчук, уйми свою кунсткамеру или гони их к чертям! Революция в опасности, а им — смешки! — басил он, размахивая кувалдистым кулаком.

С острой любознательностью вникала во все Анна Погудко. Она назойливо приставала к Бунчуку, хватала его за рукава неуклюжего демисезона, неотступно торчала около пулемета.

— А если вода замерзнет в кожухе — тогда что? А при большом ветре какое отклонение? А это как, товарищ

Бунчук? — осаждала она вопросами и выжидающе поднимала на Бунчука большие с неверным и теплым блеском черные глаза.

В ее присутствии чувствовал он себя как-то неловко; словно отплачивая за эту неловкость, относился к ней с повышенной требовательностью, был подчеркнуто холоден, но что-то волнующее, необычное испытывал, когда по утрам, исправно, ровно в семь, входила она в подвал, зябко засунув руки в рукава зеленой теплушки, шаркая подошвами больших солдатских сапог. Она была немного ниже его ростом, полна той тугой полнотой, которая присуща всем здоровым, физического труда девушкам,— может быть, немного сутула и, пожалуй, даже некрасива, если б не большие сильные глаза, диковинно красившие всю ее.

За четыре дня он даже не разглядел ее толком. В подвале было полутемно, да и неудобно и некогда было рассматривать ее лицо. На пятый день вечером они вышли вместе. Она шла впереди; поднявшись на последнюю ступеньку, повернулась к нему с каким-то вопросом, и Бунчук внутренне ахнул, глянув на нее при вечернем свете. Она, привычным жестом оправляя волосы, ждала ответа, чуть откинув голову, скосив в его сторону глаза. Но Бунчук прослушал; медленно всходил он по ступенькам, стиснутый сладостно-болезненным чувством. У нее от напряжения (неловко было управляться с волосами, не скинув платка) чуть шевелились просвеченные низким солнцем розовые ноздри. Линии рта были мужественны и в то же время — детски нежны. На приподнятой верхней губе темнел крохотный пушок, четче оттеняя неяркую белизну кожи.

Бунчук нагнул голову, будто под ударом,— сказал с пафосной шутливостью:

— Анна Погудко... пулеметчик номер второй, ты хороша, как чье-то счастье!

— Глупости! — сказала она уверенно и улыбнулась.— Глупости, товарищ Бунчук!.. Я спрашиваю, во сколько мы пойдем на стрельбище?

От улыбки стала как-то проще, доступней, земней. Бунчук остановился с ней рядом; ошалело глядя в конец улицы, где застряло солнце, затопляя все багровым половодьем, ответил тихо:

— На стрельбище? Завтра. Куда тебе идти? Где ты живешь?

Она назвала какой-то окраинный переулок. Пошли вместе. На перекрестке догнал их Боговой.

— Бунчук, слушай! Как же завтра соберемся?

Дорогой пояснил Бунчук, что собираться за Тихой рощей, туда Крутогоров и Хвылычко привезут на извозчике пулемет; сбор в восемь утра. Боговой прошел с ними два квартала, распрощался. Бунчук и Анна Погудко шли несколько минут молча. Она спросила, скользнув боковым взглядом:

— Вы — казак?

— Да.

— Офицер в прошлом?

— Ну, какой я офицер!

— Откуда вы родом?

— Новочеркасский.

— Давно в Ростове?

— Несколько дней.

— А до этого?

— В Петрограде был.

— С какого года в партии?

— С тысяча девятьсот тринадцатого.

— А семья у вас где?

— В Новочеркасске,— скороговоркой буркнул он и просяще протянул руку: — Подожди, дай мне спросить: ты — уроженка Ростова?

— Нет, я родилась в Екатеринославщине, но последнее время жила здесь.

— Теперь я буду спрашивать... Украинка?

Она секунду колебалась, ответила твердо:

— Нет.

— Еврейка?

— Да. А что? Разве меня выдает язык?

— Нет.

— А почему догадался, что я — еврейка?

Он, стараясь попасть в ногу, уменьшая шаг, ответил:

— Ухо, форма уха и глаза. А так в тебе мало от твоей нации...— Подумав, добавил: — Это хорошо, что ты у нас.

— Почему? — заинтересовалась она.

— Видишь ли: за евреями упрочилась слава, и я знаю, что многие рабочие так думают,— я ведь сам рабочий,— вскользь заметил он,— что евреи только направляют, а сами под огонь не идут. Это ошибочно, и ты вот блестящим образом опровергаешь это ошибочное мнение. Ты училась?

— Да, я кончила в прошлом году гимназию. А у вас какое образование? Я потому это спрашиваю, что разговор изобличает ваше нерабочее происхождение.

— Я много читал.

Шли медленно. Она нарочно кружила по переулкам и, коротко рассказав о себе, продолжала расспрашивать его о корниловском выступлении, о настроении питерских рабочих, об Октябрьском перевороте.

Где-то на набережной мокро хлопнули винтовочные выстрелы, отрывисто просек тишину пулемет. Анна не преминула спросить:

— Какой системы?

— Льюис.

— Какая часть ленты израсходована?

Бунчук не ответил, любуясь на оранжевое, посыпанное изумрудной изморозью щупальце прожектора, рукасто тянувшееся от стоявшего на якоре тральщика к вершине вечернего, погоревшего в закате неба.

Проходив часа три по безлюдному городу, они расстались у ворот дома, где жила Анна.

Бунчук возвращался домой, согретый неосознанной внутренней удовлетворенностью. «Хороший товарищ, умная девушка! Хорошо так поговорили с ней — и вот тепло на душе. Огрубел за это время, а дружеское общение с людьми необходимо, иначе зачерствеешь, как солдатский сухарь...» — думал он, обманывая самого себя и сам сознавая, что обманывает.

Абрамсон, только что пришедший с заседания военно-революционного комитета, стал расспрашивать о подготовке пулеметчиков; между прочим спросил и об Анне Погудко:

— Как она? Если неподходящая,— мы ее можем направить на другую работу, заменить.

— Нет, что ты! — испугался Бунчук.— Очень способная девушка!

Он испытывал почти непреодолимое желание говорить о ней и сдержался лишь благодаря большому усилию воли.

VI

25 ноября в полдень к Ростову были стянуты из Новочеркасска войска Каледина. Началось наступление. Вдоль линии железной дороги, по обе стороны насыпи, шли

жидкие цепи офицерского алексеевского отряда. На правом фланге погуще двигались серые фигуры юнкеров. Добровольцы отряда генерала Попова обтекали красноглинистый ярок на левом фланге. Некоторые, издали казавшиеся крохотными серыми комочками, прыгали в яр; перебираясь на эту сторону, подтягивались, останавливались, вновь текли.

В красногвардейской цепи, рассыпавшейся на окраинах Нахичевани, сказывалось суетливое беспокойство. Рабочие, многие в первый раз взявшие винтовки, испытывали боязнь, переползали, пачкая свои черные пальто осенней грязью; иные поднимали головы, рассматривали далекие, уменьшенные пространством фигуры белых.

Около пулемета в цепи Бунчук, привстав на колени, глядел в бинокль. Накануне он променял свой несуразный демисезон на шинель, чувствовал себя в ней привычно, спокойно.

Огонь открыли без команды. Не выдержали напряженной тишины. Едва лишь жиганул первый выстрел, Бунчук выругался, крикнул, вставая во весь рост:

— Пре-кра-тить!..

Крик его захлестнула дробная стукотуха выстрелов, и Бунчук махнул рукой; стараясь перекричать стрельбу, скомандовал Боговому: «Огонь!» Тот припал к замку улыбающимся, но землистым лицом, положил пальцы на ручки затыльника. Знакомая строчка пулемета пронизала слух Бунчука. Минуту вглядывался в направление залегшей цепи противника, стараясь определить попадание, потом, вскочив, побежал вдоль цепи к остальным пулеметам.

— Огонь!

— Даем!.. Го-го-го-го! — гремел Хвылычко, поворачивая к нему напуганное и счастливое лицо.

Около третьего от центра пулемета были ребята не совсем надежные. Бунчук бежал к ним. На полпути он, пригнувшись, поглядел в бинокль: в запотевших окружьях стекол виднелись шевелившиеся серые комочки. Оттуда ударили четким, сколоченным залпом. Бунчук упал и уже лежа определил, что прицел третьего пулемета не верен.

— Ниже! Черти!..— кричал он, извиваясь, переползая вдоль цепи.

Пули тянули над ним близкий смертный высвист. Правильно, как на ученье, стреляли алексеевцы.

У пулемета, нелепо высоко задравшего нос, пластами лежали номера: наводчик грек Михалиди, взяв несуразно высокий прицел, жарил без передышки, растрачивая запас лент; около него квохтал перепуганный, позеленевший Степанов; позади, воткнув голову в землю, сгорбясь, как черепаха, чуть приподнявшись на вытянутых ногах, корячился железнодорожник, друг Крутогорова.

Оттолкнув Михалиди, Бунчук долго щурился, примеривая прицел, а когда рубанул и, содрогаясь, размеренно зататакал под его руками пулемет,— сказались и результаты: перебиравшаяся перебежкой кучка юнкеров сыпанула с пригорка назад, потеряла одного на суглинистой плешине.

Бунчук вернулся к своему пулемету. Бледный Боговой (ярче синели пороховые пятна на его щеках) лежал на боку, выхаркивая ругательства, перевязывал раненную в мякоть ногу.

— Стреляй, в закон-мать!..— становясь на четвереньки, орал лежавший рядом огнисто-рыжий красногвардеец.— Стреляй! Не видишь, что наступают?!

Цепи офицерского отряда парадной перебежкой текли вдоль насыпи.

Богового заменил Ребиндер. Умело, экономно, не горячась, повел стрельбу.

А с левого фланга заячьими скачками вскидывался Геворкянц, падал от каждой пролетавшей над ним пули,— охая, прыгал к Бунчуку:

— Не виходит!.. Не стреляет!..

Бунчук, почти не прикрываясь, бегом скользил вдоль изломисто легшей цепи.

Еще издали увидел: Анна на коленях стоит возле пулемета, из-под ладони, отводя нависающую прядь волос, смотрит на вражескую цепь.

— Ложись!..— чернея от страха за нее, наливаясь кровью, крикнул Бунчук.— Ложись, тебе говорят!..

Она глянула в его сторону — и осталась так же стоять. С губ Бунчука просилось тяжелое, как камень, ругательство. Он добежал до нее, с силой пригнул к земле.

За щитом сопел Крутогоров.

— Заело! Не идет! — дрожа, прошептал он Бунчуку и, ища глазами Геворкянца, поперхнулся криком: — Сбежал, проклятый! Ихтизавр твой допотопный сбежал... Он мне душу разодрал своими стонами!.. Работать не дает!..

Геворкянц подполз, извиваясь по-змеиному. На черной щетине его небритой бороды засохла грязь. Крутогоров секунду смотрел на него, повернув бычью потную шею,— завопил, покрывая гром стрельбы:

— Ленты куда задевал?.. Ископаемый!.. Бунчук! Бунчук! Убери его — я его уничтожу!..

Бунчук копался над пулеметом. Пуля с силой цокнула в щит — и он отдернул руки, как от горячего.

Наладив, сам повел стрельбу. Заставил лечь перебегавших бесстрашно алексеевцев и отполз, разыскивая глазами прикрытие.

Цепи противника подвигались ближе. В бинокль видно было, как добровольцы шли — винтовки на ремнях, редко ложась. Огонь их стал жестче. В красногвардейской цепи у трех уже, подползая, взяли товарищи винтовки и патроны — мертвым оружие не надобно... На глазах Анны и Бунчука, лежавшего рядом с пулеметом Крутогорова, в цепи сразила пуля молоденького парнишку-красногвардейца. Он долго бился и хрипел, колотил землю ногами в обмотках и под конец, опираясь на разбросанные руки, привстал, покряхтел, ткнулся лицом, в последний раз выдохнув воздух. Бунчук смотрел сбоку на Анну. Из огромных расширенных глаз девушки сочился текучий ужас. Она, не мигая, глядела на ноги убитого парня в солдатских, измочаленных временем обмотках, не слышала, как Крутогоров в упор кричал ей:

— Ленту!.. Ленту!.. Давай!.. Девка, давай ленту!

Глубоким фланговым охватом калединцы оттеснили красногвардейскую цепь. По улицам предместья Нахичевани мелькали черные пальто и шинели отступавших красногвардейцев. Крайний с правого фланга пулемет попал в руки белых. Грека Михалиди в упор застрелил какой-то портупей-юнкер, второго номерного искололи штыками, как учебное чучело; из номерных уцелел один лишь наборщик Степанов.

Отступление приостановилось, когда с тральщиков полетели первые снаряды.

— В цепь!.. За мной!..— крикнул, выбегая вперед, знакомый Бунчуку член ревкома.

Качнулась и, ломаясь, пошла в наступление красногвардейская цепь. Мимо Бунчука и жавшихся к нему Крутогорова, Анны и Геворкянца прошли трое — почти рядом. Один курил, другой на ходу стукал по колену затвором винтовки, третий сосредоточенно разглядывал измазанные

полы своего пальто. На лице его, в кончиках усов, путалась виноватая усмешка — словно не на смерть шел он, а возвращался с товарищеской пирушки домой и, глядя на измазанное пальто, определял степень наказания, которому подвергнет его сварливая жинка.

— Вот они! — крикнул Крутогоров, указывая на дальнюю изгородь и копошившихся за ней серых человечков.

— Устанавливай! — Бунчук по-медвежьи крутнул пулемет.

Бодрый говор пулемета заставил Анну заткнуть уши. Она присела, увидела, как за изгородью стихло движение, а через минуту оттуда размеренно забились залпы, и, высверливая невидимые дыры в хмарной парусине неба, потекли над головами пули.

Колотилась барабанная дробь пачечной стрельбы, сухо выгорали змеившиеся у пулеметов ленты. Одиночные выстрелы лопались полнозвучно и зрело. Давил скрежещущий, перемешанный с визгом вой пролетавших через головы снарядов, посылаемых черноморцами с тральщиков. Анна видела: один из красногвардейцев, рослый, в мерлушковой шапке, с усами, подстриженными по-английски, встречая и невольным поклоном провожая каждый пролетавший снаряд, кричал:

— Сыпь, Семен, подсыпай, Семен! Сыпь им гуще!

Снаряды и в самом деле ложились гуще. Моряки, пристрелявшись, вели комбинированный огонь. Отдельные кучки медленно отходивших калединцев покрывались частыми очередями шрапнели. Один из снарядов орудия, бившего на поражение, разорвался среди отступавшей неприятельской цепи. Бурый столб разрыва разметал людей, над воронкой, опадая, рассасывался дым. Анна бросила бинокль, ахнула, грязными ладонями закрыла опаленные ужасом глаза — она видела в близком окружье стекол смерчевый вихрь разрыва и чужую гибель. Горло ее перехватила прогорклая спазма.

— Что? — крикнул Бунчук, наклоняясь к ней.

Она стиснула зубы, расширенные зрачки ее помутились.

— Не могу...

— Мужайся! Ты... Анна, слышишь? Слышишь?.. Нельзя так!.. Нель-зя!..— стучался ей в ухо властным окриком.

На правом фланге, на подступах небольшой возвышенности, в балке накапливалась пехота противника.

Бунчук заметил это: перебежав с пулеметом на более удобное место, взял возвышенность и балку под обстрел.

Та-та-та-та-та!.. Та-та-та-та-та-так! — неровно, обрывисто работал пулемет Ребиндера.

Шагах в двадцати кто-то, охриплый, сердитый, кричал:

— Носилки!.. Нет носилок?.. Носилки!..

— Прице-е-ел...— тягуче пел голос взводного из фронтовых солдат,— восемнадцать... Взвод, пли!

К вечеру над суровой землей, снижаясь, завертелись первые снежинки. Через час мокрый, липкий снег притрусил поле и суглинисто-черные комочки убитых, никло полегших везде, где, наступая и отходя, топтались цепи сражавшихся.

К вечеру отошли калединцы.

В эту мутно белевшую молодым снегом ночь Бунчук был в пулеметной заставе. Крутогоров, накинув на голову где-то добытую богатую попону, ел мокрое волокнистое мясо, плевал, ругался вполголоса. Геворкянц, здесь же, в воротах окраинного двора, грел над цигаркой синие, сведенные холодом пальцы, а Бунчук сидел на цинковом патронном ящике, кутая в полу шинели зябко дрожавшую Анну, отрывал от глаз ее плотно прижатые влажные ладони, изредка целовал их. Непривычные, туго сходили с губ слова нежности.

— Ну, как же это так?.. Ты ведь твердая была... Аня, послушай, возьми себя в руки!.. Аня!.. Милая... дружище!.. К этому привыкнешь... Если гордость не позволяет тебе уйти, то будь иной. А на убитых нельзя так смотреть... Проходи мимо, и все! Не давай мыслям воли, взнуздывай их. Вот видишь: хотя ты и говорила, а женское одолевает тебя.

Анна молчала. Пахли ладони ее осенней землей и теплом женщины. Перепадающий снежок крыл небо тусклой, ласковой поволокой. Хмельная дрема стыла над двором, над близким полем, над притаившимся городом.

VII

Шесть дней под Ростовом и в самом Ростове шли бои.

Дрались на улицах и перекрестках. Два раза красногвардейцы сдавали ростовский вокзал и оба раза выбивали оттуда противника. За шесть дней не было пленных ни с той, ни с другой стороны.

Перед вечером 26 ноября Бунчук, проходя с Анной мимо товарной станции, увидел, как двое красногвардейцев пристреливают офицера, взятого в плен; отвернувшейся Анне сказал чуть вызывающе:

— Вот это мудро! Убивать их надо, истреблять без пощады! Они нам пощады не дадут, да мы в ней и не нуждаемся, и их нечего миловать. К черту! Сгребать с земли эту нечисть! И вообще — без сантиментов, раз дело идет об участи революции. Правы они, эти рабочие!

На третий день он заболел. Сутки держался на ногах, ощущая постоянную нарастающую тошноту, слабость во всем теле,— чугунным звоном и непреодолимой тяжестью наливалась голова.

Растрепанные красногвардейские отрядики уходили из города на рассвете 2 декабря. Бунчук шел за повозкой с пулеметом и ранеными, поддерживаемый Анной и Крутогоровым. Он с величайшим трудом нес свое обмякшее, бессильное тело, как во сне переставлял железно-неподатливые ноги, встречал далекий призывно-встревоженный взгляд Анны, и словно издалека слух его воспринимал ее слова.

— Сядь на повозку, Илья. Слышишь? Ты понимаешь меня, Илюша? Прошу тебя, присядь, ведь ты болен!

Но Бунчук не понимал ее слов, не понимал и того, что, надломив, борет и уже одолел его тиф. Где-то снаружи бились, не проникая в сознание, чужие и странно знакомые голоса, где-то, удаленные расстоянием, горели исступленным, тревожным огнем черные глаза Анны,— чудовищно раскачиваясь, клубилась борода Крутогорова.

Бунчук хватался за голову, прижимал к пылающему, багровому лицу свои широкие ладони. Ему казалось, что из глаз его сочится кровь, а весь мир, безбрежный, неустойчивый, отгороженный от него какой-то невидимой занавесью, дыбится, рвется из-под ног. Бредовое воображение его лепило невероятные образы. Он часто останавливался, сопротивлялся Крутогорову, хотевшему усадить его на повозку.

— Не надо! Подожди! Ты кто такой?.. А где Анна?.. Дай мне земли комочек... А этих уничтожай — под пулемет по моей команде! Наводка прямая!.. Постой! Горячо!..— хрипел он, выдергивая из рук Анны свою руку.

Его силой уложили на повозку. Минуту он еще ощущал резкую смесь каких-то разнородных запахов, со страхом пытался вернуть сознание, переламывал себя — и не пе-

реломил. Замкнулась над ним черная, набухшая беззвучием пустота. Лишь где-то в вышине углисто горел какой-то опаловый, окрашенный голубизною клочок да скрещивались зигзаги и петли червонных молний.

VIII

С крыш падали пожелтевшие от соломы сосульки, разбивались со стеклянным звоном. В хуторе лужинами и проталинами цвела оттепель; по улицам, принюхиваясь, бродили невылинявшие коровы. По-весеннему чулюкали воробьи, копошась в кучах сваленного на базах хвороста. На площади Мартин Шамиль гонялся за сбежавшим с база сытым рыжим конем. Конь, круто поднимая мочалистый донской хвост, трепля по ветру нерасчесанную гриву, взбрыкивал, далеко кидал с копыт комья талого снега, делал круги по площади, останавливался у церковной ограды, нюхал кирпич; подпускал хозяина, косил фиолетовый глаз на уздечку в его руках и вновь вытягивал спину в бешеном намёте.

Пасмурными теплыми днями баловал землю январь. Казаки, глядя на Дон, ждали преждевременного разлива. Мирон Григорьевич в этот день долго стоял на заднем базу, глядел на взбухший снегом луг, на ледяную сизо-зелень Дона, думал: «Гляди, накупает и в нынешнем году, как в прошлом. Снегов-то, снегов навалило! Небось, тяжело под ними землице,— не воздохнет!»

Митька в одной защитной гимнастерке чистил коровий баз. Белая папаха чудом держалась на его затылке. Мокрые от пота, прямые волосы падали на лоб. Митька отводил их тылом грязной, провонявшей навозом ладони. У ворот базка лежали сбитые в кучу мерзлые слитки скотиньего помета, по ним топтался пушистый козел. Овцы жались к плетню. Ярка, переросшая мать, пыталась сосать ее, мать гнала ее ударами головы. В стороне, кольцерогий черный, чесался о соху валух.

У амбара с желтой, окрашенной глиной дверью валялся на сугреве брудастый желтобровый кобель. Снаружи под навесом, на стенах амбара висели вентери; на них глядел дед Гришака, опираясь на костыль,— видно, думал о близкой весне и починке рыболовных снастей.

Мирон Григорьевич прошел на гумно, хозяйским глазом обмерял прикладки сена, начал было подгребать граб-

лями раздерганную козами просяную солому, но до слуха его дошли чужие голоса. Он кинул на скирд грабли, пошел на баз.

Митька, отставив ногу, вертел папироску, богато расшитый любушкой кисет держал меж двух пальцев. Около него стояли Христоня и Иван Алексеевич. Со дна голубой атаманской фуражки Христоня доставал замусоленную курительную бумажку. Иван Алексеевич, прислонясь к плетеным воротцам база, распахнув шинель, шарил по карманам ватных солдатских штанов. На глянцево выбритом лице, с глубокой, черневшей на подбородке дыркой, тенилась досада: видимо, забыл что-то.

— Здорово ночевал, Мирон Григорич! — поздоровался Христоня.

— Слава богу, служивые!

— Иди под общий кур.

— Спаси Христос. Недавно покурил.

Поручкавшись с казаками, Мирон Григорьевич снял красноверхий треух, погладил торчмя стоявшие белесые волосы и улыбнулся.

— Из чего доброго пожаловали, братцы атаманцы?

Христоня сверху вниз поглядел на него, ответил не сразу: сначала долго слюнил бумажку, елозил по ней большим, шершавым, как у быка, языком и, уже скрутив, пробасил:

— К Митрию, стал быть, дельце есть.

Мимо прошаркал дед Гришака. Ободья вентерей нес, держа на отлет. Иван Алексеевич и Христоня, здороваясь с ним, сняли шапки. Дед Гришака отнес к крыльцу вентери, вернулся.

— Вы чего же это, вояки, дома сидите? Пригрелись возля баб? — обратился он к казакам.

— А что? — спросил Христоня.

— Ты, Христошка, замолчь! Кубыть и не знаешь?

— Ей-богу, не знаю! — забожился Христоня.— Вот те крест, деданя, не знаю!

— Человек надысь ехал с Воронежа, купец, знакомец Сергея Платоныча Мохова, али сродствие ему какое доводится,— не знаю. Ну, так вот, ехал и гутарит, что на Чертковой стоит чужая войска — болшаки эти самые. Русь на нас войной идет, а вы — по домам? И ты, поганец... слышишь, Митька? Ты-то чего молчишь? Чего вы думаете?

— А ничего мы не думаем,— улыбнулся Иван Алексеевич.

— То-то и беда, что ничего не думаете! — горячился дед Гришака.— Вас, как куропатей, в осилки возьмут! Вот заполонят вас мужики, набьют вам сопелки...

Мирон Григорьевич сдержанно улыбался; Христоня, проводя по щекам рукой, шуршал щетиной давно не бритой бороды; Иван Алексеевич, покуривая, глядел на Митьку, а у того в торчевых кошачьих зрачках толпились огоньки, и нельзя было понять — смеются зеленые его глаза или дымятся несытой злобой.

Поговорив немного, Иван Алексеевич и Христоня попрощались, отозвали к калитке Митьку.

— Ты почему вчера не пришел на собрание? — строго спросил Иван Алексеевич.

— Время не указало.

— А к Мелеховым было время ходить?

Митька кивком головы кинул на лоб папаху, сказал, скрытно злобясь:

— Не пришел — и все тут. Об чем будем гутарить?

— Были все хуторные фронтовики, Петро Мелехов не был. Ты знаешь... решили делегатов посылать от хутора в Каменскую. Там десятого января съезд фронтовиков. Жребий трясли, досталось нам троим ехать: мне, Христану вот и тебе.

— Я не поеду,— решительно заявил Митька.

— Ты что? — Христоня нахмурился и взял его за пуговицу гимнастерки.— Отбиваешься от своих? Не с руки.

— Он с Мелеховым Петькой...— Иван Алексеевич тронул рукав Христониной шинели, сказал, заметно бледнея: — Ну, пойдем. Тут, видно, делать нам нечего... Не поедешь, Митрий?

— Нет... Сказал «нет»,— значит — нет.

— Прощевай! — Христоня скособочил голову.

— Час добрый!

Митька, отводя взгляд, протянул ему горячую руку, пошел к куреню.

— Гад! — вполголоса сказал Иван Алексеевич и коротко подрожал ноздрями.— Гад! — звонче повторил он, глядя в широкую спину уходившего Митьки.

Дорогой, заходя попутно, уведомили кое-кого из фронтовиков, что Коршунов отказался ехать и что завтра они вдвоем выезжают на съезд.

8 января с рассветом Христоня и Иван Алексеевич выехали из хутора. Вез их по собственной охоте Яков Подкова. Пара добрых коней в дышловой запряжке быст-

ренько миновала хутор, выбралась на бугор. Оттепель оголила дорогу. Местами, где слез снег, полозья липли к земле, сани двигались толчками, лошади налегали, натягивая постромки.

Казаки шли позади саней. Подкова, красный от легкого утренника, шагал, с хрустом дробя сапогами звонистый ледок. На лице его полыхал румянец, лишь овальный шрам трупно синел.

Сбоку от дороги, по зернистому, осевшему снегу, поднимался в гору Христоня, хватая легкими воздух, задыхаясь, потому что пришлось в 1916 году понюхать под Дубно немецких удушливых газов.

На бугре широко гуляли ветры. Было холодней. Казаки молчали. Иван Алексеевич кутал лицо воротником тулупа. Дальний приближался лесок. Дорога, прокалывая его, выходила на курганистый гребень. В лесу ручьисто журчился ветер. На стволах сохатых дубов золотою прозеленью узорились чешуйчатые плиты ржавчины. Где-то далеко стрекотала сорока. Она пролетела над дорогой, косо избочив хвост. Ветер сносил ее, и в стремительном полете летела она, накренившись, мелькая рябым опереньем.

Подкова, молчавший от самого хутора, повернулся к Ивану Алексеевичу, сказал раздельно (наверное, давно заготовив в уме эту фразу):

— На съезде постарайтесь, чтоб было без войны дело. Охотников не найдется.

— Понятно,— согласился Христоня, завистливо глядя на вольный полет сороки, и в мыслях сравнил бездумно-счастливую птичью жизнь с людской.

В Каменскую они приехали к вечеру 10 января. По улицам большой станицы шли к центру толпы казаков. Чувствовалось заметное оживление. Разыскав квартиру Мелехова Григория, Иван Алексеевич и Христоня узнали, что его дома нет. Хозяйка, дородная белобрысая женщина, сказала, что квартирант ушел на съезд.

— Где он, этот самый, стал быть, съезд? — спросил Христоня.

— Наверное, в окружном управлении или на почте,— ответила хозяйка, равнодушно захлопывая дверь перед носом Христони.

Съезд был в полном разгаре. Большая, многооконная комната едва вместила делегатов. Казаки толпились на лестнице, в коридорах, в соседних комнатах.

— Держи за мной,— закряхтел Христоня, работая локтями.

В узкую щель, образовавшуюся за ним, устремился Иван Алексеевич. Почти у самого входа в комнату, где происходил съезд, Христоню остановил один из казаков,— судя по выговору, низовской.

— Ты бы потише толкался, чебак! — язвительно сказал он.

— Пусти что ль!

— Постоишь и тут! Видишь — некуда!

— Пусти, комарь, а то — к ногтю. Раздавлю, стал быть! — пообещал Христоня и, легко приподняв, передвинул мелкорослого казака, шагнул вперед.

— Ай да ведмедишше!

— Здоров, атаманец!

— Трясило добрый! На нем бы четырехдюймовые возить!

— Как он его посунул-то!

Казаки, стоявшие тесным гуртом, заулыбались, с невольным почтением разглядывая Христоню, бывшего на голову выше всех.

Григория нашли у задней стены. Сидя на корточках, он курил, беседовал с каким-то казаком — делегатом 35-го полка. Он увидел хуторян — и вислые вороненo-черные усы его дрогнули в улыбке.

— Тю... каким вас ветром занесло? Здорово, Иван Алексеевич! Здорово живешь, дядя Христан!

— Здорова, да, стал быть, не дюже семенна,— посмеивался Христоня, забирая в свою полуаршинную ладонь всю руку Григория.

— Как там наши?

— Слава богу. Поклон прислали. Отец наказывал, чтоб приехал проведать.

— Петро как?

— Петро...— Иван Алексеевич неловко улыбнулся,— Петро с нашим братом не якшается.

— Знаю. Ну, а Наталья? Детишки? Припадало видать?

— Все здоровые, кланялись. Батюшка-то обиду держит...

Христоня, поводя головой, разглядывал сидевший за столом президиум. Ему и сзади было видней всех. Григорий продолжал расспрашивать, пользуясь небольшим перерывом в заседании. Рассказывая про хутор, хуторские новости, Иван Алексеевич кратко передал о собрании

фронтовиков, пославших его с Христоней сюда. Он начал было разузнавать, что и как происходит в Каменской, но в это время кто-то из сидевших за столом объявил:

— Зараз, станишники, скажет делегат от рабочих шахтеров. Просьба — слухать со вниманием, а также порядок блюсть.

Среднего роста человек поправил зачесанные вверх русые волосы, заговорил. Сразу, как обрубленный, смолк пчелиный гул голосов.

С первых же слов его горячей, прожженной страстью речи Григорий и остальные почувствовали силу чужого убеждения. Он говорил о предательской политике Каледина, толкающего казачество на борьбу с рабочим классом и крестьянством России, об общности интересов казаков и рабочих, о целях, которые преследуют большевики, ведя борьбу с казачьей контрреволюцией.

— Мы протягиваем братскую руку трудовому казачеству и надеемся, что в борьбе с белогвардейской бандой мы найдем верных союзников в лице фронтового казачества. На фронтах царской войны рабочие и казаки вместе лили кровь, и в войне со слетками буржуазии, пригретыми Калединым, мы должны быть вместе — и будем вместе! Рука с рукой мы пойдем в бой против тех, кто порабощал трудящихся в течение целых столетий! — гремел его трубный голос.

— С-с-сукин сын! язви его в почки!..— восторженно шептал Христоня и так стискивал локоть Григория, что Григорий морщился.

Иван Алексеевич слушал, чуть приоткрыв рот, от напряжения часто мигал, бормотал:

— Верно! Вот это верно!

После делегата говорил, раскачиваясь, как ясень под ветром, какой-то высокий шахтер. Встал он, выпрямился, будто складной,— оглядел многоглазую толпу и долго выжидал, пока утихнет гомон. Был шахтер этот вроде баржевого каната: узловат, надежно крепок, сух, отсвечивал зеленым — будто прокупорошенный. В порах лица его крохотными, несмываемыми точками чернела угольная пыль, и таким же угольным блеском томились соловые, обесцвеченные вечными потемками и черными пластами земляной утробы глаза. Он встряхнул короткими волосами, взмахом стиснутых в кулачья рук, как кайло всадил.

— Кто на фронте ввел смертную казнь для солдат? Корнилов! Кто с Калединым душит нас? Он! — и зачастил,

захлестнулся криком: — Казаки! Братцы! Братцы! Братцы! К кому же вы пристанете? Каледину охота есть, чтоб мы кровью братской опились! Нет! Нет! Не будет ихнего дела! Задавим, в бога, в потемки мать! Гидров этих в море спрудим!

— С-с-сукин сын!..— Христоня, раздирая рот улыбкой, всплеснул руками и не выдержал, загоготал: — Вер-на-а!.. Дай им взвару!

— Заткнись! Христан, что ты? Выкинут тебя! — испугался Иван Алексеевич.

Лагутин — букановский казак и первый председатель казачьего отдела при ВЦИКе второго созыва — жег казаков кровяными, нескладными, но бравшими за живое словами. Говорил председательствовавший Подтелков, его сменил красивый, с усами, подстриженными по-английски, Щаденко.

— Кто это? — вытягивая граблястую руку, допытывался у Григория Христоня.

— Щаденко. Командир у большевиков.

— А это?

— Мандельштам.

— Откель?

— С Москвы.

— А эти кто такие? — указывал Христоня на группу делегатов воронежского съезда.

— Помолчи хучь трошки, Христан.

— Господи божа, да ить, стал быть, любопытственно!.. Ты мне скажи: вон энтот, что рядом с Подтелковым сидит, длинный такой, он — кто?

— Кривошлыков, еланский, с хутора Горбатова. За ним наши — Кудинов, Донецков.

— Ишо разок спытаю... А вон энтот... да нет!.. вон крайний, с чубом?

— Елисеев... не знаю, какой станицы.

Христоня, удовлетворенный, замолкал, слушал нового оратора с прежним неослабным вниманием и первый покрывал сотни голосов своим густым октавистым «верна-а-а!..».

После Стехина, одного из казаков-большевиков, выступил делегат 44-го полка. Он долго давился вымученными, шершавыми фразами; скажет слово, как тавро поставит в воздухе,— и молчит, шмурыгает носом; но казаки слушали его с большим сочувствием, изредка лишь пре-

рывали криками одобрения. То, что говорил он, видимо, находило среди них живой отклик.

— Братцы! Надо нашему съезду так подойти к этому серьезному делу, чтоб не было народу обидно и чтоб покончилось оно все тихо-благо! — тянул он, как заика.— Я к тому говорю, чтоб обойтиться нам без кровавой войны. И так три года с половиной мурели в окопах, а ежели, к тому сказать, ишо доведется воевать, то казаки уморились...

— Правильна-а-а!..

— Совершенно верно!

— Не хотим войны!..

— Надо договориться и с большевиками, и с Войсковым кругом!

— Миром надо, а не абы как... Нечего шаровариться!

Подтелков громил кулаками стол — и рев смолкал. Вновь, потрагивая сибирьковую бородку, тянул делегат 44-го полка:

— Надо нам послать своих от съезда депутатов в Новочеркасск и добром попросить, чтобы добровольцы и разные партизаны уходили отсель. А большевикам у нас то же самое делать нечего. Мы со врагами рабочего народа сами сладим. Чужой помочи нам покеда что не требуется, а как потребуется,— мы их тады попросим оказать нам помочь.

— Не к делу этакая речь!

— Верна-а-а!

— Погоди, погоди! Чего «верна»? А ну как они нас прижмут на склизком, а тогда — проси помочи. Нет, пока поспеют каныши, так у бабушки не будет и души.

— Свою власть надо исделать.

— Курочка в гнезде, а яичко ишо... прости бог! То-то народ глупой!

После делегата 44-го полка сыпал призывно-горячие слова Лагутин. Его прерывали криками. Поступило предложение устроить перерыв на десять минут, но сейчас же, как только восстановилась тишина, Подтелков кинул в жарко согретую толпу:

— Братья казаки! Покуда мы тут совещаемся, а враги трудового народа не дремают. Мы всё хотим, чтоб и волки были сытые и овцы целые, а Каледин — он не так думает. Нами перехвачен его приказ об аресте всех участников вот этого съезда. Сейчас этот приказ будет прочитан вслух.

По толпам делегатов зыбью прошлось волнение, после того как был оглашен приказ Каледина об аресте членов съезда. Вздыбился шум, в стократ больший, чем на любом станичном майдане.

— Дело делать, а не разговорами займаться!

— Тиш-ш-ше!.. Чш-ш-ш!..

— Чего там «тише»! Круши!..

— Лобов! Лобов!.. Скажи им словцо!..

— Погодим трошки!..

— Каледин — он не дурак!

Григорий молча вслушивался, глядел на заходившие враскачку головы и руки делегатов и не утерпел,— приподнимаясь на цыпочки, загорланил:

— Да замолчите же, черти!.. Базар вам тут? Дайте вон Подтелкову слово сказать!..

Иван Алексеевич сцепился спорить с одним из делегатов 8-го полка.

Христоня рычал, отбиваясь от нападавшего на него полчанина:

— Тут па карауле надо, стал быть, находиться! Ты мне... да чего ты брешешь?.. Маланья! Эх ты, друг-дружок! Курюк у нас тонок — самим управиться!

Громыханье голосов улеглось (так выбившийся из сил ветер ложится на волну пшеницы и клонит ее долу), в недозревшую тишину всверлился девичье-тонкий голос Кривошлыкова:

— Долой Каледина! Да здравствует казачий Военно-революционный комитет!

Толпа застонала. В тяжелый, хлещущий по ушам жгут скрутились слитные раскатистые крики одобрения. Кривошлыков остался стоять с поднятой рукой. Пальцы на ней, как листья на черенках, меленько дрожали. Едва лишь, немея, простерся оглушительный рев,— так же тонко, заливисто и голосисто, как на травле волка, Кривошлыков крикнул:

— Предлагаю избрать из своей среды казачий Военно-революционный комитет! Ему поручить вести борьбу с Калединым и органи...

— Га-а-а-а-а!..— снарядным взрывом лопнул крик. Осколками посыпались с потолка куски отвалившейся штукатурки.

Начались выборы членов ревкома. Незначительная часть казаков, руководимая выступавшим делегатом 44-го полка и другими, продолжала настаивать на мирном ула-

живании конфликта с войсковым правительством, но большинство присутствовавших на съезде уже не поддерживало их; казаки взбугрились, выслушав приказ Каледина об их аресте,— настаивали на активном противодействии Новочеркасску.

Григорий не дождался конца выборов — его срочно вытребовали в штаб полка. Уходя, попросил Христоню и Ивана Алексеевича:

— Как кончится,— идите домой ко мне. Любопытно — кто пройдет в члены.

Иван Алексеевич вернулся ночью.

— Подтелков — председателем, Кривошлыков — секретарем! — с порога заявил он.

— Члены?

— Там и Лагутин Иван и Головачев, Минаев, Кудинов, ишо какие-то.

— А Христан где же? — спросил Григорий.

— Он с казаками направился каменские власти арестовывать. Распалился казак, плюнь на него — зашипит. Беда!

Христоня вернулся на рассвете. Долго сопел, разуваясь, бурчал что-то вполголоса. Григорий зажег лампу,— увидел на побуревшем лице его кровь и огнестрельную царапину выше лба.

— Кто это тебя?.. Перевязать? Я зараз... погоди, вот бинт найду,— вскочил с кровати, разыскал марлю и бинт.

— Заго́ится, как на собаке,— урчал Христоня.— Это меня, стал быть, воинский начальник скобленул с нагана. Пришли к нему, как гости, с парадного, а он зачал обороняться. Ишо одного казака ранил. Хотел душу с него, стал быть, вынуть: поглядеть, какая она из себя, офицерская душа,— казаки не свелели, а то бы я его пошшупал... Уж пошшупал бы до болятки!

IX

Съезд фронтового казачества в станице Каменской объявил о переходе власти в руки Военно-революционного комитета. Узнав об этом, Ленин сказал по радио: на Дону сорок шесть казачьих полков объявили себя правительством и воюют с Калединым.

Казаки-фронтовики послали в Петроград, на Всероссийский съезд Советов своих делегатов. В Смольном их принял Ленин.

— Сотрите с лица земного врагов народа, выгоните Каледина из Новочеркасска...— призывал казаков Всероссийский съезд Советов.

На другой день после съезда в Каменской в станицу прибыл, по приказу Каледина, 10-й Донской казачий полк — арестовать всех участников съезда и обезоружить наиболее революционные казачьи части.

На станции в это время был митинг. Огромнейшая толпа казаков бурлила, по-разному реагируя на речь оратора.

Поднявшийся на трибуну Подтелков говорил:

— Отцы и братья, я ни в какую партию не записан и не большевик. Я стремлюсь только к одному: к справедливости, к счастью, братскому союзу всех трудящихся, так, чтобы не было никакого гнета, чтобы не было кулаков, буржуев и богачей, чтобы всем свободно и привольно жилось... Большевики этого добиваются и за это борются. Большевики — это рабочие, такие же трудящиеся, как и мы, казаки. Только рабочие-большевики сознательнее нашего: нас в темноте держали, а они в городах лучше нашего научились жизнь понимать. Выходит, значит, что и я большевик, хотя в партию большевиков и не записан.

Полк, выгрузившись, примкнул к митингу. Отборно рослые, вылощенные гундоровцы, наполовину составлявшие кадры полка, смешались с казаками других полков. В настроении их сейчас же произошел резкий перелом. На приказ командира полка о выполнении распоряжения Каледина казаки ответили отказом. Среди них началось брожение, как следствие усиленной агитации, которую развернули сторонники большевиков.

А в это время Каменскую трепала прифронтовая лихорадка: наскоро сбитые отряды казаков высылались на занятие и закрепление взятых станций, часто отходили эшелоны, отправлявшиеся по направлению Зверево — Лихая. В частях шли перевыборы командного состава. Под сурдинку уезжали из Каменской казаки, не желавшие войны. С запозданием явились делегаты от хуторов и станиц. На улицах замечалось небывало оживленное движение.

13 января в Каменскую прибыла для переговоров делегация от белого донского правительства, в составе председателя Войскового круга Агеева, членов Круга: Светозарова, Уланова, Карева, Бажелова и войскового старшины Кушнарева.

У вокзала встретила их густая толпа народа. Охрана из казаков Лейб-гвардии Атаманского полка проводила прибывших до здания почтово-телеграфной конторы. Всю ночь происходило заседание членов Военно-революционного комитета совместно с прибывшей делегацией правительства.

От Военно-революционного комитета, присутствовало семнадцать человек. Подтелков первый, отвечая на речь Агеева, обвинявшего Военно-революционный комитет в измене Дону и соглашении с большевиками, дал ему резкую отповедь. После выступали Кривошлыков, Лагутин. Речь войскового старшины Кушнарева неоднократно прерывалась криками сгрудившихся в коридоре казаков. Один из пулеметчиков от имени революционных казаков требовал ареста делегации.

Совещание не привело ни к каким результатам. Уже около двух часов ночи, когда стало ясно, что соглашение не может быть достигнуто, было принято предложение члена Войскового круга Карева о приезде в Новочеркасск делегации от Военно-революционного комитета для окончательного вырешения вопросов о власти.

Следом за уехавшей делегацией донского правительства в Новочеркасск отправились и представители Военно-революционного комитета во главе с Подтелковым. По общему выбору были делегированы: Подтелков, Кудинов, Кривошлыков, Лагутин, Скачков, Головачев и Минаев. Заложниками остались арестованные в Каменской офицеры Атаманского полка.

X

За окном вагона рябила метель. Над полуразрушенным частоколом щитов виднелись прилизанные ветром, затвердевшие сугробы. Изломистые крыши их были причудливо исчерчены следами птичьих ног.

На север уходили полустанки, телеграфные столбы и вся бескрайная, жуткая в снежном своем однообразии степь.

Подтелков, в новой кожаной тужурке, сидел у окна. Против него, облокотясь на столик, смотрел в окно узкоплечий, сухой, как подросток, Кривошлыков. В детски ясных глазах его дневали тревога и ожидание. Лагутин расческой гладил небогатую русую бороденку. Здоровый ка-

зачина Минаев грел над трубой парового отопления руки, ерзал по лавке.

Головачев со Скачковым о чем-то тихо беседовали, лежа на верхних полках.

В вагоне было в меру накурено, прохладно. Члены делегации чувствовали себя, отправляясь в Новочеркасск, не совсем уверенно. Разговоры не вязались. Нудная кисла тишина. Проехали Лихую. Подтелков высказал общую мысль:

— Не будет дела. Не столкуемся.

— Зряшняя поездка,— поддержал его Лагутин.

Снова долго молчали. Подтелков размеренно шевелил кистью руки, словно челнок пропускал сквозь сетные ячейки. Изредка он поглядывал на неяркий отлив своей кожаной тужурки, любуясь ею.

Близился Новочеркасск. Поглядев по карте на Дон, разбежисто уходивший от города, Минаев стал тихо рассказывать:

— Бывало, отслужут казаки в Атаманском полку сроки,— снаряжают их к отправке по домам. Грузят сундуки, имепье свое, коней. Эшелон идет, и вот под Воронежем, где первый раз приходится переезжать через Дон, машинист, какой ведет поезд, дает тихий ход,— самый что ни есть тихий... он уже знает, в чем дело. Только что поезд выберется на мост,— батюшки мои!.. что тут начинается! Казаки прямо бесются: «Дон! Дон наш! Тихий Дон! Отец родимый, кормилец! Ур-р-ра-а-а-а!» — и в окны кидают, с моста прямо в воду, через железный переплет, фуражки, шинеля старые, шаровары, наволоки, рубахи, разную мелочь дарят Дону, возвертаясь со службы. Бывалоча, глянешь,— а по воде голубые атаманские фуражки, как лебедя али цветки, плывут... Издавна такой обычай повелся.

Замедляя ход, поезд остановился. Казаки повставали. Кривошлыков, застегивая ремень на шинели, криво улыбнулся:

— Ну вот и приехали восвояси!

— Что-то не несут хлеб-соль! — попробовал пошутить Скачков.

В дверь без стука вошел высокий, бравый есаул. Он оглядел членов делегации щупающими, злыми глазами, с нарочитой грубоватостью сказал:

— Мне поручено сопровождать вас. Потрудитесь-ка,

господа большевики, поскорее покинуть вагон. Я не ручаюсь за толпу и... за вашу сохранность.

Он дольше, чем на всех, задержал глаза на Подтелкове, вернее — на его офицерской тужурке; уже с подчеркнутой враждебностью скомандовал:

— Выходите из вагона, живо!

— Вот они, мерзавцы, предатели казачества! — крикнул с облитого толпой перрона какой-то длинноусый офицер.

Подтелков побледнел, глянул на Кривошлыкова чуть растерянным, косящим взглядом. Тот выходил следом за Подтелковым; улыбаясь, шепнул:

— «Мы слышим звуки одобренья не в сладком рокоте хвалы, а в диких криках озлобленья...» Слышишь, Федор?

И Подтелков, хотя и не расслышал последних слов, все же улыбнулся.

Их сопровождал сильный офицерский наряд. До самого областного правления бесновалась провожавшая их, жаждавшая самосудной расправы, толпа. Бесчинствовали, оскорбляя делегатов, не только офицеры и юнкера, но и какие-то казаки, и прилично одетые женщины, и учащиеся.

— Какое вы допущаете безобразие! — обратился к одному из сопровождавших их офицеров возмущенный Лагутин.

Тот смерил его ненавидящими глазами, прошептал:

— Благодари бога что живой останешься... Моя бы власть — я бы тебе, хамлюга... у-у-у, падаль!

Его остановил упрекающим взглядом другой, помоложе.

— Ну и переплет! — улучил момент шепнуть Головачеву Скачков.— Будто на смёртную казнь ведут.

Зал областного правления не вмещал собравшегося народа. Пока прибывшие делегаты рассаживались по одну сторону стола, следуя указаниям какого-то распорядительного сотника,— подошли члены правительства.

Твердым, во всю ступню, волчьим шагом прошел чуть сутулый Каледин, сопутствуемый Богаевским. Он отодвинул свой стул, уселся, спокойным движением положил на стол защитную фуражку, белевшую офицерской кокардой, пригладил волосы и, застегивая пальцами левой руки пуговицу на боковом большом кармане френча, немного перегнулся в сторону Богаевского, что-то говорившего ему. Каждое движение его было налито твердой медлительной уверенностью, зрелой силой; обычно так

держат себя люди, побывшие у власти, выработавшие на протяжении ряда лет особую, отличную от других осанку, манеру носить голову, походку. У него с Подтелковым было много тождественного. Зато Богаевский, проигрывавший в соседстве с представительным Калединым, казался и невзрачней его и взволнованней предстоящими переговорами.

Богаевский что-то говорил, невнятно шевеля губами, закрытыми русым карнизом висячих усов, поблескивал из-под пенсне острыми, косо поставленными глазами. Нервозность сказывалась в том, как он поправлял воротничок, скользящими, поверхностными движениями касался энергического подбородка, шевелил бровями, раскрылившимися на широких надглазницах.

От Каледина, сидевшего в центре, по обе стороны рассаживались члены войскового правительства. Некоторые из них приезжали в Каменскую: Карев, Светозаров, Уланов, Агеев; немного поодаль сели Елатонцев, Мельников, Боссе, Шошников, Поляков.

Подтелков слышал, как Митрофан Богаевский вполголоса что-то сказал Каледину.

Тот коротко прищурился на Подтелкова, занимавшего место против него, сказал:

— Я думаю, можно начать.

Улыбнувшись, Подтелков внятно сообщил о целях приезда делегации. Кривошлыков протянул через стол заготовленный ультиматум Военно-революционного комитета, но Каледин, отстраняя бумагу движением белой ладони, твердо сказал:

— Нет смысла терять время на ознакомление каждого члена правительства в отдельности с этим документом. Потрудитесь прочитать вслух ваш ультиматум. После будем обсуждать.

— Читай,— приказал Подтелков.

Держался он с достоинством, но видимо, как и все члены делегации, чувствовал себя не совсем уверенно. Кривошлыков встал. Девичье-звонкий и в то же время неяркий голос его поплыл над забитым людьми залом:

— «Вся власть в Области Войска Донского над войсковыми частями в ведении военных операций от сего 10 января 1918 года переходит от войскового атамана к донскому казачьему Военно-революционному комитету.

Все отряды, которые действуют против революционных войск, отзываются 15 января сего года и разоружаются,

равно как и добровольческие дружины, юнкерские училища и школы прапорщиков. Все участники этих организаций, не жившие на Дону, высылаются из предела Донской области в места их жительства.

Примечание. Оружие, снаряжение и обмундирование должно быть сдано комиссару Военно-революционного комитета. Пропуск на выезд из Новочеркасска выдается комиссаром Военно-революционного комитета.

Город Новочеркасск должны занять казачьи полки по назначению Военно-революционного комитета.

Члены Войскового круга объявляются неправомочными с 15 сего января.

Вся полиция, поставленная войсковым правительством, из рудников и заводов Донской области отзывается.

Объявляется по всей Донской области, станицам и хуторам о добровольном сложении войсковым правительством своих полномочий, во избежание кровопролития, и о немедленной передаче власти областному казачьему Военно-революционному комитету, впредь до образования в области постоянной трудовой власти всего населения».

Едва умолк голос Кривошлыкова, Каледин громко спросил:

— Какие части вас уполномочили?

Подтелков переглянулся с Кривошлыковым, начал словно про себя считать:

— Лейб-гвардии Атаманский полк, Лейб-гвардии Казачий, шестая батарея, Сорок четвертый полк, тридцать вторая батарея, четырнадцатая отдельная сотня...— перечисляя, он придавливал пальцы на левой руке; в зале зашушукались, пополз ехидный смешок, и Подтелков, нахмурясь, положил на стол рыжеволосые руки, повысил голос: — Двадцать восьмой полк, двадцать восьмая батарея, двенадцатая батарея, Двенадцатый полк...

— Двадцать девятый полк,— тихо подсказал Лагутин.

— ...Двадцать девятый полк,— продолжал Подтелков уже увереннее и громче,— тринадцатая батарея, каменская местная команда, Десятый полк, Двадцать седьмой полк, второй пеший батальон, Второй запасной полк, Восьмой полк, Четырнадцатый полк.

После малозначащих вопросов и краткого обмена мнениями Каледин спросил, грудью наваливаясь на край стола, упирая взгляд в Подтелкова:

— Признаете ли вы власть Совета Народных Комиссаров?

Допив стакан воды, Подтелков поставил на тарелку графин, вытер рукавом усы, ответил уклончиво:

— Это может сказать лишь весь народ.

Вступился Кривошлыков, опасаясь, как бы простоватый Подтелков не сболтнул лишнего:

— Казаки не терпят такого органа, в который входят представители «Партии народной свободы» [1]. Мы — казаки, и управление у нас должно быть наше, казачье.

— Как понимать вас, когда во главе Совета стоят Нахамкесы и им подобные?

— Им доверила Россия,— доверяем и мы!

— Будете ли иметь с ними сношения?

— Да!

Подтелков одобрительно хмыкнул, поддержал:

— Мы не считаемся с лицами,— считаемся с идеей.

Один из членов войскового правительства простодушно спросил: «На пользу ли народа работает Совет Народных Комиссаров?»

В его сторону пополз щупающий взгляд Подтелкова. Улыбнувшись, Подтелков потянулся к графину, налил и жадно выпил. Одолевала его жажда,— будто большой огонь внутри заливал он прозрачной водой.

Каледин мелко барабанил пальцами, пытливо расспрашивал:

— Что общего у вас с большевиками?

— Мы хотим ввести у себя в Донской области казачье самоуправление.

— Да, но вам, вероятно, известно, что на четвертое февраля созывается Войсковой круг. Члены будут переизбраны. Согласны ли вы на взаимный контроль?

— Нет! — Подтелков поднял уроненный взгляд, твердо ответил: — Ежели вас будет меньшинство,— мы вам диктуем свою волю.

— Но ведь это насилие!

— Да.

Митрофан Богаевский, переводя взгляд с Подтелкова на Кривошлыкова, спросил:

— Признаете ли вы Войсковой круг?

— Постольку поскольку...— Подтелков пожал широченными плечами.— Областной Военно-революционный

---

[1] «Партия народной свободы» — так называлась контрреволюционная партия кадетов.

комитет созовет съезд представителей от населения. Он будет работать под контролем всех воинских частей. Ежели съезд нас не удовлетворит, мы его не признаем.

— Кто же будет судьей? — Каледин поднял брови.

— Народ! — Подтелков гордо откинул голову; скрипя кожей тужурки, привалился к спинке резного стула.

После короткого перерыва заговорил Каледин. В зале утих шум, в установившейся тишине четко зазвучал низкий, осенне-тусклый тембр атаманского голоса.

— Правительство не может сложить своих полномочий по требованию областного Военно-революционного комитета. Настоящее правительство было избрано всем населением Дона, и только оно, а не отдельные части, может требовать от нас сложения полномочий. Под воздействием преступной агитации большевиков, стремящихся навязать области свои порядки, вы требуете передачи вам власти. Вы — слепое орудие в руках большевиков. Вы исполняете волю немецких наемников, не осознав той колоссальной ответственности, которую берете на себя перед всем казачеством. Советую одуматься, ибо неслыханные бедствия несете вы родному краю, вступив на путь распри с правительством, отражающим волю всего населения. Я не держусь за власть. Соберется Большой войсковой круг — и он будет вершить судьбами края, но до его созыва я должен остаться на своем посту. В последний раз советую одуматься.

После него говорили члены правительства казачьей и иногородней части. Длинную речь, перевитую слащавыми увещаниями, опрокинул на голову членов ревкома эсер Боссе.

Выкриком перебил его Лагутин:

— Наше требование — передайте власть Военно-революционному комитету! Ждать нечего, ежели войсковое правительство стоит за мирное разрешение вопроса...

Богаевский улыбнулся:

— Значит?..

— ...Надо объявить во всеобщее сведение об том, что власть перешла к ревкому. Ждать две с половиной недели, покуда соберется ваш Круг, нельзя! Народ и так ужасно наполнился гневом.

Долго мямлил Карев, и искал неосуществимого компромисса Светозаров.

Подтелков слушал их с раздражением. Он бегло оглядел лица своих, заметил, что Лагутин хмурится и бледне-

ет, Кривошлыков глаз не поднимает от стола, Головачев нетерпеливо порывается что-то сказать. Выждав время, Кривошлыков тихо шепнул: «Скажи!»

Подтелков словно ждал этого. Отодвинув стул, он заговорил натужно, заикаясь от волнения, ища какие-то большие, сокрушающие слова убеждения:

— Не так вы говорите! Ежели б войсковому правительству верили,— я с удовольствием отказался бы от своих требований... но ведь народ не верит! Не мы, а вы зачинаете гражданскую войну! Зачем вы приютили на казачьей земле разных беглых генералов? Через это большевики и идут войной на наш тихий Дон. Не покорюсь я вам! Не позволю! Пущай через мой труп пройдут! Мы вас фактами закидаем! Не верю я, чтоб войсковое правительство спасло Дон! Какие меры применяются к тем частям, какие не желают вам подчиняться?.. Ага, то-то и оно. Зачем напущаете на шахтеров ваших добровольцев? Этим зло вокруг заводите! Скажите мне: кто порукой за то, что войсковое правительство отсторонит гражданскую войну?.. Нечем вам крыть. А народ и фронтовые казаки за нас стоят!

В зале ветровым шелестом пополз смех; раздались негодующие возгласы по адресу Подтелкова. Он повернул в ту сторону разгоряченно-багровое лицо, выкрикнул, уже не тая горклой злобы:

— Смеетесь зараз, а после плакать будете! — и повернулся к Каледину, брызнул в него картечинами-глазами: — Мы требуем передать власть нам, представителям трудового народа, и удаления всех буржуев и Добровольческой армии!.. А ваше правительство тоже должно уйти!

Каледин устало нагнул голову:

— Я из Новочеркасска никуда не собираюсь уходить и не уйду.

После небольшого перерыва заседание возобновилось горячей речью Мельникова:

— Красногвардейские отряды рвутся на Дон, чтобы уничтожить казачество! Они загубили Россию своими безумными порядками и хотят загубить и нашу область! История не знает таких примеров, чтобы страной управляла разумно и на пользу народа кучка самозванцев и проходимцев. Россия очнется — и выкинет этих Отрепьевых! А вы, ослепленные чужим безумием, хотите вырвать из наших рук власть, чтобы открыть большевикам ворота! Нет!

— Передайте власть ревкому — и Красная гвардия прекратит наступление...— вставил Подтелков.

С разрешения Каледина из публики выступил подъесаул Шеин, георгиевский кавалер всех четырех степеней, из рядовых казаков дослужившийся до чина подъесаула. Он оправил складки гимнастерки будто перед смотром,— сразу взял в намёт:

— Чего там, станишники, слушать их! — кричал он высоким командным голосом, рубя рукой, как палашом.— Нам с большевиками не по пути! Только изменники Дону и казачеству могут говорить о сдаче власти Советам и звать казаков идти с большевиками! — И, уже прямо указывая на Подтелкова, обращаясь непосредственно к нему, он изгибался, кричал: — Неужели вы думаете, Подтелков, что за вами, за недоучкой и безграмотным казаком, пойдет Дон? Если пойдут,— так кучка оголтелых казаков, какие от дома отбились! Но они, брат, очнутся — и тебя же повесют!

В зале задвигались головы, как шляпки подсолнухов, расталкиваемые ветром; набряк стон одобряющих голосов. Шеин сел. Его прочувствованно хлопал сзади по плечу какой-то высокий, в сборчатом полушубке, офицер, с погонами войскового старшины. Возле столпились офицеры. Истерический женский голос растроганно чечекал:

— Спасибо, Шеин! Спасибо!

— Браво, есаул Шеин! Брависсимо! — гимназическим петушиным баском кукарекал кто-то из завсегдатаев галерки, сразу даря подъесаула Шеина лишним чином.

Краснобаи, баяны донского правительства еще долго улещали казаков — членов народившегося в Каменской ревкома. В зале было накурено, сизо, душно. За окнами вершило дневной поход солнце. Морозные ельчатые веточки липли к стеклам окон. Сидевшие на подоконниках слышали вечерний благовест и сквозь вой ветра — паровозные осиплые гудки.

Лагутин не выдержал; прерывая одного из войсковых ораторов, обратился к Каледину:

— Решайте дело, пора кончать!

Его вполголоса осадил Богаевский:

— Не волнуйтесь, Лагутин! Вот вода. Семейным и предрасположенным к параличу вредно волноваться. А потом вообще не рекомендуется прерывать ораторов,— здесь ведь не какой-нибудь Совдеп.

Колкостью ответил ему и Лагутин, но внимание всех вновь прихлынуло к Каледину. Так же уверенно вел он политическую игру, как и вначале, и так же натыкался на простую, зипунную броню подтелковских ответов.

— Вы говорили, что если мы передадим вам власть, то большевики прекратят свое наступление на Дон. Но так думаете вы. А как поступят большевики, пришедшие на Дон, нам неизвестно.

— Комитет уверен, что большевики подтвердят сказанное мною. Спробуйте: передайте нам власть, выживите с Дона «добровольцев» — и вот увидите: кончат большевики войну!

Спустя немного, Каледин привстал. Ответ его был заготовлен заранее: Чернецов уже получил приказание сосредоточить отряд для наступления на станцию Лихую. Но, выигрывая время, Каледин закончил совещание ходом на оттяжку:

— Донское правительство обсудит предложение ревкома и в письменной форме даст ответ к десяти часам утра назавтра.

XI

Ответ донского правительства, врученный утром на следующий день делегации ревкома, гласил следующее:

Войсковое правительство Войска Донского, обсудив требования Военно-революционного казачьего комитета, представленные депутацией комитета от имени Атаманского Лейб-казачьего, 44-го, 28-го, 29-го, частей 10-й, 27-й, 23-й, 8-й, 2-го запасного и 43-го полков, 14-й отдельной сотни, 6-й гвардейской, 32-й, 28-й, 12-й и 13-й батареи, 2-го пешего батальона и каменской местной команды, — объявляет, что правительство является представителем всего казачьего населения области. Избранное населением правительство не имеет права сложить своих полномочий до созыва нового Войскового круга.

Войсковое правительство Войска Донского признало необходимым распустить прежний состав Круга и произвести перевыборы депутатов как от станиц, так и от войсковых частей. Круг в своем новом составе, свободно избранный (при полной свободе агитации) всем казачьим населением на основе прямого равного и тайного голосования, соберется в городе Новочеркасске 4 февраля ст. ст. сего года одновременно со съездом всего неказачьего населения. Только Круг, законный орган, восстановленный революцией, представляющий казачье население области, имеет право сместить войсковое правительство и избрать новое. Этот Круг вместе с тем обсудит вопрос и об управлении войсковыми частями и о том, быть или не быть отрядам и добровольческим дружинам, защищающим власть. Что касается формирования деятельности Добровольческой армии, то объединенное правительство уже раньше приняло ре-

шение взять их под контроль правительства при участии Областного военного комитета.

По вопросу об отозвании из горнозаводского района якобы поставленной войсковым правительством полиции правительство заявляет, что вопрос о полиции будет поставлен на разрешение Круга 4 февраля.

Правительство заявляет, что в устройстве местной жизни может принимать участие лишь местное население, а потому оно считает, выполняя волю Круга, необходимым всеми мерами бороться против проникновения в область вооруженных большевистских отрядов, стремящихся навязать области свои порядки. Жизнь свою должно устроить само население — и только оно одно.

Правительство не желает гражданской войны, оно всеми мерами стремится покончить дело мирным путем, для чего предлагает Военно-революционному комитету принять участие в депутации к большевистским отрядам.

Правительство полагает, что если посторонние области отряды не будут идти в пределы области,— гражданской войны и не будет, так как правительство только защищает Донской край, никаких наступательных действий не предпринимает, остальной России своей воли не навязывает, а потому и не желает, чтобы и Дону кто-нибудь посторонний навязывал свою волю.

Правительство обеспечивает полную свободу выборов в станицах и войсковых частях, и каждый гражданин сможет развить свою агитацию и отстаивать свою точку зрения на назначенных выборах в Войсковой круг.

Для обследования нужд казаков во всех дивизиях должны быть теперь же назначены комиссии из представителей частей.

Войсковое правительство Войска Донского предлагает всем частям, пославшим своих депутатов в Военно-революционный комитет, возвратиться к своей нормальной работе по защите Донского края.

Войсковое правительство не допускает и мысли, чтобы свои донские части выступили против правительства и тем начали междоусобную войну на тихом Дону.

Военно-революционный комитет должен быть распущен избравшими его частями, и все части, взамен этого, должны послать своих представителей в существующий областной военный комитет, объединяющий все войсковые части области.

Войсковое правительство требует, чтобы все арестованные Военно-революционным комитетом были немедленно освобождены, а администрация, с целью восстановления нормальной жизни в области, должна быть возвращена к исполнению своих обязанностей.

Являясь представителем только незначительного числа казачьих частей, Военно-революционный комитет не имеет права предъявлять требования от имени всех частей, а тем более — от имени всего казачества.

Войсковое правительство считает совершенно недопустимым сношения комитета с Советом Народных Комиссаров и пользование его денежной поддержкой, так как это означало бы распространение влияния Совета Народных Комиссаров на Донскую область, а между тем казачий Круг и съезд неказачьего населения всей области признали власть Советов неприемлемой, так же как и Украина, Сибирь, Кавказ и все без исключения казачьи войска.

Председатель Войскового правительства, товарищ
Войскового атамана *М. Богаевский*. Старшины
Войска Донского: *Елатонцев, Поляков, Мельников*.

В составе делегации, отправленной донским правительством к Таганрогу для переговоров с представителями Советской власти, поехали и члены Каменского ревкома — Лагутин и Скачков. Подтелков и остальные были задержаны на время в Новочеркасске, а тем часом отряд Чернецова в несколько сот штыков, при тяжелой батарее на площадках и двух легких орудиях, отчаянным набегом занял станции Зверево и Лихую и, оставив там заслон из одной роты при двух орудиях, основными силами повел наступление на Каменскую. Сломив сопротивление революционных казачьих частей под полустанком Северный Донец, Чернецов 17 января занял Каменскую. Но уже через несколько часов было получено известие, что красногвардейские отряды Саблина выбили из Зверева, а затем и из Лихой оставшийся там заслон чернецовцев. Чернецов устремился туда. Коротким лобовым ударом он опрокинул 3-й Московский отряд, изрядно потрепал в бою Харьковский отряд и отбросил панически отступавших красногвардейцев в исходное положение.

После того как положение в направлении Лихой было восстановлено, Чернецов, перехвативший инициативу, вернулся в Каменскую. Из Новочеркасска к нему 19 января подошло подкрепление. На следующий день Чернецов решил наступать на Глубокую.

На военном совете решено было, по предложению сотника Линькова, взять Глубокую, предприняв обходное движение. Чернецов опасался наступать по линии железной дороги, так как боялся встретить в этом направлении настойчивое сопротивление частей Каменского ревкома и подошедших к ним из Черткова красногвардейских отрядов.

Ночью началось глубокое обходное движение. Колонну вел сам Чернецов.

Уже перед рассветом подошли к Глубокой. Четко сделали перестроения, рассыпались в цепь. Отдавая последние распоряжения, Чернецов слез с коня и, разминая затекшие ноги, сипло приказал командиру одной из рот:

— Без церемоний, есаул. Вы меня поняли?

Он поскрипел сапогами по твердому насту, сдвинул набок седую каракулевую папаху, растирая перчаткой розовое ухо. Под светлыми отчаянными глазами его синели круги от бессонницы. Губы зябко морщились. На коротко подстриженных усах теплился пушок инея.

Согревшись, он вскочил на коня, оправил складки защитного офицерского полушубка и, снимая с луки поводья, тронул лысого рыжеватого донца, уверенно и твердо улыбнулся:

— Начнем!

XII

Перед съездом фронтового казачества в Каменской бежал из полка подъесаул Изварин. Накануне он был у Григория, говорил, отдаленно намекая на свой уход:

— В создавшейся обстановке трудно служить в полку. Казаки мечутся между двумя крайностями — большевики и прежний монархический строй. Правительство Каледина никто не хочет поддерживать, отчасти даже потому, что он носится со своим паритетом, как дурак с писаной торбой. А нам необходим твердый, волевой человек, который сумел бы поставить иногородних на надлежащее им место... Но я считаю, что лучше в настоящий момент поддержать Каледина, чтобы не проиграть окончательно.— Помолчав, закуривая, спросил: — Ты... кажется, принял красную веру?

— Почти,— согласился Григорий.

— Искренне или, как Голубов, делаешь ставку на популярность среди казаков?

— Мне популярность не нужна. Сам ищу выхода.

— Ты уперся в стену, а не выход нашел.

— Поглядим...

— Боюсь, что встретимся мы, Григорий, врагами.

— На бранном поле друзей не угадывают, Ефим Иваныч,— улыбнулся Григорий.

Изварин посидел немного и ушел, а наутро исчез,— как в воду канул.

В день съезда пришел к Григорию казак-атаманец с хутора Лебяжьего Вешенской станицы. Григорий чистил и смазывал ружейным маслом наган. Атаманец посидел немного и уже перед уходом сказал будто между делом, в то время как пришел исключительно из-за этого (он знал, что у Григория отбил бабу Листницкий, бывший офицер Атаманского полка, и, случайно увидев его на вокзале, зашел предупредить):

— Григорь Пантелевич, а я ить нынче видал на станции твоего друзьяка.

— Какого?

— Листницкого. Знаешь его?

— Когда видал? — с живостью спросил Григорий.

— С час назад.

Григорий сел. Давняя обида взяла сердце волкодавьей хваткой. Он не ощущал с былой силой злобы к врагу, но знал, что, если встретится с ним теперь, в условиях начавшейся гражданской войны,— быть между ними крови. Нежданно услышав про Листницкого, понял, что не заросла давностью старая ранка: тронь неосторожным словом,— закровоточит. За давнее сладко отомстил бы Григорий — за то, что по вине проклятого человека выцвела жизнь и осталась на месте прежней полнокровной большой радости сосущая голодная тоска, линялая выцветень.

Помолчав немного, чувствуя, как сходит с лица негустая краска, спросил:

— Сюда приехал, не знаешь?

— Навряд. Должно, в Черкасск правится.

— А-а-а...

Атаманец поговорил о съезде, о полковых новостях и ушел. Все последующие дни Григорий, как ни старался загасить тлевшую в душе боль,— не мог. Ходил, как одурманенный, уже чаще, чем обычно, вспоминал Аксинью, и горечь плавилась во рту, каменело сердце. Думал о Наталье, детишках, но радость от этого приходила зазубренная временем, изжитая давностью. Сердце жило у Аксиньи, к ней потянуло по-прежнему тяжело и властно.

Из Каменской, когда надавил Чернецов, пришлось отступать спешно. Разрозненные отряды Донревкома, наполовину распыленные казачьи сотни, беспорядочно грузились на поезда, уходили походным порядком, бросая все несподручное, тяжелое. Ощутимо сказывалось отсутствие организованности, твердого человека, который собрал бы и распределил все эти, в сущности, значительные силы.

Из числа выборных командиров выделился вынырнувший откуда-то за последние дни войсковой старшина Голубов. Он принял командование наиболее боевым 27-м казачьим полком и сразу, с жестоковатинкой, поставил дело. Казаки подчинялись ему беспрекословно, видя в нем то, чего не хватало полку: умение сколотить состав, распределить обязанности, вести. Это он, Голубов, толстый, пухлощекий, наглоглазый офицер, размахивая

шашкой, кричал на станции на казаков, медливших с погрузкой:

— Вы что? В постукалочку играете?! Распротак вашу мать!.. Гру-зи!.. Именем революции приказываю немедленно подчиниться!.. Что-о-о?.. Кто это демагог? Застрелю, подлец!.. Молчать!.. Саботажникам и скрытым контрреволюционерам я не товарищ!

И казаки подчинялись. По старинке многим даже нравилось это — не успели отвыкнуть от старого. А в прежние времена, что ни дёр — то лучший в глазах казаков командир. Про таких, как Голубов, говаривали: «Этот по вине шкуру спустит, а по милости другую нашьет».

Части Донревкома отхлынули и наводнили Глубокую, командование всеми силами, по существу, перешло к Голубову. Он в течение неполных двух дней скомпоновал раздерганные части, принял надлежащие меры к закреплению за собой Глубокой. Мелехов Григорий командовал, по настоянию его, дивизионом из двух сотен 2-го запасного полка и одной сотни атаманцев.

В сумерках 20 января Григорий вышел из своей квартиры проверить выставленные за линией заставы атаманцев — и у самых ворот столкнулся с Подтелковым. Тот узнал его.

— Ты, Мелехов?

— Я.

— Куда это ты?

— Заставы поглядеть. Давно из Черкасска? Ну как?

Подтелков нахмурился.

— С заклятыми врагами народа не столкуешься миром. Видал — какой номер отчубучили? Переговоры... а сами Чернецова наузыкали. Каледин — какая гада?! Ну, мне особо некогда,— я это в штаб поспешаю.

Он наскоро попрощался с Григорием, крупно зашагал к центру.

Еще до избрания его председателем ревкома он заметно переменился в отношении к Григорию и остальным знакомым казакам, в голосе его уже тянули сквозняком нотки превосходства и некоторого высокомерия. Хмелем била власть в голову простого от природы казака.

Григорий поднял воротник шинели, пошел, убыстряя шаг. Ночь обещала быть морозной. Ветерок тянул с киргизской стороны. Небо яснело. Заметно подмораживало. Сыпко хрустел снег. Месяц всходил тихо и кособоко, как инвалид по лестнице. За домами сумеречной лиловой

синью курилась степь. Был тот предночной час, когда стираются очертания, линии, краски, расстояние; когда еще дневной свет путается, неразрывно сцепившись, с ночным, и все кажется нереальным, сказочным, зыбким; и даже запахи в этот час, утрачивая резкость, имеют свои особые, затушеванные оттенки.

Проверив заставы, Григорий вернулся на квартиру. Хозяин, железнодорожный служащий, щербатый и жулик лицом, поставил самовар, присел к столу.

— Наступать будете?

— Неизвестно.

— Или их думаете дожидаться?

— Видно будет.

— Совершенно правильно. Наступать-то вам, думается, не с чем,— тогда, конечно, лучше ждать. Обороняться выгоднее. Я сам германскую войну в саперах отломал, в тактической стратегии знал и вкус и толк... Силенок-то маловато.

— Хватит,— уклонялся Григорий от тяготившего его разговора.

Но хозяин назойливо допытывался, вертелся около стола, почесывая под суконной жилеткой тощий, как у тарани, живот:

— Артиллерии-то много? Пушечек, пушечек?

— Служил, а службы не знаешь! — с холодным бешенством сказал Григорий и так ворохнул глазами, что хозяина, будто обмороком, кинуло в сторону: — Служил, а не знаешь!.. Какое ты имеешь право расспрашивать меня о численности наших войск и о наших планах? Вот отведу тебя на допрос...

— Господ... офицер!.. Голу... голуб!..— целиком глотая концы слов, давился побелевший хозяин, чернел щербатинами в полузатворенном рту.— По глу... по глупости! Простите!..

За чаем Григорий как-то случайно поднял на него взгляд, заметил, как резко, будто при молнии, моргнули у того глаза,— а когда приобнажили их ресницы, выражение было иное, ласковое и почти обожающее. Семья хозяина — жена и две взрослые дочери — переговаривались шепотом. Григорий не допил второй чашки, ушел в свою комнату.

Вскоре пришли откуда-то шесть казаков четвертой сотни 2-го запасного, стоявшие на квартире вместе с Григорием. Они шумно пили чай, переговаривались, смеялись.

Григорий, уже засыпая, слышал обрывки их разговора. Один рассказывал (Григорий узнал по голосу взводного Бахмачева, казака Луганской станицы), остальные изредка вставляли замечания.

— При мне дело было. Приходят трое шахтеров Горловского района, с рудника номер одиннадцать, говорят, мол, так и так, такая у нас собралась гарнизация, и есть нуждишка в оружии — сделитесь чем можете. А ревкомовец... Да ить я сам слыхал! — повысил он голос, отвечая на чью-то невнятную реплику.— Говорит: «Обращайтесь, товарищи, к Саблину, а у нас ничего нету». Как это ничего нету? А я знаю, что лишние винтовки были. Тут не в том дело... Ревность проявилась, что ввязываются мужики.

— И правильно! — заговорил другой.— Дай им справу, а они — не то будут воевать, не то нет. А коснись дело земли — руки протянут.

— Знаем мы эту шерсть! — басил третий.

Бахмачев раздумчиво позвенел чайной ложкой о стакан; стукая ею в такт своим словам, раздельно сказал:

— Нет, не годится такое дело. Большевики для всего народа идут на уступки, а мы — хреновые большевики. Лишь бы Каледина спихнуть, а там прижмем...

— Да ить, милый человек! — убеждающе восклицал чей-то ломкий, почти мальчишеский альт: — Пойми, что нам давать не из чего! Удобной земли на пай падает полторы десятины, а энта — суглинок, балки, толока. Чего давать-то?

— С тебя и не берут, а есть такие, что богаты землей.

— А войсковая земля?

— Покорнейше благодарим! Свою отдай, а у дяди выпрашивай?.. Ишь ты, рассудил!

— Войсковая самим понадобится.

— Что и гутарить.

— Жадность заела!

— Какая там жадность!

— Может, припадет своих казаков верховских переселить. Знаем мы иховы земли — желтопески одни.

— То-то и оно!

— Не нам кроить, не нам и шить.

— Тут без водки не разберешься.

— Эх, ребята! Надысь громили тут винный склад. Один утоп в спирту, захлебнулся.

— А зараз бы выпил. Так, чтоб по ребрам прошлась.

Григорий в полусне слышал, как казаки стелили на полу, зевали, чесались, тянули те же разговоры о земле, о переделах.

Перед рассветом под окном бацнул выстрел. Казаки повскакивали. Натягивая гимнастерку, Григорий не попадал в рукава. На бегу обулся, схватил шинель. За окном лузгой сыпались выстрелы. Протарабанила подвода. Кто-то заливисто и испуганно кричал возле дверей:

— В ружье!.. В ружье!..

Чернецовские цепи, оттесняя заставы, входили в Глубокую. В серой хмарной темноте метались всадники. Бежали, дробно топоча сапогами, пехотинцы. На перекрестной улице устанавливали пулемет. Цепкой протянулись поперек человек тридцать казаков. Еще одно звено перебегало переулок. Клацали затворы, засылая патроны. В следующем квартале повышенно-звучный командный голос чеканил:

— Третья сотня, живо! Кто там ломает строй?.. Смирно! Пулеметчики — на правый фланг! Готово? Со-отня...

Прогромыхал батарейный взвод. Лошади шли галопом. Ездовые размахивали плетьми. Лязг зарядных ящиков, гром колес, дребезжанье лафетов смешивались с распухавшей на окраине стрельбой. Разом где-то поблизости ревнули пулеметы. На соседнем углу, зацепившись за врытый у палисадника стоян, опрокинулась скакавшая неведомо куда полевая кухня.

— Дьявол слепой!.. Не видишь?! Повылазило тебе? — надсадно ревел оттуда чей-то насмерть перепуганный голос.

Григорий с трудом собрал сотню, рысью повел ее на край станицы. Оттуда уже густо валили отступавшие казаки.

— Куда?..— Григорий схватил переднего за винтовку.

— Пу-у-сти!...— рванулся казак.— Пусти, сволочь... Чего хватаешь? Не видишь — отступают?..

— Сила его!..

— Прет дуром...

— Куда нам?.. В какой край — Миллерская? — звучали запыхавшиеся голоса.

Григорий попробовал на окраине, возле какого-то длинного сарая, развернуть свою сотню в цепь, но новая толпа бежавших смела их. Казаки сотни Григория, перемешавшись с бежавшими, сыпанули назад — в улицы.

— Стой!.. Не бегай... Стреляю!..— дрожа от бешенства, орал Григорий.

Его не слушались. Струя пулеметного огня секанула вдоль улицы; казаки на секунду кучками припали к земле, подползли поближе к стенам и устремились в поперечные улицы.

— Теперь не совладаешь, Мелехов! — крикнул, пробегая мимо него и близко заглядывая в глаза, взводный Бахмачев.

Григорий пошел следом, скрипя зубами, размахивая винтовкой.

Паника, охватившая части, завершилась беспорядочным бегством из Глубокой. Отступили, оставив чуть ли не всю материальную часть отряда. Лишь с рассветом удалось собрать сотни и кинуть их в контрнаступление.

Багровый, вспотевший Голубов, в распахнутом полушубке, перебегал вдоль двинувшихся цепей своего 27-го полка, металлическим накаленным голосом кричал:

— Шагу дай!.. Не ложись!.. Марш, марш!..

14-я батарея выехала на позицию, снималась с передков; старший офицер батареи, стоя на зарядном ящике, глядел в бинокль.

Бой начался в шестом часу. Смешанные цепи казаков и красногвардейцев из Воронежского отряда Петрова хлынули густо, окаймили снежный фон черной мережкой фигур.

С восхода тянул знобкий ветер. Под заголенной ветром тучей показался кровоточащий край зари.

Григорий отвел половину атаманской сотни на прикрытие 14-й батареи, с остальными пошел в наступление.

Первый пристрельный снаряд лег далеко впереди цепи чернецовцев. Взлохмаченный оранжево-синий флаг разрыва выкинулся вверх. Сочно луснул второй выстрел. Пристрелку повели поорудийно.

— Взи-взи-взи!..— удаляясь, понесся снаряд.

Секунда напряженной тишины, подчеркнутой ружейными залпами,— и далекий звучный «ох» разрыва. После перелета снаряды очередями стали ложиться вблизи цепи. Жмурясь от ветра, Григорий с чувством удовлетворения подумал: «Нащупали!»

На правом фланге шли сотни 44-го полка. Голубов вел свой полк в центре. Григорий был влево от него. За ним, замыкая левый фланг, шли красногвардейские отряды. К сотням Григория было придано три пулемета. Командир

их, небольшой красногвардеец, с сумрачным лицом и густоволосатыми широкими руками, искусно вел стрельбу, парализуя наступательные маневры противника. Он все время находился около пулемета, двигавшегося с цепью атаманцев. При нем была плотная, одетая в шинель женщина-красногвардеец. Григорий, проходя вдоль цепи, злобно подумал: «Юбочник! На позиции идет — и то с бабой не расстается. С такими навоюешь!.. Детей бы уж заодно забрал с периной и со всеми огарками!..» Начальник пулеметной команды подошел к Григорию, поправил на груди шнур нагана.

— Вы командуете этим отрядом?

— Да, я!

— Я поведу заградительный огонь на участке атаманской полусотни. Вы видите — нам не дают хода.

— Валяйте,— согласился Григорий и повернулся на крик от замолкшего пулемета.

Бородатый здоровый пулеметчик свирепо кричал:

— Бунчук!.. Расплавим машинку!.. Разве можно так?

Возле него на коленях стояла женщина в шинели. Черные глаза ее, горевшие под пуховым платком, напомнили Григорию Аксинью, и он секунду, затосковав глазами, смотрел на нее не моргая, удерживая дыханье.

В полдень к Григорию прискакал от Голубова ординарец с запиской. На неровно оторванном листке полевой книжки корячились размашистые буквы.

Приказываю вам именем Донского ревкома с двумя вверенными вашему командованию сотнями сняться с позиций и спешным аллюром идти в обхват правого фланга противника, имея направление на участок, что виден отсюда, немного левее ветряка, по балке... Маскируйте движение (несколько неразборчивых слов)... Ударить с фланга, как только мы перейдем в решительный натиск.

Голубов

Григорий отвел и посадил на коней две сотни, отошел назад, стараясь, чтобы противник не определил его направления.

Двадцать верст дали круга. Лошади шли, проваливаясь в глубоком снегу. Балка, по которой двигались в обход, была засыпана снегом. Местами доходил он лошадям до брюха. Григорий, прислушиваясь к вспышкам орудийного гула, тревожно посматривал на часы, снятые с руки убитого в Румынии германского офицера,— боялся опоздать. Он сверялся по компасу с направлением — и все же уклонился немного больше, чем следовало, влево. По широкой

отножине выбрались на чистое. Лошади дымились паром, мокрели в пахах. Скомандовав спешиться, Григорий первый выскочил на бугор. Кони остались в балке с коноводами. За Григорием полезли по пологому склону казаки. Он оглянулся, увидел за собой более сотни спешенных, редко рассыпавшихся по снежному склону балки бойцов и почувствовал себя уверенней, сильнее. В бою всегда сильно владело им, как и каждым, табунное чувство. Взглядом охватив обстановку, Григорий понял, что опоздал, не учтя тяжелой дороги, по меньшей мере на полчаса.

Голубов смелым стратегическим ходом почти отрезал чернецовцам путь к отступлению, с боков выставил заслоны и фронтальным ударом шел на полузамкнутого противника. Грохали батарейные залпы. Рокотали винтовочные выстрелы, будто по железной сковороде катилась дробь; крыла шрапнель измятые цепи чернецовцев, густо ложились снаряды.

— В це-е-епь!..

Григорий со своими сотнями ударил с фланга. Пошли было, как на учебную стрельбу,— не ложась, но какой-то ловкач-чернецовец, работавший на «максимке», так здорово полоснул по цепи, что казаки с большой охотой легли, трех потеряв из строя.

В третьем часу пополудни приласкалась к Григорию пуля. Раскаленный комочек свинца, одетый никелевой оболочкой, прожег мясную ткань в ноге выше колена. Григорий, ощутив горячий удар и знакомую тошноту от потери крови, скрипнул зубами. Выполз из цепи, сгоряча вскочил, резко мотнул головой, контуженной пулей. Боль в ноге усугублялась тем, что пуля не вышла. Была она на излете, когда щелкнула Григория, и, пробив шинель, шаровары и кожу, осталась остывать в пучке мускулов. Горячая плещущаяся резь мешала двигаться. Лежа, Григорий вспомнил наступление 12-го полка в Трансильванских горах, в Румынии, когда получил ранение в руку. В глазах его ярко восстановилась сцена той атаки: Чубатый, смятое гневом лицо Мишки Кошевого, Емельян Грошев, сбегающий под гору, волоча раненого сотника.

Командование сотнями принял офицер Любишкин Павел, помощник Григория. По его приказу двое казаков отвели Григория к коноводам. Казаки, подсаживая Григория на коня, участливо советовали:

— Перевяжите рану-то.

— Бинт есть?

Григорий уже сел в седло, но, подумав, слез и, спустив шаровары, морщась от озноба, заливавшего потную спину, живот и ноги, торопясь, перевязал опаленную кровоточащую ранку, сделанную словно надрезом перочинного ножа.

В сопровождении своего ординарца он поехал тем же кружным путем к месту, откуда начали контрнаступление. Глядел на густой засев в снегу лошадиных следов, на знакомые очертания балки, по которой несколько часов назад вел свои сотни. Его клонило в сон, и уже почему-то далеким и ненужным казалось то, что происходило на бугре.

А там суетливо и разбросанно пылились винтовочные выстрелы, гремела тяжелая батарея противника, выручавшая своих, да изредка порыкивающие пулеметы строчили пунктиром, словно подводя невидимую черту для итогов боя.

Версты три Григорий ехал по балке. Лошади застревали.

— Правь на чистое...— буркнул Григорий ординарцу, выезжая на сугробистый вал балки.

Вдали по полю, как присевшие грачи, редко чернели фигуры убитых. На самом лезвии горизонта скакала, казавшаяся отсюда крохотной, лошадь без всадника.

Григорий видел, как основное ядро чернецовцев, потрепанное и поредевшее, вырвавшись из боя, сворачиваясь, отходит в Глубокую. Он пустил своего Гнедого намётом. Вдали виднелись разрозненные кучки казаков. Подскакав к первой из них, Григорий увидел Голубова. Голубов сидел, отвалясь на седле. Полушубок, опушенный в бортах пожелтевшим каракулем, был на нем расстегнут, папаха сдвинута набок, лоб увлажнен по́том. Покручивая вахмистерские, торчмя поднятые усы, Голубов хрипато крикнул:

— Мелехов, молодец! Да ты ранен, никак? Черт возьми! Кость цела? — и, не дожидаясь ответа, заулыбался: — Наголову! Наголову разнесли!.. Офицерский отряд так распылили, что не собрать. Набилось им в хвост!

Григорий попросил покурить. По всему полю стекались казаки и красногвардейцы. От далеко черневшей впереди толпы рысил верховой казак.

— Сорок человек взяли, Голубов!..— крикнул он издали.— Сорок офицеров и самого Чернецова.

— Врешь?! — Голубов испуганно крутнулся в седле и поскакал, нещадно рубя плетью высокого белоногого коня.

Григорий, выждав немного, рысью поехал за ним.

Густую толпу взятых в плен офицеров сопровождал, кольцом охвативший их, конвой в тридцать казаков — 44-го полка и одной из сотен 27-го. Впереди всех шел Чернецов. Убегая от преследования, он сбросил полушубок и теперь шел в одной легонькой кожаной куртке. Погон на левом плече его был оборван. На лице возле левого глаза кровянилась свежая ссадина. Он шел быстро, не сбиваясь с ноги. Папаха, надетая набекрень, придавала ему вид беспечный и молодецкий. И тени испуга не было на его розовом лице: он, видимо, не брился несколько дней,— русая поросль золотилась на щеках и подбородке. Чернецов сурово и быстро оглядывал подбегавших к нему казаков; горькая, ненавидящая складка тенилась между бровями. Он на ходу зажег спичку, закурил, стиснул папиросу углом розовых твердых губ.

В большинстве офицеры были молодые, лишь у нескольких инеем белела седина. Один, раненный в ногу, приотставал, его толкал прикладом в спину маленький большеголовый и рябой казачок. Почти рядом с Чернецовым шел высокий бравый есаул. Двое под руку (один — хорунжий, другой — сотник) шли, улыбаясь; за ними, без шапки, курчавый и широкоплечий, шел юнкер. На одном была внапашку накинута солдатская шинель с погонами, вшитыми насмерть. Еще один шел без шапки, надвинув на черные женски красивые глаза красный офицерский башлык; ветер заносил концы башлыка ему на плечи.

Голубов ехал позади. Приотставая, он закричал казакам:

— Слушай сюда!.. За сохранность пленных вы отвечаете по всем строгостям военно-революционного времени! Чтобы доставили в штаб в целости!

Он подозвал одного из конных казаков, набросал, сидя на седле, записку; свернув ее, передал казаку:

— Скачи! Отдай это Подтелкову.

Обращаясь к Григорию, спросил:

— Ты туда поедешь, Мелехов?

Получив утвердительный ответ, Голубов поравнялся с Григорием, сказал:

— Скажи Подтелкову, что Чернецова я беру на поруки! Понял?.. Ну, так и передай. Езжай.

Григорий, опередив толпу пленных, прискакал в штаб ревкома, стоявший в поле неподалеку от какого-то хутора. Возле широкой тавричанской тачанки, с обмерзлыми колесами и пулеметом, покрытым зеленым чехлом, ходил Подтелков. Тут же, постукивая каблуками, топтались штабные, вестовые, несколько офицеров и казаки-ординарцы. Минаев только недавно, как и Подтелков, вернулся из цепи. Сидя на козлах, он кусал белый, замерзший хлеб, с хрустом жевал.

— Подтелков! — Григорий отъехал в сторону.— Сейчас пригонют пленных. Ты читал записку Голубова?

Подтелков с силой махнул плетью; уронив низко опустившиеся зрачки, набрякая кровью, крикнул:

— Плевать мне на Голубова!.. Мало ли ему чего захочется! На поруки ему Чернецова, этого разбойника и контрреволюционера?.. Не дам!.. Расстрелять их всех — и баста!

— Голубов сказал, что берет его на поруки.

— Не дам!.. Сказано: не дам! Ну, и все! Революционным судом его судить и без промедления наказать. Чтобы и другим неповадно было!.. Ты знаешь,— уже спокойнее проговорил он, остро вглядываясь в приближавшуюся толпу пленных,— знаешь, сколько он крови на белый свет выпустил? Море!.. Сколько он шахтеров перевел?..— И опять, закипая бешенством, свирепо выкатил глаза.— Не дам!..

— Тут орать нечего! — повысил и Григорий голос: у него дрожало все внутри, бешенство Подтелкова словно привилось и ему.— Вас тут много судей! Ты вот туда пойди! — дрожа ноздрями, указал он назад.— А над пленными вас много распорядителей!

Подтелков отошел, комкая в руках плеть. Издали крикнул:

— Я был там! Не думай, что на тачанке спасался. А ты, Мелехов, помолчи возьми-ка!.. Понял?.. Ты с кем гутаришь?.. Так-то!.. Офицерские замашки убирай! Ревком судит, а не всякая...

Григорий тронул к нему коня, прыгнул, забыв про рану, с седла и, простреленный болью, упал навзничь. Из раны, обжигая, захлюпала кровь. Поднялся он без посторонней помощи, кое-как доковылял до тачанки, привалился боком к задней рессоре.

Подошли пленные. Часть пеших конвойных смешалась с ординарцами и казаками, бывшими в охране штаба. Ка-

заки еще не остыли от боя, разгоряченно и зло блестели глазами, перекидывались замечаниями о подробностях и исходе боя.

Подтелков, тяжело ступая по проваливающемуся снегу, подошел к пленным. Стоявший впереди всех Чернецов глядел на него, презрительно щуря светлые отчаянные глаза; вольно отставив левую ногу, покачивая ею, давил белой подковкой верхних зубов прихваченную изнутри розовую губу. Подтелков подошел к нему в упор. Он весь дрожал, немигающие глаза его ползали по изрытвленному снегу, поднявшись, скрестились с бесстрашным, презирающим взглядом Чернецова и обломили его тяжестью ненависти.

— Попался... гад! — клокочущим низким голосом сказал Подтелков и ступил шаг назад; щеки его сабельным ударом располосовала кривая улыбка.

— Изменник казачества! Под-лец! Предатель! — сквозь стиснутые зубы зазвенел Чернецов.

Подтелков мотал головой, словно уклоняясь от пощечин,— чернел в скулах, раскрытым ртом хлипко всасывал воздух.

Последующее разыгралось с изумительной быстротой. Оскаленный, побледневший Чернецов, прижимая к груди кулаки, весь наклонясь вперед, шел на Подтелкова. С губ его, сведенных судорогой, соскакивали невнятные, перемешанные с матерной руганью слова. Чтó он говорил,— слышал один медленно пятившийся Подтелков.

— Придется тебе... Ты знаешь? — резко поднял Чернецов голос.

Слова эти были услышаны и пленными офицерами, и конвоем, и штабными.

— Но-о-о-о...— как задушенный, захрипел Подтелков, кидая руку на эфес шашки.

Сразу стало тихо. Отчетливо заскрипел снег под сапогами Минаева, Кривошлыкова и еще нескольких человек, кинувшихся к Подтелкову. Но он опередил их; всем корпусом поворачиваясь вправо, приседая, вырвал из ножен шашку и, выпадом рванувшись вперед, со страшной силой рубнул Чернецова по голове.

Григорий видел, как Чернецов, дрогнув, поднял над головой левую руку, успел заслониться от удара; видел, как углом сломалась перерубленная кисть; и шашка беззвучно обрушилась на откинутую голову Чернецова. Сначала свалилась папаха, а потом, будто переломленный

в стебле колос, медленно падал Чернецов, со странно перекосившимся ртом и мучительно зажмуренными, сморщенными, как от молнии, глазами.

Подтелков рубнул его еще раз, отошел постаревшей грузной походкой, на ходу вытирая покатые долы шашки, червоневшие кровью.

Ткнувшись о тачанку, он повернулся к конвойным, закричал выдохшимся, лающим голосом:

— Руби-и-и их... такую мать!! Всех!.. Нету пленных... в кровину, в сердце!!

Лихорадочно застукали выстрелы. Офицеры, сталкиваясь, кинулись врассыпную. Поручик с красивейшими женскими глазами, в красном офицерском башлыке, побежал, ухватясь руками за голову. Пуля заставила его высоко, словно через барьер, прыгнуть. Он упал — и уже не поднялся. Высокого, бравого есаула рубили двое. Он хватался за лезвия шашек, с разрезанных ладоней его лилась на рукава кровь; он кричал, как ребенок,— упал на колени, на спину, перекатывал по снегу голову; на лице виднелись одни залитые кровью глаза да черный рот, просверленный сплошным криком. По лицу полосовали его взлетывающие шашки, по черному рту, а он все еще кричал тонким от ужаса и боли голосом. Раскорячившись над ним, казак, в шинели с оторванным хлястиком, прикончил его выстрелом. Курчавый юнкер чуть не прорвался через цепь — его настиг и ударом в затылок убил какой-то атаманец. Этот же атаманец вогнал пулю промеж лопаток сотнику, бежавшему в раскрылатившейся от ветра шинели. Сотник присел и до тех пор скреб пальцами грудь, пока не умер. Седоватого подъесаула убили на месте; расставаясь с жизнью, выбил он ногами в снегу глубокую яму и еще бы бил, как добрый конь на привязи, если бы не докончили его сжалившиеся казаки.

Григорий в первый момент, как только началась расправа, оторвался от тачанки,— не сводя с Подтелкова налитых мутью глаз, хромая, быстро заковылял к нему. Сзади его поперек схватил Минаев,— ломая, выворачивая руки, отнял наган; заглядывая в глаза померкшими глазами, задыхаясь, спросил:

— А ты думал — как?

XIII

Слепяще-яркий снеговой хребет бугра, облитый глазурью солнца и синью безоблачного дня, белел, сахарно искрился. Под ним пестрым лоскутным одеялом лежала слобода Ольховый Рог. Влево синела Свинюха, вправо туманными пятнами пластались хуторки и немецкие колонии, за изгибом голубела Терновская. На востоке за слободой корячился и полз вверх пологий, изрытый балками меньший размером бугор. На нем частоколом торчали телеграфные столбы, уходившие на Кашары.

День был на редкость ясный, морозный. Около солнца радужные дымились столбы. Ветер гнул с севера. В степи сипела поземка. Но снеговые просторы, обнятые горизонтом, были светлы, лишь на востоке, под самым острием горизонта, задернутая лиловой марью, курилась степь.

Пантелей Прокофьевич, везший Григория из Миллерова, решил в Ольховом Рогу не останавливаться, а тянуть до Кашар и там заночевать. Он выехал из дому по телеграмме Григория, к вечеру 28 января приехал в Миллерово. Григорий ожидал его на постоялом дворе. Наутро они выехали и около одиннадцати часов проезжали уже Ольховый Рог.

После того как был ранен в бою под Глубокой, Григорий провалялся в походном лазарете в Миллерове неделю; слегка подлечив ногу, решил поехать домой. Коня привели ему станичные казаки. Ехал Григорий со смешанным чувством недовольства и радости: недовольства — потому, что покидал свою часть в самый разгар борьбы за власть на Дону, а радость испытывал при одной мысли, что увидит домашних, хутор; сам от себя таил желание повидать Аксинью, но были и о ней думки.

С отцом они встретились как-то отчужденно. Пантелей Прокофьевич (нажужжал ему в уши Петро) хмуро присматривался к Григорию,— в его коротких, бивших наосклизь взглядах густели недовольство, выжидающая тревога. На станции вечером он долго расспрашивал Григория о событиях, полыхавших в области; ответы сына, видимо, его не удовлетворяли. Он жевал поседевшую бороду, глядел на свои подшитые кожей валенки, чмыкал носом. В спор вступил неохотно, но разгорелся, защищая Каледина,— в горячую минуту по-прежнему прицыкнул на Григория и даже хромой ногой затопотал.

— Ты мне не толкуй! Был у нас по осени Каледин в хуторе! Сбор был на майдане, он на стол влез, гутарил со стариками и предсказал, как по Библии, что придут мужики, война будет, и ежели будем мы туды-суды шататься,— заберут все и зачнут заселять область. Он ишо в то время знал, что будет война. Что ж вы, сукины сыны, думаете? Аль он меньше вашего знает? Ученый такой генерал, армию водил — и меньше твоего знает? В Каменской-то позасели вот такие, как ты, пустобрехи необразованные — и мутят народ. Подтелков твой — из каких? Вахмистр?.. Ого! Одних со мной чинов. Вот это так!.. Дожили... Дальше некуда!

Григорий неохотно спорил с ним. Знал, еще не видя отца, какого тот толка. А тут новое всучилось: не мог ни простить, ни забыть Григорий гибель Чернецова и бессудный расстрел пленных офицеров.

Лошади в дышловой запряжке легко несли сани-кошелку. Позади, привязанный чумбуром, рысил оседланный Григорьев конь. Знакомые с детства разворачивались в дороге слободы и хутора: Кашары, Поповка, Каменка, Нижне-Яблоновский, Грачев, Ясеновка. Всю дорогу до самого хутора Григорий как-то несвязно и бестолково думал о недавнем, пытался хоть вехами наметить будущее, но мысль доходила до отдыха дома и дальше напарывалась на тупик. «Приеду, поотдохну трошки, залечу ранку, а там...— думал он и мысленно махал рукой: — там видно будет. Само дело покажет...»

Ломала и его усталость, нажитая на войне. Хотелось отвернуться от всего бурлившего ненавистью, враждебного и непонятного мира. Там, позади, все было путано, противоречиво. Трудно нащупывалась верная тропа; как в топкой гати, зыбилась под ногами почва, тропа дробилась, и не было уверенности — по той ли, по которой надо, идет. Тянуло к большевикам — шел, других вел за собой, а потом брало раздумье, холодел сердцем. «Неужто прав Изварин? К кому же прислониться?» Об этом невнятно думал Григорий, привалясь к задку кошелки. Но когда представлял себе, как будет к весне готовить бороны, арбы, плесть из краснотала ясли, а когда разденется и обсохнет земля,— выедет в степь; держась наскучавшимися по работе руками за чапиги, пойдет за плугом, ощущая его живое биение и толчки; представляя себе, как будет вдыхать сладкий дух молодой травы и поднятого лемехами чернозема, еще не утратившего пресного аромата снеговой сы-

рости,— теплело на душе. Хотелось убирать скотину, метать сено, дышать увядшим запахом донника, пырея, пряным душком навоза. Мира и тишины хотелось,— поэтому-то застенчивую радость и берег в суровых глазах Григорий, глядя вокруг: на лошадей, на крутую, обтянутую тулупом спину отца. Все напоминало ему полузабытую прежнюю жизнь: и запах овчин от тулупа, и домашний вид нечищеных лошадей, и какой-нибудь петух в слободе, горланящий с погребицы. Сладка и густа, как хмелины, казалась ему в это время жизнь тут, в глушине.

На другой день перед вечером подъехали к хутору. Григорий с бугра кинул взгляд за Дон: вон Бабьи ендовы, опушенные собольим мехом камыша; вон сухой тополь, а переезд через Дон уже не тут, где был раньше. Хутор, знакомые квадраты кварталов, церковь, площадь... Кровь кинулась Григорию в голову, когда напал глазами на свой курень. Воспоминания наводнили его. С база — поднятый колодезный журавль словно кликал, вытянув вверх серую вербовую руку.

— Не щипет глаза? — улыбнулся Пантелей Прокофьевич, оглядываясь, и Григорий, не лукавя и не кривя душой, сознался:

— Щипет... да ишо как!..

— Что значит — родина! — удовлетворенно вздохнул Пантелей Прокофьевич.

Он правил на средину хутора. Лошади резво бежали с горы, сани шли под раскат, виляя из стороны в сторону. Григорий отгадал отцовский замысел, но все же спросил:

— Ты чего ж правишь в хутор? Держи к своему проулку.

Пантелей Прокофьевич, поворачиваясь и ухмыляясь в заиндевевшую бороду, мигнул:

— Сыновей на войну провожал рядовыми казаками, а выслужились в офицерья. Что ж, аль мне не гордо прокатить сына по хутору? Пущай глядят и завидуют. А у меня, брат, сердце маслом обливается!

На главной улице он сдержанно крикнул на лошадей,— свешиваясь набок, поиграл махорчатым кнутом, и лошади, чуя близкий дом (словно и не лег позади путь в сто сорок верст!), пошли свежо, шибко. Встречавшиеся казаки кланялись, с базов и из окон куреней из-под ладоней глядели бабы; через улицу, кудахтая, перекати-полем катились куры. Все шло гладко, как по-писаному. Проехали площадь. Конь Григория покосил глазом на чью-то

привязанную к моховскому забору лошадь, заржал и высоко понес голову. Завиднелись конец хутора, крыша астаховского куреня... Но тут-то, на первом перекрестке, случилось неладное: поросенок, бежавший через улицу, замешкался, попал под копыта лошадей, хрюкнул и откатился раздавленный, повизгивая, норовя приподнять переломленный хребет.

— Ах, черти тебя поднесли!..— выругался Пантелей Прокофьевич, успев стегнуть кнутом раздавленного поросенка.

На беду принадлежал он Анютке, вдове Афоньки Озерова,— бабе злой и не в меру длинноязыкой. Она не замедлила выскочить на баз; накидывая платок, посыпала такими отборными ругательствами, что Пантелей Прокофьевич даже лошадей попридержал, повернулся назад.

— Замолчи, дура! Чего орешь? Заплатим за твоего шелудивого!..

— Нечистый дух!.. Чертяка!.. Сам ты шелудивый, кобель хромой!.. Вот к атаману тебя зараз!..— горланила она, махая руками.— Я тебя, узду твою мать, научу, как сиротскую животину давить!..

Заело Пантелея Прокофьевича, крикнул, багровея:

— Халява!

— Турка проклятый!..— с живостью отозвалась Озерова.

— Сука, сто чертов твоей матери! — повысил басок Пантелей Прокофьевич.

Но Анютка Озерова за словом в карман сроду не лазила.

— Чужбинник! Б... старый! Воряга! Борону чужую украл!.. По жалмеркам бегаешь!..— зачастила она сорочьим говором.

— Вот я тебя кнутом, псюрня... Заткни зевало!

Но тут Анютка такое загнула, что даже Пантелей Прокофьевич,— человек, поживший и повидавший на своем веку,— зарозовел от смущения и сразу взмок пóтом.

— Трогай!.. Чего связался? — сердито сказал Григорий, видя, что понемногу на улицу выходит народ и со вниманием прислушивается к случайному обмену мнениями между старым Мелеховым и честной вдовой Озеровой.

— Ну, и язык... с вожжину длиной! — Пантелей Прокофьевич сокрушенно плюнул и так погнал лошадей, словно намеревался раздавить самое Анютку.

Уже проехав квартал, он не без боязни оглянулся:

— Плюется и костерит почем зря!.. Ишь ты, вражина... Чтоб ты лопнула поперек, чертяка толстая! — с вожделением сказал он.— Тебя бы вместе с твоим поросем стоптать! Попадись вот такой хлюстанке на язык,— одни мослы останутся.

Мимо рванулись голубые ставни куреня. Петро, без папахи, в распоясанной гимнастерке, растворял ворота. С крыльца мелькнули беленький платок и смеющееся, блестящее черными глазами лицо Дуняшки.

Целуя брата, Петро мельком заглянул ему в глаза:

— Здоровый?

— Рану получил.

— Где?

— Под Глубокой.

— Нужда заставила там огинаться! Давно бы шел домой.

Он тепло и дружески потряс Григория, с рук на руки передал Дуняшке. Обнимая крутые, вызревшие плечи сестры, Григорий поцеловал ее в губы и глаза, сказал, отступая, дивясь:

— Да ты, Дуняха, черт тебя знает!.. Ишо какая девка вышла, а я-то думал — дурненькая будет, никудышненькая.

— Ну, уж ты, братушка!..— Дуняшка увернулась от щипка и, сияя таким же, как у Григория, белозубым оскалом улыбки, отошла.

Ильинична несла на руках детей; ее бегом опередила Наталья. Расцвела и похорошела она диковинно. Гладко причесанные черные блестящие волосы, собранные позади в тяжелый узел, оттеняли ее радостно зарумянившееся лицо. Она прижалась к Григорию, несколько раз быстро невпопад коснулась губами его щек, усов и, вырывая из рук Ильиничны сына, протягивала его Григорию.

— Сын-то какой — погляди! — звенела с горделивой радостью.

— Дай мне *моего* сына поглядеть! — Ильинична взволнованно отстранила ее.

Мать нагнула голову Григория, поцеловала его в лоб и, мимолетно гладя грубой рукой его лицо, заплакала от волнения и радости.

— А дочь-то, Гри-и-иша!.. Ну, возьми же!..

Наталья посадила на другую руку Григория закутан ную в платок девочку, и он, растерявшись, не знал, на кого ему глядеть: то ли на Наталью, то ли на мать, то ли на де-

тишек. Насупленный угрюмоглазый сынишка вылит был в мелеховскую породу: тот же удлиненный разрез черных, чуть строгих глаз, размашистый рисунок бровей, синие выпуклые белки и смуглая кожа. Он совал в рот грязный кулачишко,— избочившись, неприступно и упорно глядел на отца. У дочери Григорий видел только крохотные внимательные и такие же черные глазенки,— лицо ее кутал платок.

Держа их обоих на руках, он двинулся было к крыльцу, но боль пронизала ногу.

— Возьми-ка их, Наташа...— Григорий виновато, в одну сторону рта, усмехнулся.— А то я на порожки не влезу...

Посреди кухни, поправляя волосы, стояла Дарья. Улыбаясь, она развязно подошла к Григорию, закрыла смеющиеся глаза, прижимаясь влажными теплыми губами к его губам.

— Табаком-то прет! — И смешливо поиграла полукружьями подведенных, как нарисованных тушью, бровей.

— Ну, дай ишо разок погляжу на тебя! Ах ты, мой чадунюшка, сыночек!

Григорий улыбался, щекочущее волнение хватало его за сердце, когда он прижимался к материнскому плечу.

Во дворе Пантелей Прокофьевич распрягал лошадей, хромал вокруг саней, алея красным кушаком и верхом треуха. Петро уже отвел в конюшню Григорьева коня, нес в сенцы седло и что-то говорил, поворачиваясь на ходу к Дуняшке, снимавшей с саней бочонок с керосином.

Григорий разделся, повесил на спинку кровати тулуп и шинель, причесал волосы. Присев на лавку, он позвал сынишку:

— Поди-ка ко мне, Мишатка. Ну чего ж ты,— не угадаешь меня?

Не вынимая изо рта кулака, тот подошел бочком, несмело остановился возле стола. На него любовно и гордо глядела от печки мать. Она что-то шептала на ухо девочке, спустила ее с рук, тихонько толкнула.

— Иди же!

Григорий сгреб их обоих; рассадив на коленях, спросил:

— Не угадаете меня, орехи лесные? И ты, Полюшка, не угадаешь папаньку?

— Ты не папанька,— прошептал мальчуган (в обществе сестры он чувствовал себя смелее).

— А кто же я?

— Ты — чужой казак.

— Вот так голос!..[1] — Григорий захохотал.— А папанька где ж у тебя?

— Он у нас на службе,— убеждающе, склоняя голову, сказала девочка (она была побойчей).

— Так его, чадунюшки! Пущай свой баз знает. А то он идей-то лытает по целому году, а его узнавай! — с поддельной суровостью вставила Ильинична и улыбнулась на улыбку Григория.— От тебя и баба твоя скоро откажется. Мы уж за нее хотели зятя примать.

— Ты что же это, Наталья? А? — шутливо обратился Григорий к жене.

Она зарделась, преодолевая смущение перед своими, подошла к Григорию, села около, бескрайне счастливыми глазами долго обводила всего его, гладила горячей черствой рукой его сухую коричневую руку.

— Дарья, на стол собирай!

— У него своя жена есть,— засмеялась та и все той же вьющейся, легкой походкой направилась к печке.

По-прежнему была она тонка, нарядна. Сухую, красивую ногу ее туго охватывал фиолетовый шерстяной чулок, аккуратный чирик сидел на ноге, как вточенный; малиновая сборчатая юбка была туго затянута, безукоризненной белизной блистала расшитая завеска. Григорий перевел взгляд на жену — и в ее внешности заметил некоторую перемену. Она приоделась к его приезду; сатиновая голубая кофточка, с узким кружевным в кисти рукавом, облегала ее ладный стан, бугрилась на мягкой большой груди; синяя юбка, с расшитым морщиненным подолом, внизу была широка, вверху — в обхват. Григорий сбоку оглядел ее полные, как выточенные, ноги, волнующе-тугой обтянутый живот и широкий, как у кормленой кобылицы, зад,— подумал: «Казачку из всех баб угадаешь. В одеже — привычка, чтоб все на виду было; хочешь — гляди, а хочешь — нет. А у мужичек зад с передом не разберешь,— как в мешке ходит...»

Ильинична перехватила его взгляд, сказала с нарочитой хвастливостью:

— Вот у нас как офицерские жены ходют! Ишо и городским нос утрут!

---

[1] Вот так голос! — Вот так так, вот это да!

— Чего вы там, маманя, гутарите! — перебила ее Дарья.— Куда уж нам до городских! Сережка вон сломалась, да и той грош цена! — докончила она с горестью.

Григорий положил руку на широкую, рабочую спину жены, в первый раз подумал: «Красивая баба, в глаза шибается... Как же она жила без меня? Небось завидовали на нее казаки, да и она, может, на кого-нибудь позавидовала. А что, ежли жалмеркой принимала?» От этой неожиданной мысли у него екнуло сердце, стало пакостно на душе. Он испытующе поглядел в ее розовое, лоснившееся и благоухавшее огуречной помадой лицо. Наталья вспыхнула под его внимательным взглядом,— осилив смущение, шепнула:

— Ты чего так глядишь? Скучился, что ли?

— Ну, а как же!

Григорий отогнал негожие мысли, но что-то враждебное, неосознанное шевельнулось в эту минуту к жене.

Кряхтя, влез в дверь Пантелей Прокофьевич. Он помолился на образа, крякнул:

— Ну, ишо раз здоро́во живете!

— Слава богу, старик... Замерз? А мы ждали: щи горячие, прямо с пылу,— суетилась Ильинична, гремя ложками.

Развязывая на шее красный платок, Пантелей Прокофьевич постукивал обмерзшими подшитыми валенками. Стянул тулуп, содрал намерзшие на усах и бороде сосульки и, подсаживаясь к Григорию, сказал:

— Замерз, а в хуторе обогрелся... Переехали поросенка у Анютки...

— У какой? — оживленно спросила Дарья и перестала кромсать высокий белый хлеб.

— У Озеровой. Как она выскочит, подлюка, как понесет! И такой, и сякой, и жулик, и борону у кого-то украл. Какую борону? — черти ее знают!

Пантелей Прокофьевич подробно перечислил все прозвища, которыми наделяла его Анютка,— не сказал лишь о том, что упрекнула его в молодом грехе, по части жалмерок. Григорий усмехнулся, садясь за стол. И Пантелей Прокофьевич, желая оправдаться в его глазах, горячо докончил:

— Такую ересь перла, что и в рот взять нечего! Хотел уже вернуться, кнутом ее перепоясать, да Григорий был, а с ним все как-то вроде неспособно.

Петро отворил дверь, и Дуняшка на кушаке ввела красного, с лысиной, телка.

— К масленой блины с каймаком будем исть! — весело крикнул Петро, пихая телка ногой.

После обеда Григорий развязал мешок, стал оделять семью гостинцами.

— Это тебе, маманя...— Он протянул теплый шалевый платок.

Ильинична приняла подарок, хмурясь и розовея по-молодому.

Накинула его на плечи, да так повернулась перед зеркалом и повела плечами, что даже Пантелей Прокофьевич вознегодовал:

— Карга старая, а туда же — перед зеркалой! Тьфу!..

— Это тебе, папаша...— скороговоркой буркнул Григорий, на глазах у всех разворачивая новую казачью фуражку, с высоко вздернутым верхом и пламенно-красным околышем.

— Ну, спаси Христос! А я фуражкой бедствовал. В лавках нонешний год их не было... Абы в чем лето проходил... В церкву ажник страмно идтить в старой. Ее, эту старую, уж на чучело впору надевать, а я носил...— говорил он сердитым голосом, озираясь, словно боясь, что кто-нибудь подойдет и отнимет сыновний подарок.

Сунулся примерить было к зеркалу, но взглядом стерегла его Ильинична. Старик перенял ее взгляд, круто вильнул, захромал к самовару, перед ним и примерял, надевая фуражку набекрень.

— Ты чего ж это, дрючок старый? — напустилась Ильинична.

Но Пантелей Прокофьевич отбрехался:

— Господи! Ну и глупая ты! Ить самовар, а не зеркала? То-то и оно!

Жену наделил Григорий шерстяным отрезом на юбку; детям роздал фунт медовых пряников; Дарье — серебряные с камешками серьги; Дуняшке — на кофточку; Петру — папирос и фунт табаку.

Пока бабы тараторили, рассматривая подарки, Пантелей Прокофьевич пиковым королем прошелся по кухне и даже грудь выгнул:

— Вот он, казачок Лейб-гвардии Казачьего полка! Призы сымал! На инператорском смотру первый захватил! Седло и всю амуницию! Ух, ты!

Петро, покусывая пшеничный ус, любовался отцом, Григорий посмеивался. Закурили, и Пантелей Прокофьевич, опасливо поглядев на окна, сказал:

— Покеда не подошли разная родня и соседи... расскажи вот Петру, что там делается.

Григорий махнул рукой.

— Дерутся.

— Большевики где зараз? — спросил Петро, усаживаясь поудобней.

— С трех сторон: с Тихорецкой, с Таганрога, с Воронежа.

— Ну, а ревком ваш что думает? Зачем их допущает на наши земли? Христоня с Иваном Алексеевичем приехали, брехали разное, но я им не верю. Не так что-то там...

— Ревком — он бессильный. Бегут казаки по домам.

— Через это, значит, и прислоняется он к Советам?

— Конешно, через это.

Петро помолчал; вновь закуривая, открыто глянул на брата:

— Ты какой же стороны держишься?

— Я за Советскую власть.

— Дурак! — порохом пыхнул Пантелей Прокофьевич.— Петро, хучь ты втолкуй ему!

Петро улыбнулся, похлопал Григория по плечу.

— Горячий он у нас — как необъезженный конь. Рази ж ему втолкуешь, батя?

— Мне нечего втолковывать! — загорячился Григорий.— Я сам не слепой... Фронтовики что у вас гутарют?

— Да что нам эти фронтовики! Аль ты этого дуролома Христана не знаешь? Чего он может понимать? Народ заблудился весь, не знает, куда ему податься... Горе одно! — Петро закусил ус.— Гляди вот, что к весне будет,— не соберешь... Поиграли и мы в большевиков, на фронте, а теперь пора за ум браться. «Мы ничего чужого не хотим и наше не берите»,— вот как должны сказать казаки всем, кто нахрапом лезет к нам. А в Каменской у вас грязно дело. Покумились с большевиками,— они и уставляют свои порядки.

— Ты, Гришка, подумай. Парень ты не глупой. Ты должен уразуметь, что казак — он, как был казак, так казаком и останется. Вонючая Русь у нас не должна править. А ты знаешь, что иногородние зараз гутарют! Всю землю разделить на души. Это как?

— Иногородним коренным, какие в Донской области живут издавна, дадим землю.

— А шиша им! Вот им выкусить!..— Пантелей Прокофьевич сложил дулю; дергая большим когтястым пальцем, долго водил вокруг Григорьева горбатого носа.

По крыльцу загромыхали шаги. Застонали схваченные морозом порожки. Вошли Аникушка, Христоня, Томилин Иван в несуразно высокой заячьего меха папахе.

— Здорово, служивый! Пантелей Прокофич, магарыч станови! — гаркнул Христоня.

От его крика испуганно мыкнул задремавший у теплой печки телок. Он, оскользаясь, вскочил на свои еще шаткие ноги, круглыми агатовыми глазами глядя на пришедших, и, наверное, от испуга, зацедил на пол тоненькую струйку. Дуняшка перебила ему охоту, легонько стукнув по спине; вытерев лужу, подставила поганый чугунок.

— Телка испужал, горластый! — досадливо сказала Ильинична.

Григорий пожал казакам руки, пригласил садиться. Вскоре пришли еще казаки с этого края хутора. Под разговор накурили так, что лампа замигала и надсадно закашлял телок.

— Лихоманка вас забери! — ругалась Ильинична, уже в полночь выпроваживая гостей.— Вон на баз ступайте, там и дымите, трубокуры! Идите, идите! Служивый наш ишо не отдыхал с дороги. Ступайте с богом!

XIV

Наутро Григорий проснулся позже всех. Разбудило его громкое, как весной, чулюканье воробьев под застрехами крыши и за наличниками окон. В щелях ставней пылилась золотая россыпь солнечных лучей. Звонили к обедне. Григорий вспомнил, что сегодня — воскресенье. Натальи не было рядом с ним, но перина еще хранила тепло ее тела. Она, очевидно, встала недавно.

— Наташа! — позвал Григорий.

Вошла Дуняшка.

— Тебе чего, братушка?

— Открой окошки и покличь Наталью. Она что делает?

— Стряпает с маманей, зараз придет.

Наталья вошла, зажмурилась от темноты.

— Проснулся?

От рук ее пахло свежим тестом. Григорий лежа обнял ее, вспомнил ночь,— засмеялся.

— Проспала?

— Ага! Уморила... ноченька.— Она улыбнулась, краснея, пряча на волосатой груди Григория голову.

Помогла Григорию перебинтовать рану, достала из сундука праздничные шаровары, спросила:

— Мундир с крестами наденешь?

— Ну его! — Григорий испуганно отмахнулся.

Но Наталья упрашивала неотступно:

— Надень! Батяня будет довольный. Чего же ты, задаром их заслуживал, чтоб они по сундукам валялись?

Уступая ее настояниям, Григорий согласился. Он встал, взял у Петра бритву, побрился, вымыл лицо и шею.

— Затылок-то брил? — спросил Петро.

— Ох, черт, забыл!

— Ну, садись, побрею.

Холодный помазок обжег шею. Григорий видел в зеркало, как Петро, по-детски высунув на сторону язык, водит бритвой.

— Шея-то потоньшела у тебя, как у быка после пахоты,— улыбнулся он.

— Небось, на казенных харчах не разглажеешь.

Григорий надел мундир с погонами хорунжего, с густым завесом крестов и, когда погляделся в запотевшее зеркало,— почти не узнал себя: высокий, сухощавый, цыгановато-черный офицер глядел на него двойником.

— Ты — как полковник! — восторженно заметил Петро, без зависти любуясь братом.

Слова эти, помимо воли Григория, доставили ему удовольствие. Он вышел в кухню. Любующимся взглядом пристыла к нему Дарья. Дуняшка ахнула:

— Фу, какой ты пышный!..

Ильинична и тут не удержалась от слез. Вытирая их грязной завеской, ответила на подтрунивание Дуняшки:

— Народи ты себе таких, чечекалка! По крайней мере два сыночка — и обое в люди вышли!

Наталья не сводила с мужа влюбленных, горячих и затуманенных глаз.

Григорий, накинув внапашку шинель, вышел на баз. Ему трудно было спускаться с крыльца — мешала раненая нога. «Без костыля не обойдусь»,— подумал он, придерживаясь за перила.

Пулю вырезали ему в Миллерове, ранку затянуло коричневым струпом,— он-то, стягивая кожу, и препятствовал вольно сгибаться ноге.

На завалинке грелся кот. Возле крыльца на солнцепеке снег вытаял,— мокрела лужица. Григорий внимательно и обрадованно оглядывал баз. Тут же около крыльца стоял столб, с колесом, укрепленным наверху. С детства помнил Григорий это колесо, устроенное для бабьих нужд: на него, не сходя с крыльца, ставили на ночь молоко в корчажках, днем сушилась на нем посуда, выжаривались на солнце горшки. Некоторые перемены на базу бросались в глаза: дверь амбара была выкрашена взамен слинявшей краски желтой глиной, сарай заново покрыт еще не побуревшей житной соломой; костер поднятых дыбом слег казался меньше,— должно быть, израсходовали часть на поправку городьбы. Насыпной горб погреба сизел золой; на ней, зябко поджав ногу, стоял черный, как ворон, петух в окружении десятка оставленных на племя пестроцветных кур. Под сараем спасался от зимней непогоды сельскохозяйственный инвентарь: ребристо торчали остовы арб, горела какая-то металлическая часть косилки, посыпанная через трещину в крыше сеевом солнечного света. Около конюшни, на навозном сугреве, сидели гуси. Чубатый голландский гусак высокомерно скосился на хромавшего мимо Григория.

Оглядев все хозяйство, Григорий вернулся в курень.

В кухне сладко пахло топленым коровьим маслом, горячим припеком хлебов. Дуняшка на узорчатой тарелке обмывала моченые яблоки. Глянув на них, Григорий, оживляясь, спросил:

— Арбузы соленые есть?

— Полезь достань, Наталья! — откликнулась Ильинична.

Пришел из церкви Пантелей Прокофьевич. Просфорку с вынутой частицей разломил на девять частей — по числу членов семьи, роздал за столом. Сели завтракать. Петро, тоже принарядившийся, даже усы подмасливший чем-то, сидел рядом с Григорием. Против них на краешке табуретки мостилась Дарья. Столб солнечных лучей валился ей на розовое, намазанное жировкой лицо. Она щурила глаза, недовольно снижала блестящие на солнце черные ободья бровей. Наталья кормила детей печеной тыквой; улыбаясь, изредка поглядывала на Григория. Дуняшка сидела рядом

с отцом. Ильинична расположилась на краю, поближе к печке.

Ели, как и всегда по праздникам, сытно и много. Щи с бараниной сменила лапша, потом — вареная баранина, курятина, холодец из бараньих ножек, жареная картошка, пшенная с коровьим маслом каша, кулага, блинцы с каймаком, соленый арбуз. Григорий, огрузившийся едой, встал тяжело, пьяно перекрестился; отдуваясь прилег на кровать. Пантелей Прокофьевич еще управлялся с кашей: плотно притолочив ее ложкой, он сделал посредине углубление (так называемый колодец), налил в него янтарное масло и аккуратно черпал ложкой пропитанную маслом кашу. Петро, крепко любивший детишек, кормил Мишатку; балуясь, мазал ему кислым молоком щеки и нос.

— Дядя, не дури!

— А что?

— На что мажешь?

— А что?

— Я маманьке скажу!

— А что?

У Мишатки гневно сверкали мелеховские угрюмоватые глазенки, дрожали в них слезы обиды; вытирая кулаком нос, он кричал, отчаявшись уговорить добром:

— Не мажься!.. Глупой!.. Дурак!

Петро довольно хохотал и снова потчевал племянника: ложку — в рот, другую — на нос.

— Чисто маленький... связался,— бурчала Ильинична.

Дуняшка, подсев к Григорию, рассказывала:

— Петро — ить он дурастной, завсегда выдумывает. Надысь вышел с Мишаткой на баз,— он и захотел за большой, спрашивает: «Дядяня, можно возле крыльца?» А Петро: «Нет, нельзя. Отойди трошки». Мишатка чудок отбег: «Тут?» — «Нет, нет. Беги вон к амбару». От амбара проводил его к конюшне, от конюшни — к гумну. Гонял-гонял, покеда он в штанишки прямо... Наталья же и ругалась!

— Дай, я сам буду! — почтовым бубенчиком звенел Мишатка

Смешливо шевеля усами, Петро не соглашался.

— Нет уж, парень! Я буду тебя кормить.

— Я сам!

— У нас сам с самой в хлеву сидят — видал? Бабка их помоями кормит.

С улыбкой прислушиваясь к их разговору, Григорий сворачивал курить. Подошел Пантелей Прокофьевич.

— Думаю ноне в Вёшки поехать.

— Чего туда?

Пантелей Прокофьевич густо отрыгнул кулагой, пригладил бороду.

— Делишки там есть к шорнику — два хомута поправлял.

— Обыденки съездишь?

— А то чего ж? К вечеру возвернусь.

Отдохнув, он запряг в розвальни старую, ослепшую в этот год кобылицу, поехал. Дорога лежала лугом. Два часа спустя был он в Вешенской. Заехал на почту, забрал хомуты и завернул к давнишнему знакомцу и куму, жившему у новой церкви. Хозяин, большой хлебосол, усадил его обедать.

— На почте был? — спросил он, наливая что-то в рюмку.

— Был,— протяжно ответил Пантелей Прокофьевич, зорко и удивленно поглядывая на графинчик, нюхая воздух, как собака звериный след.

— Новья ничего не слыхал?

— Новья? Ничего кубыть не слыхал. А что?

— Каледин, Алексей Максимовыч-то, приказал долго жить.

— Да что ты?!

Пантелей Прокофьевич заметно позеленел, забыл про подозрительный графин и запах, отвалился на спинку стула. Хозяин, хмуро моргая, говорил:

— По телеграфу передали, что надысь застрелился в Новочеркасском. Один был на всю область стоющий генерал. Кавалер был, армией командовал. А какой души был человек! Уж этот казачество в обиду не дал бы.

— Погоди, кум! Как же теперича? — растерянно спрашивал Пантелей Прокофьевич, отодвигая рюмку.

— Бог его знает. Чижолое время наступает. Небось, от хорошей жизни не будет человек в самого себя пулять.

— Через чего ж он решился?

Кум — казак кряжистый, как старовер,— зло махнул рукой.

— Откачнулись от него фронтовики, в область большевиков напущали,— вот и ушел атаман. Найдутся аль нет такие-то? Кто нас оборонит? В Каменской какой-то рывком образовался, казаки в нем фронтовые... И у нас...

слыхал, небось? Приказ от них пришел: чтоб атаманьев долой и чтоб эти выбрать рывкомы. То-то мужичье головы поподняло! Все эти плотничишки, ковали, хапуги разные,— ить их в Вёшках, как мошкары в лугу!

Долго молчал Пантелей Прокофьевич, повесив седую голову; а когда поднял ее,— строг и жесток был взгляд.

— Чего это у тебя в графине?

— Спирток. С Кавказа привез племянник.

— Ну, давай, кум, помянем Каледина, покойного атамана. Царство ему небесное!

Выпили. Дочь хозяина, высокая веснушчатая девка, подала закусить. Пантелей Прокофьевич сначала поглядывал на кобылу, понуро стоявшую возле хозяйских саней, но кум его уверил:

— Не беспокойся об лошади. Велю напоить и корму дать.

И Пантелей Прокофьевич за горячим разговором и за графином вскоре забыл и про лошадь и про все на свете. Он несвязно рассказывал о Григории, спорил о чем-то с захмелевшим кумом, спорил и после не помнил о чем. Встрепенулся уже вечером. Не глядя на упрашивания остаться ночевать, решил ехать. Кобылу запряг ему хозяйский сын, сесть в сани помог кум. Он надумал проводить гостя; рядом легли они в розвальнях, обнялись. Сани у них зацепились в воротах, потом цеплялись за каждый угол, пока не выехали на луг. Тут кум заплакал и добровольно упал с саней. Долго стоял раком, ругался, не в состоянии подняться на ноги. Пантелей Прокофьевич погнал кобылу рысью, не видел, как провожавший его кум ползет по снегу на четвереньках, тычась носом в снег, счастливо хохочет и просит хрипком:

— Не щекоти!.. Не щекоти, по-жа-лу-ста!

Несколько раз огретая кнутом, кобыла Пантелея Прокофьевича шла шибкой, но неуверенной, слепой рысью. Вскоре хозяин ее, одолеваемый хмельной дремотой, привалился к стенке саней головой, замолк. Вожжи случайно оказались под ним, и кобыла, не управляемая и беспомощная, сошла на тихий шаг. На первом же свилке она сбилась на дорогу к хутору Малый Громченок, пошла по ней. Через несколько минут потеряла и эту дорогу. Шла уже целиной, бездорожьем, стряла в глубоком у леса снегу; храпя, спускалась в ложбинки. Сани зацепились за куст,— и она стала. Толчок на секунду пробудил старика. Пантелей Прокофьевич приподнял голову, крикнул сипло:

— Но, дьявол! — и улегся снова.

Кобыла благополучно миновала лес, удачно спустилась на Дон и по ветру, доносившему с востока запах кизячного дыма, направилась к хутору Семеновскому.

В полуверсте от хутора, с левой стороны Дона, есть прорва, в нее веснами на сбыве устремляется полая вода. Около прорвы из супесного берега бьют ключи — лед там не смерзается всю зиму, теплится зеленым широким полудужьем полынья, и дорога по Дону опасливо обегает ее, делает крутой скачок в сторону. Весною, когда через прорву могучим потоком уходит обратно в Дон сбывающая вода, в этом месте крутит коловерть, ревет вода, сплетая разнобоистые струи, вымывая дно; и все лето на многосаженной глубине держатся сазаны, прибиваясь к близкому от прорвы дряму, наваленному с берега.

К полынье, к левому ее краю, и направляла мелеховская кобыла слепой свой шаг. Оставалось саженей двадцать, когда Пантелей Прокофьевич заворочался, чуть приоткрыл глаз. С черного неба глядели желто-зеленые невызревшие черешни звезд. «Ночь...» — туманно сообразил Пантелей Прокофьевич и ожесточенно дернул вожжи:

— Но, но-о!.. Вот я тебя, хреновина старая!

Кобыла затрусила рысью. Запах недалекой воды ударил ей в ноздри. Она торчмя поставила уши, чуть покосила в сторону хозяина слепым недоумевающим глазом. До слуха ее вдруг доплыл плеск смыкающейся волны. Дико всхрапнув, крутнулась в сторону, попятилась. Под ногами ее мягко хрупнул источенный из-под испода лед, отвалился оснеженной краюхой. Кобыла захрапела смертным напуганным храпом. Изо всей силы она упиралась задними ногами, но передние уже провалились — были в воде, под переступавшими задними ломалось крошево льда. Ухнув, лед с плеском раздался. Полынья глотнула кобылицу, и она судорожно дернула задней ногой, стукнула по оглобле. В этот же миг Пантелей Прокофьевич, услышавший неладное, прыгнул с саней, откатился назад. Он видел, как сани, увлекаемые тяжестью кобылы, поднялись дыбом, обнажив блеснувшие при звездном свете полозья, — скользнули в черно-зеленую глубину, и вода, перемешанная с кусками льда, мягко зашипела, чуть не доплеснулась до него волной. Задом, с невероятной быстротой отполз Пантелей Прокофьевич и только тогда твердо вскочил на ноги, ревнул:

— Ка-ра-у-у-ул, люди добрые!.. У-то-па-а-а-ем!..

Хмель у него — словно клином вышибло. Он подбежал к полынье. Остро блестел свежеотломленный лед. Ветер и стремя гоняли по широкому черному кругу полыньи куски льда, волны трясли зелеными вихрами, шелестели. Тишина кругом стояла мертвая. В дальнем хуторе желтили темноту огни. Иоступленно горели и дрожали на плюшевом небе зернистые, как свежеперевеянные, звезды. Ветерок пушил поземкой, она сипела, мучнистой пылью летела в черное хайло полыньи. А полынья чуть дымилась паром и так же радушно и жутко чернела.

Пантелей Прокофьевич понял, что кричать теперь глупо и бесполезно. Он огляделся,— сообразил, куда попал пьяным невзначаем, и затрясся от злости на самого себя, на случившееся. В руках его остался кнут, с ним он успел соскочить. Матерясь, он долго хлестал себя через спину, но было не больно,— защищала дубленая шуба, а раздеваться ради этого казалось бессмысленно. Выдернув из бороды щепоть волос и перечислив в уме пропавшие покупки, стоимость кобылы, саней и хомутов, яростно выругался, еще ближе подошел к полынье.

— Черт слепая!..— дрожливым, стенящим голосом сказал он, обращаясь к утонувшей кобыле.— Курва! Сама утопла и меня было-к утопила! Куда ж тебя занесло нечистая сила? Черти тебя там будут запрягать и ездить, а погонять им нечем!.. Нате ж вам и кнут!..— он отчаянно размахнулся, кинул на середку полыньи вишневое кнутовище.

Оно, блюкнув, торчмя воткнулось в воду, ушло вглубь.

XV

После того как калединцы потрепали революционные казачьи части, Донской ревком, вынужденный перебраться в Миллерово, отправил на имя руководителя боевыми операциями против Каледина и контрреволюционной Украинской рады декларацию следующего содержания:

Харьков. 19 января 1918 года. Из Луганска, № 449, 18 ч. 20 м.— Донской казачий Военно-революционный комитет просит вас передать в Петроград Совету Народных Комиссаров следующую резолюцию Донской области.

Казачий Военно-революционный комитет на основании постановления фронтового съезда в станице Каменской постановил:

1. Признать центральную государственную власть Российской Советской Республики, Центральный Исполнительный Комитет съезда Советов казачьих, крестьянских, солдатских и рабочих депутатов и выделенный им Совет Народных Комиссаров.

2. Создать краевую власть Донской области из съезда Советов казачьих, крестьянских и рабочих депутатов.

Примечание. Земельный вопрос Донской области разрешается тем же областным съездом.

После получения этой декларации на помощь войскам ревкома двинулись красногвардейские отряды, при помощи которых и был разгромлен карательный отряд Чернецова и восстановлено положение. Инициатива перешла в руки ревкома. После взятия Зверева, Лихой красногвардейские отряды Саблина и Петрова, подкрепленные казачьими частями ревкома, развивают наступление и теснят противника к Новочеркасску.

На правом фланге, в направлении Таганрога, Сиверс [1], понесший под Неклиновкой поражение от добровольческого отряда полковника Кутепова, оказался в Амвросиевке, потеряв одно орудие, 24 пулемета и броневик. Но в Таганроге, в день поражения и отхода Сиверса, полыхнуло восстание на Балтийском заводе. Рабочие выбили из города юнкеров. Сиверс оправился, перешел в наступление,— развивая его, оттеснил добровольцев до Таганрога.

Успех явно клонился на сторону советских войск. С трех сторон замыкали они Добровольческую армию и остатки калединских «лоскутных» отрядов. 28 января Корнилов прислал Каледину телеграмму, извещавшую о том, что Добровольческая армия покидает Ростов и уходит на Кубань.

29-го, в девять часов утра, в атаманском дворце было созвано экстренное совещание членов донского правительства. Каледин пришел из своей квартиры позже всех. Он тяжело присел к столу, подвинул к себе бумаги. Верхушки щек его пожелтели от бессонницы, под выцветшими угрюмыми глазами лежали синие тени; словно тлен тронул и изжелтил его похудевшее лицо. Медленно прочитал он телеграмму Корнилова, сводки от командиров частей, противостоявших на севере от Новочеркасска натиску

---

[1] Сиверс Р. Ф.— бывший прапорщик. Большевик. В 1917 г. был редактором большевистской «Окопной правды». Один из руководителей вооруженной борьбы с белогвардейщиной и интервенцией на Украине и Дону. Умер от тяжелого ранения в декабре 1918 г.

красногвардейцев. Тщательно утюжа кипку телеграмм широкой белой ладонью, не поднимая опухших, затененных синью век, глухо сказал:

— Добровольческая армия уходит. Для защиты области и Новочеркасска осталось сто сорок семь штыков...

Живчик подергал у него веко левого глаза, судорога наплыла от угла сжатых губ; повысив голос, он продолжал:

— Положение наше безнадежное. Население не только нас не поддерживает, но настроено к нам враждебно. Сил у нас нет, и сопротивление бесполезно. Я не хочу лишних жертв, лишнего кровопролития. Предлагаю сложить свои полномочия и передать власть в другие руки. Свои полномочия войскового атамана я с себя слагаю.

Митрофан Богаевский, глядевший в широкий пролет окна, поправил пенсне,— не поворачивая головы, сказал:

— Я тоже слагаю с себя свои полномочия.

— Правительство в целом, разумеется, тоже слагает полномочия. Встает вопрос — кому же мы передадим власть?

— Городской думе,— сухо ответил Каледин.

— Надо это оформить,— нерешительно заметил член правительства Карев.

Минуту тяжело и неловко молчали. Матовый свет январского пасмурного утра томился за вспотевшими окнами. Город, завуалированный туманом и инеем, дремно молчал. Слух не прощупывал обычного пульса жизни. Орудийный гул (отголоски боев, шедших где-то под станцией Сулин) мертвил движение, висел над городом глухой невысказанной угрозой.

За окнами сухо и четко кричали перелетавшие вороны. Они кружились над белой колокольней, как над падалью. На Соборной площади лиловый и свежий лежал снег. По нему редкий проходил пешеход да изредка проезжали извозчичьи сани, оставляя за собой темные нити проследка.

Изломав стылую тишину, Богаевский предложил составить акт о передаче власти городской думе.

— Надо бы совместно с ними собраться для передачи.

— В какое время удобней всего?

— Позднее, часа в четыре.

Члены правительства, словно обрадовавшись, что склепанная молчанием тишина распалась, начали обсуждать вопрос о передаче власти, о времени собрания. Каледин молчал, тихо и размеренно постукивал по столу вы-

пуклыми ногтями. Под обвисшими бровями тускло, слюдяным блеском, туманились глаза. Безмерная усталь, отвращение, надрыв делали взгляд его отталкивающим и тяжелым.

Один из членов правительства, возражая кому-то, говорил нудно и долго. Каледин прервал его с тихим озлоблением:

— Господа, короче говорите! Время не ждет. Ведь от болтовни Россия погибла. Объявляю перерыв на полчаса. Обсудите и... потом поскорее надо кончить это.

Он ушел в свою квартиру. Члены правительства, разбившись на кучки, тихо разговаривали. Кто-то сказал о том, что Каледин плохо выглядит. Богаевский стоял у окна, до слуха его дошла фраза, произнесенная полушепотом:

— Для такого человека, как Алексей Максимович, самоубийство — единственный приемлемый выход.

Богаевский вздрогнул, быстрыми шагами направился в квартиру Каледина. Вскоре он вернулся в сопровождении атамана.

Решено было собраться в четыре часа совместно с городской думой для передачи ей власти и акта. Каледин встал, за ним поднялись остальные. Прощаясь с одним из матерых членов правительства, Каледин следил глазами за Яновым, о чем-то шептавшимся с Каревым.

— В чем дело? — спросил он.

Янов подошел немного смущенный.

— Члены правительства — неказачья часть — просят о выдаче им денег на проезд.

Каледин сморщился, кинул жестко:

— Денег у меня нет... Надоело!

Стали расходиться. Богаевский, слышавший этот разговор, отозвал Янова в сторону.

— Пойдемте ко мне. Скажите Светозарову, чтобы он подождал в вестибюле.

Они вышли следом за быстро шагавшим ссутулившимся Калединым. У себя в комнате Богаевский вручил Янову пачку денег.

— Здесь четырнадцать тысяч. Передайте тем.

Светозаров, ожидавший Янова в вестибюле, принял деньги, поблагодарил и, распрощавшись, направился к выходу. Янов, принимая из рук швейцара шинель, услыша шум на лестнице, оглянулся. По лестнице прыжками спускался адъютант Каледина — Молдавский.

— Доктора! Скорее!!

Швырнув шинель, Янов кинулся к нему. Дежурный адъютант и ординарцы, толпившиеся в вестибюле, окружили сбежавшего вниз Молдавского.

— В чем дело?! — крикнул, бледнея, Янов.

— Алексей Максимович застрелился! — Молдавский зарыдал, грудью упал на перила лестницы.

Выбежал Богаевский; губы его дрожали, как от страшного холода,— он заикался.

— Что? Что?

По лестнице, толпой, опережая друг друга, бросились наверх. Гулко и дроботно звучали шаги бежавших. Богаевский, хлебая раскрытым ртом воздух, хрипло дышал. Он первый с громом откинул дверь, через переднюю пробежав в кабинет. Дверь из кабинета в маленькую комнату была широко распахнута. Оттуда полз и курился прогорклый сизый дымок, запах сожженного пороха.

— Ох! ох! А-а-а-ха-ха!.. Але-о-оша!.. Родно-о-о-ой...— слышался неузнаваемо-страшный, раздавленный голос жены Каледина.

Богаевский, как при удушье, разрывая на себе ворот сорочки, вбежал туда. У окна, вцепившись в тусклую золоченую ручку, горбатился Карев. На спине его под сюртуком судорожно сходились и расходились лопатки, он крупно, редко дрожал. Глухое, воюще-звериное рыданье взрослого чуть не выбило из-под ног Богаевского почву.

На походной офицерской койке, сложив на груди руки, вытянувшись, лежал на спине Каледин. Голова его была слегка повернута набок, к стене; белая наволочка подушки оттеняла синеватый влажный лоб и прижатую к ней щеку. Глаза сонно полузакрыты, углы сурового рта страдальчески искривлены. У ног его билась упавшая на колени жена. Вязкий одичавший голос ее был режуще остр. На койке лежал кольт. Мимо него извилисто стекала по сорочке тонкая и веселая черно-рудая струйка.

Возле койки на спинке стула аккуратно повешен френч, на столике — часы-браслет.

Криво качнувшись, Богаевский упал на колени, ухом припал к теплой и мягкой груди. Пахло крепким, как уксус, мужским потом. Сердце Каледина не билось. Богаевский,— вся жизнь его в этот момент ушла в слух,— несказанно жадно прислушивался, но слышал только четкое

тиканье лежавших на столике ручных часов, хриплый, захлебывающийся голос жены мертвого уже атамана да через окно — обрекающее, надсадное и звучное карканье ворон.

XVI

Черные глаза Анны, блещущие слезами и улыбкой, увидел Бунчук, как только в первый раз открыл глаза.

Три недели был он в бредовом беспамятстве. Три недели странствовал в ином, неосязаемом и фантастическом мире. Сознание вернулось к нему вечером двадцать четвертого декабря. Он долго смотрел на Анну серьезным затуманенным взглядом, пытался восстановить в памяти все, что было связано с ней; это удалось ему лишь отчасти,— память была туга, неподатлива, многое пока еще хоронила где-то в глубине.

— Дай мне пить...— по-прежнему издалека донесся до слуха собственный его голос, и от этого стало весело; Бунчук улыбнулся.

Анна стремительно пошла к нему, она вся светилась скупой, сдержанной улыбкой.

— Пей из моей руки,— она отстранила вяло тянувшуюся к кружке руку Бунчука.

Дрожа от усилий поднять голову, напился и устало отвалился на подушку. Долго смотрел в сторону, хотел что-то сказать, но слабость осилила,— задремал.

И опять, как и в первый раз — проснувшись, увидел прежде всего устремленные на него встревоженные глаза Анны, потом шафранный свет лампы, белый круг от нее на дощатом некрашеном потолке.

— Аня, поди ко мне.

Она подошла, взяла его за руку. Он ответил слабым пожатием.

— Как ты себя чувствуешь?

— Язык чужой, голова чужая, ноги тоже, а самому будто двести лет,— тщательно выговаривал он каждое слово. Помолчав, спросил: — Тиф у меня?

— Тиф.

Повел глазами по комнате, невнятно сказал:

— Где это?

Она поняла вопрос, улыбнулась.

— В Царицыне мы.

— А ты... как же?

— Я одна осталась с тобой.— И, словно оправдываясь или стараясь отвести какую-то не высказанную им мысль, заспешила: — Тебя нельзя было бросить у посторонних. Меня просил Абрамсон и товарищи из бюро, чтобы берегла тебя... Вот видишь, пришлось неожиданно ходить за тобой.

Он поблагодарил взглядом, слабым движением руки.

— Крутогоров?

— Уехал через Воронеж в Луганск.

— Геворкянц?

— Тот... видишь ли... он умер от тифа.

— О!..

Помолчали, словно чтя память покойного.

— Я боялась за тебя. Ты ведь был очень плох,— тихо сказала она.

— А Боговой?

— Всех потеряла из виду. Некоторые уехали в Каменскую. Но, послушай, тебе не вредно говорить? И потом, не хочешь ли молока?

Бунчук отрицательно качнул головой; с трудом владея языком, продолжал расспрашивать:

— Абрамсон?

— Уехал в Воронеж неделю назад.

Он неловко ворохнулся,— закружилась голова, больно хлынула к глазам кровь. Почувствовав на лбу прохладную ладонь, открыл глаза. Его мучил один вопрос: он был без сознания — кто же выполнял за ним грязный уход? Неужели она? Румянец чуть окрасил его щеки; спросил:

— Ты одна ухаживала за мной?

— Да, одна.

Он отвернулся к стене, прошептал:

— Стыдно им... Мерзавцы! Бросили на твое попечение...

Осложнение после тифа сказывалось на слухе: Бунчук плохо слышал. Врач, присланный Царицынским комитетом партии, сказал Анне, что к лечению можно будет приступить только после того, как больной окончательно оправится. Бунчук выздоравливал медленно. Аппетит был у него чудовищный, но Анна строго придерживалась диеты. На этой почве происходили у них столкновения.

— Дай мне еще молока,— просил Бунчук.

— Больше нельзя.

— Я прошу — дай! Что ты меня, голодом хочешь уморить?

— Илья, ты же знаешь, что больше меры я не могу дать тебе еды.

Он обиженно замолкал, отворачивался к стенке, вздыхал, подолгу не разговаривал. Страдая от жалости к нему, она выдерживала характер. Спустя некоторое время он, нахмуренный — и от этого еще более жалкий, поворачивался, просил умоляюще:

— Нельзя ли соленой капусты? Ну, пожалуйста, Аня, родная!.. Ты мне уважь... Вредно?.. Докторские басни!

Натыкаясь на решительный отказ, он иногда обижал ее резким словом:

— Ты не имеешь права так издеваться надо мной! Я сам позову хозяйку и спрошу у нее! Ты бессердечная и отвратительная женщина!.. Право, я начинаю тебя ненавидеть.

— Это лучшая расплата за то, что я перенесла, будучи твоей нянькой,— не выдерживала и Анна.

— Я тебя не просил оставаться возле меня! Бесчестно попрекать меня этим. Ты пользуешься своим преимуществом. Ну, да ладно... Не давай мне ничего! Пусть я издохну... Велика жалость!

У нее дрожали губы, но она сдерживалась, замолкала; потворствуя ему, терпеливо сносила все.

Раз только, после одной, особенно резкой перебранки, когда она отказала ему в лишней порции пирожков, Бунчук отвернулся, и она, со сжавшимся в комочек сердцем, заметила на его глазах блестки слез.

— Да ты просто ребенок! — воскликнула она.

Побежав на кухню, принесла полную тарелку пирожков.

— Ешь, ешь, Илюша, милый! Ну, полно, не сердись же! На вот этот, поджаренный! — и дрожащими руками совала в его руки пирожок.

Бунчук, глубоко страдая, попробовал отказываться, но не выдержал; вытирая слезы, сел и взял пирожок. По исхудавшему лицу его, густо обросшему курчавой мягкой бородой, скользнула виноватая улыбка, сказал, выпрашивая глазами прощение:

— Я хуже ребенка... Ты видишь: я чуть не заплакал...

Она глядела на его странно тонкую шею, на впалую, бестелесную грудь, видневшуюся в распахнутый ворот рубашки, на костистые руки, волнуемая глубокой неис-

пытанной раньше любовью и жалостью, в первый раз просто и нежно поцеловала его сухой желтый лоб.

Только через две недели был он в состоянии без посторонней помощи передвигаться по комнате. Высохшие в былку ноги подламывались; он заново учился ходить.

— Смотри, Анна, иду! — пытался пройтись независимо и быстро, но ноги не выдерживали тяжести тела, рвался из-под ступней пол.

Вынужденный прислониться к первой попавшейся опоре, Бунчук широко, как старик, улыбался, кожа на прозрачных щеках его туго натягивалась, морщинилась. Он смеялся старчески дребезжащим смешком и, обессилев от напряжения и смеха, снова падал на койку.

Квартира их была неподалеку от пристани. Из окна виднелся снеговой размет Волги, леса за ней — широким серым полудужьем, мягкие волнистые очертания дальних полей. Анна подолгу простаивала около окна, думая о своей диковинной, круто переломившейся жизни. Болезнь Бунчука странно сроднила их.

Вначале, когда после долгой, мучительной дороги приехала с ним в Царицын, было тяжко, горько до слез. В первый раз пришлось ей так близко и так оголенно взглянуть на изнанку общения с любимым. Стиснув зубы, меняла на нем белье, вычесывала из горячей головы паразитов, переворачивала каменно-тяжелое тело и, содрогаясь, с отвращением смотрела украдкой на его голое исхудавшее тело мужчины — на оболочку, под которой чуть теплилась дорогая жизнь. Внутренне все вставало в ней на дыбы, противилось, но грязь наружного не пятнила хранившегося глубоко и надежно чувства. Под его властный указ научилась преодолевать боль и недоумение. И преодолела. Под конец было лишь сострадание да бился, просачиваясь наружу, глубинный родник любви.

Раз как-то Бунчук сказал:

— Я тебе противен после всего этого... правда?

— Это было испытание.

— Чему? Выдержке?

— Нет, чувству.

Бунчук отвернулся и долго не мог унять дрожь губ. Больше разговоров на эту тему у них не было. Лишними и бесцветными были бы слова.

В середине января они выехали из Царицына в Воронеж.

XVII

Шестнадцатого января вечером Бунчук и Анна приехали в Воронеж. Пробыли там два дня и выехали на Миллерово, так как в день отъезда были получены вести, что туда перебрались Донской ревком и верные ему части, вынужденные под давлением калединцев очистить Каменскую.

В Миллерове было суетно и людно. Бунчук задержался там на несколько часов и со следующим поездом выехал в Глубокую. На другой день он принял пулеметную команду, а утром следующего дня был уже в бою с чернецовским отрядом.

После того как Чернецова разбили, им неожиданно пришлось расстаться. Прибежала Анна утром из штаба оживленная и чуть опечаленная.

— Ты знаешь — здесь Абрамсон. Он очень хочет повидать тебя. А потом еще новость — сегодня я уезжаю.

— Куда? — удивился Бунчук.

— Абрамсон, я и еще несколько товарищей едем в Луганск на агитационную работу.

— Ты бросаешь отряд? — холодновато спросил Бунчук.

Она засмеялась, прижимаясь к нему раскрасневшимся лицом:

— Признайся: тебя печалит не то, что бросаю отряд, а то, что тебя бросаю? Но ведь это на время. Я уверена, что на той работе я принесу больше пользы, чем около тебя. Агитация, пожалуй, больше в моей специальности, чем пулеметное дело...— и шаловливо повела глазом,— изученное хотя бы под руководством такого опытного командира, как Бунчук.

Вскоре пришел Абрамсон. Он по-прежнему был кипуч, деятелен, непоседлив, так же сверкал белым пятном седины на жуковой, как осмоленной, голове. Бунчуку искренне обрадовался.

— Поднялся на ноги? Оч-чень хорошо! Анну мы забираем.— И догадливо-намекающе сощурился: — Ты не возражаешь? Не возражаешь? Да-да... Да-да, оч-чень хорошо! Я оттого задаю такой вопрос, что вы, вероятно, сжились в Царицыне.

— Не скрываю, что мне жаль с ней расставаться,— Бунчук хмуро и натянуто улыбнулся.

— Жаль?! Уже и этого много... Анна, ты слышишь?

Он походил по комнате, на ходу поднял из-за сундука запыленный томик Гарина-Михайловского и, встрепенувшись, начал прощаться.

— Ты скоро, Анна?

— Иди. Я сейчас,— ответила та из-за перегородки.

Переменив белье, она вышла. На ней была подпоясанная ремнем защитная солдатская гимнастерка с карманами, чуть оттопыренными грудью, и та же черная юбка, местами заштопанная, но чистая безукоризненно. Тяжелые, недавно вымытые волосы пушились, выбивались из узла. Она надела шинель; затягивая пояс, спросила (недавнее оживление ее исчезло, и голос был тускл, просящ):

— Ты будешь участвовать в наступлении сегодня?

— Ну конечно! Ведь не буду же я сидеть сложа руки.

— Я прошу тебя... Послушай, будь осторожен! Ты сделаешь это ради меня? Да? Я оставлю тебе лишнюю пару шерстяных чулок. Не простудись, старайся не промочить ног. Из Луганска я напишу тебе.

У нее как-то сразу выцвели глаза; прощаясь, призналась:

— Вот видишь, мне очень больно уходить от тебя. Вначале, когда Абрамсон предложил ехать в Луганск, я оживилась, а сейчас чувствую, что без тебя там будет пустынно. Лишнее доказательство, что чувство сейчас излишне — оно вяжет... Ну, как бы то ни было, прощай!..

Прощались сдержанно-холодно, но Бунчук понял это так, как и надо было понять: она боялась растерять запас решимости.

Он вышел проводить. Анна пошла, суетливо поводя плечами, не оглядываясь. Ему хотелось окликнуть ее, но он заметил, прощаясь, в ее чуть косящем, затуманенном взгляде чрезмерный и влажный блеск; насилуя волю, крикнул с поддельной бодростью:

— Надеюсь, увидимся в Ростове! Будь здорова, Аня!

Анна оглянулась, ускорила шаг.

После ее ухода Бунчук со страшной силой почувствовал одиночество. Он вернулся с улицы в комнату, но сейчас же выскочил оттуда, как обожженный... Там каждый предмет еще дышал ее присутствием, каждая вещь хранила ее запах: и забытый носовой платок, и солдатский подсумок, и медная кружка — все, к чему прикасались ее руки.

Бунчук до вечера прослонялся по станице, испытывая небывалое беспокойство и такое ощущение, словно отре-

зали у него что-то и он никак не освоится в новом своем положении. Растерянно присматривался он к лицам незнакомых красногвардейцев и казаков, некоторых узнавал, многие узнавали его.

В одном месте его остановил казак-сослуживец по германской войне. Он затащил Бунчука к себе на квартиру, пригласил принять участие в игре. За столом дулись в «очко» красногвардейцы из отряда Петрова и недавно прибывшие матросы-мокроусовцы. Одетые табачным дымом, они звонко буцали картами, шуршали керенскими деньгами, ругались, бесшабашно кричали. Бунчука потянуло на воздух, вышел.

Выручило его то, что через час пришлось идти в наступление.

XVIII

После смерти Каледина Новочеркасская станица вручила власть походному атаману Войска Донского генералу Назарову. Двадцать девятого января съехавшимися на Круг делегатами он был избран войсковым наказным атаманом. На Круг собралась незначительная часть делегатов, преимущественно представители низовских станиц южных округов. Круг именовался Малым. Назаров, заручившись поддержкой Круга, объявил мобилизацию от восемнадцати до пятидесяти лет, но казаки неохотно брались за оружие, несмотря на угрозы и высылку в станицы вооруженных отрядов для производства мобилизации.

В день начала работ Малого круга в Новочеркасск с румынского фронта походным порядком пришел 6-й Донской казачий генерала Краснощекова полк, под командой войскового старшины Тацина. Полк от самого Екатеринослава шел с боями, прорывая большевистское кольцо. Его трепали под Пятихаткой, Межевой, Матвеевым-Курганом и во многих местах, но, несмотря на это, он прибыл почти в полном составе, при всех офицерах.

Полку была устроена торжественная встреча. После молебствия на Соборной площади Назаров благодарил казаков за то, что сохранили дисциплину, блестящий порядок и с оружием пришли на защиту Дона.

Вскоре полк был отправлен на фронт, под станцию Сулин, а через два дня пришли в Новочеркасск черные

вести: полк под влиянием большевистской агитации самовольно ушел с позиций и отказался защищать войсковое правительство.

Работа Круга шла вяло. Предрешенность исхода борьбы с большевиками чувствовалась всеми. Во время заседаний Назаров — этот энергичный, кипучий генерал — сидел, опершись на руку, закрыв ладонью лоб, словно мучительно о чем-то думая.

Рушились трухой последние надежды. Красная гвардия подступила к Новочеркасску и Ростову. Уже погромыхивало под Тихорецкой. Слухи шли, что движется из Царицына к Ростову красный командир хорунжий Автономов.

Ленин приказал Южному фронту 23 февраля [1] взять Ростов.

Утром двадцать второго в Ростов вошел отряд капитана Чернова, теснимый Сиверсом и с тыла обстреливаемый казаками Гниловской станицы.

Крохотная оставалась перемычка, и Корнилов, понявший, что оставаться в Ростове небезопасно, отдал приказ об уходе на станицу Ольгинскую. Весь день по вокзалу и офицерским патрулям постреливали с Темерника рабочие. Перед вечером из Ростова выступила густая колонна корниловских войск. Она протянулась через Дон жирной черной гадюкой — извиваясь, поползла на Аксай. По обрыхлевшему мокрому снегу грузно шли куценькие роты. Мелькали гимназические шинели со светлыми пуговицами, зеленоватые — реалистов, но в массе преобладали — солдатско-офицерские. Взводы вели полковники и капитаны. В рядах были юнкера и офицеры, начиная с прапорщиков, кончая полковниками. За многочисленными подводами обоза шли беженцы — пожилые, солидные люди, в городских пальто, в калошах. Женщины семенили около подвод, застревая в глубоком снегу, вихляясь на высоких каблуках.

В одной из рот Корниловского полка шел есаул Евгений Листницкий. В ряду с ним — подтянутый строевой офицер, штабс-капитан Старобельский, поручик Суворовского Фанагорийского гренадерского полка Бочагов и подполковник Ловичев — престарелый, беззубый боевой офицер, весь, как матерый лисовин, покрытый рыжей проседью.

---

[1] Здесь и далее даты — по новому стилю.

Накапливались сумерки. Морозило. От устья Дона, солоноватый и влажный, подпирал ветер. Листницкий привычно, не теряя ноги, месил растолченный снег, вглядываясь в лица обгонявших роту людей. Сбоку от дороги прошли командир Корниловского полка капитан Неженцев и бывший командир Преображенского гвардейского полка полковник Кутепов, в распахнутой шинели и сбитой на крутой затылок фуражке.

— Господин командир! — окликнул Неженцева подполковник Ловичев, ловко перехватывая винтовку.

Кутепов повернул широколобое, бычье лицо с широко посаженными черными глазами и подстриженной лопатистой бородкой; из-за его плеча выглянул на окрик Неженцев.

— Прикажите первой роте прибавить шаг! Ведь этак и замерзнуть не мудрено. Мы промочили ноги, а такой шаг на походе...

— Безобразие! — затрубил горластый и шумоватый Старобельский.

Неженцев, не отвечая, прошел мимо. Он о чем-то спорил с Кутеповым. Немного спустя опередил их Алексеев. Кучер гнал сытых вороных, с подвязанными хвостами лошадей; из-под копыт брызгали кругом снежные ошлепки. Красный от ветра Алексеев, с белыми приподнятыми усами и торчевыми, такими же белыми бровями, по самые уши натянул фуражку, сидел, бочком привалясь к спинке коляски, зябко придерживая левой рукой воротник. Офицеры улыбками проводили его знакомое всем лицо.

На взрыхленной множеством ног дороге кое-где просачивались желтые лужи. Идти было тяжело — ноги разъезжались, сырость проникала в сапоги. Листницкий, шагая, прислушивался к разговору впереди. Какой-то баритонистый офицер, в меховой куртке и простой казачьей папахе, говорил:

— Вы видели, поручик? Председатель Государственной думы Родзянко, старик — и идет пешком.

— Россия всходит на Голгофу...

Кашляя и с хрипом отхаркивая мокроту, кто-то пробовал иронизировать:

— Голгофа... с той лишь разницей, что вместо кремнистого пути — снег, притом мокрый, плюс чертовский холодище.

— Не знаете, господа, где ночевка?

— В Екатеринодаре.

— В Пруссии мы однажды такой вот поход ломали...

— Как-то нас приветит Кубань?.. Что?.. Разумеется, там иное дело.

— У вас есть курить? — спросил у Листницкого поручик Головачев.

Он снял грубую варежку, взял папиросу, поблагодарил и, высморкавшись по-солдатски, вытер пальцы о полу шинели.

— Усваиваете демократические манеры, поручик?..— тонко улыбнулся подполковник Ловичев.

— Поневоле усвоишь. Вы-то... или дюжиной носовых платков запаслись?

Ловичев не ответил. На красносединных усах его висели зеленоватые сосульки. Он изредка шморгал носом, морщился от холода, проникавшего сквозь подбитую ветром шинель.

«Цвет России»,— думал Листницкий, с острой жалостью оглядывая ряды и голову колонны, ломано изогнувшейся по дороге.

Проскакало несколько всадников, среди них — на высоком донце Корнилов. Его светло-зеленый полушубок, с косыми карманами по бокам, и белая папаха долго маячили над рядами. Густым рыкающим «ура» провожали его офицерские батальоны.

— Все бы это ничего, да вот семья...— Ловичев постариковски покряхтел, сбоку заглянул в глаза Листницкого, как бы ища сочувствия: — Семья осталась у меня в Смоленске...— повторил он.— Жена и дочушка — девушка.— На рождество исполнилось ей семнадцать лет... Каково это, есаул?

— Да-а-а...

— Вы тоже семейный? Из Новочеркасска?

— Нет, я Донецкого округа. У меня отец остался.

— Не знаю, что с ними... Как они там без меня,— продолжал Ловичев.

Его с раздражением перебил Старобельский:

— У всех семьи остались. Не понимаю: чего вы хнычете, подполковник? Уди-ви-тельный народ! Не успели выйти из Ростова...

— Старобельский! Петр Петрович! Вы были в бою под Таганрогом? — крикнул кто-то сзади, через ряд.

Старобельский повернулся раздраженным лицом, пасмурно улыбнулся.

— А... Владимир Георгиевич, вы какими судьбами в наш взвод? Перевелся? С кем не поладил? Ага... ну, это понятно... Вы спрашиваете про Таганрог? Да, был... а что? Совершенно верно... убили его.

Листницкий, невнимательно прислушиваясь к разговору, вспоминал свой отъезд из Ягодного, отца, Аксинью Его душила внезапно задымившаяся на сердце тоска. Он вяло переставлял ноги, смотрел на колыхавшиеся впереди стволы винтовок с привинченными штыками, на головы в папахах, фуражках и башлыках, раскачивавшиеся в ритм шагу, думал:

«Такой вот, как у меня, заряд ненависти и беспредельной злобы несет сейчас каждый из этих пяти тысяч, подвергнутых остракизму. Выбросили, сволочи, из России — и здесь думают растоптать. Посмотрим!.. Корнилов выведет нас к Москве!»

В эту минуту он вспомнил приезд Корнилова в Москву и с радостью перешел на воспоминания того дня.

Где-то недалеко, позади, наверное в хвосте роты, шла батарея. Пофыркивали лошади, громыхали барки, даже запах конского пота доносило оттуда. Листницкий сразу почувствовал этот знакомый волнующий запах, повернул голову; передний ездовой, молодой прапорщик, посмотрел на него и улыбнулся, как знакомому.

* * *

К 11 марта Добровольческая армия была сосредоточена в районе станицы Ольгинской. Корнилов медлил с выступлением, ожидая приезда в Ольгинскую походного атамана Войска Донского генерала Попова, ушедшего из Новочеркасска в задонские степи со своим отрядом, насчитывавшим около 1600 сабель, при 5 орудиях и 40 пулеметах.

Утром 13-го Попов, сопутствуемый своим начальником штаба, полковником Сидориным и несколькими казачьими офицерами конвоя, прискакал в Ольгинскую.

На плацу, возле дома, занятого Корниловым, он осадил коня; придерживаясь за луку, тяжело перенес через седло ногу. Его поддержал подскочивший вестовой — молодой черночубый казак со смуглым лицом и острыми, как у чибиса, глазами. Попов кинул ему поводья, степенным шагом пошел к крыльцу. Сидорин и офицеры, спешившись, по-

следовали за ним. Вестовые через калитку ввели во двор коней. Пока один из вестовых, пожилой, колченогий, навешивал торбы, другой, черночубый, похожий на чибиса, уже завязал знакомство с хозяйской работницей. Он что-то сморозил ей; работница — румяная девка, в кокетливо повязанном платке и глубоких калошах, насунутых на босые ноги,— смеясь и оскользаясь, прошлепала мимо него по луже к сараю.

Осанистый, пожилой Попов вошел в дом. В передней сдал на руки расторопному вестовому шинель, повесил на вешалку плеть, долго и звучно сморкался. Вестовой проводил его и Сидорина, на ходу приглаживавшего волосы, в зал.

Созванные на совещание генералы были в сборе. Корнилов сидел за столом, облокотившись на разостланную карту; по правую руку от него белел сединой сухонький и пряменький, свежевыбритый Алексеев. Деникин, поблескивая умными колючими глазами, о чем-то говорил с Романовским. Лукомский, отдаленно похожий на Деникина, медленно ходил по комнате, щипал бородку. Марков стоял у окна во двор, наблюдая, как вестовые казаки похаживают около коней и пересмеиваются с девкой-работницей.

Поздоровавшись, прибывшие подошли к столу. Алексеев задал несколько малозначащих вопросов о дороге и эвакуации Новочеркасска. Вошел Кутепов, с ним несколько строевых офицеров, приглашенных Корниловым на совещание.

Глядя в упор на Попова, усаживавшегося со спокойной уверенностью, Корнилов спросил:

— Скажите, генерал, численность вашего отряда?

— Полторы тысячи сабель, батарея, сорок пулеметов с прислугой.

— Обстоятельства, понудившие Добровольческую армию уйти из Ростова, вам известны. Вчера у нас был совет. Принято решение идти на Кубань, имея направление на Екатеринодар, в окрестностях которого действуют добровольческие отряды. Мы двинемся этим маршрутом...— Корнилов провел по карте неочиненным концом карандаша, заговорил торопливей: — По пути увлекая кубанское казачество, дробя те малочисленные, неорганизованные и небоеспособные красногвардейские отряды, которые попытаются воспрепятствовать нашему движению.— Он глянул на сощуренный, отведенный в сторону взгляд Попова, докончил: — Мы предлагаем вам присоединиться

с вашим отрядом к Добровольческой армии и совместно с нами идти на Екатеринодар. Дробить силы — не в наших интересах.

— Я не могу этого сделать! — решительно и круто заявил Попов.

Алексеев чуть склонился в его сторону.

— Почему, разрешите спросить?

— Потому, что я не могу покинуть территорию Донской области и идти куда-то на Кубань. Прикрываясь с севера Доном, мы в районе зимовников переждем события. На активные действия противника нельзя рассчитывать ввиду того, что не сегодня-завтра начнется оттепель,— переправить через Дон не только артиллерию, но и конницу будет невозможно, а из района зимовников, весьма обеспеченного фуражом и хлебом, мы в любое время и в любом направлении можем развить партизанские действия.

Попов с веской уверенностью приводил доводы, отклоняющие предложение Корнилова. Он передохнул и, видя, что Корнилов хочет что-то сказать, упрямо мотнул головой:

— Позвольте докончить... Помимо этого есть еще один сугубой важности фактор, и мы, командование, его учитываем: это — настроение наших казаков.— Он вытянул мясистую белую руку с золотым кольцом, всосавшимся в мякоть указательного пальца; чуть повысив голос, оглядывая всех, продолжал: — В том случае, если мы повернем на Кубань, явится опасность распадения отряда. Казаки могут не пойти. Не надо забывать того обстоятельства, что постоянный и наиболее крепкий контингент моего отряда — казаки, а они вовсе не так устойчивы морально, как... хотя бы ваши части. Они просто несознательны. Не пойдут — и все. А рисковать потерей всего отряда я не могу,— отчеканил Попов и вновь перебил Корнилова: — Прошу прощенья, я высказал вам наше решение и смею уверить вас, что изменить его мы не в состоянии. Разумеется, дробить силы не в наших интересах, но из создавшегося положения есть один выход. Я полагаю, что, исходя из соображений, высказанных сейчас мною, Добровольческой армии было бы благоразумней идти не на Кубань,— настроения кубанского казачества вселяют в меня немалые тревоги,— а вместе с донским отрядом — в задонские степи. Там она оправится, пользуясь передышкой, к весне пополнится новыми кадрами волонтеров из России...

— Нет! — воскликнул Корнилов, вчера еще склонявшийся к тому, чтобы идти в задонские степи, и упорно оспаривавший противоположное мнение Алексеева.— Нет смысла идти в зимовники. Нас около шести тысяч человек...

— Если вопрос о продовольствии, то смею вас уверить, ваше высокопревосходительство, район зимовников не оставляет желать лучшего. Притом там вы можете взять у частных коннозаводчиков лошадей и посадить часть армии на коней. У вас будут новые шансы при ведении полевой маневренной войны. Конница вам необходима, а Добровольческая армия ею не богата.

Корнилов, в этот день особенно предупредительный к Алексееву, посмотрел на него. Он, по всей вероятности, колебался в выборе направления, искал поддержки у чужого авторитета. Алексеева выслушали с большим вниманием. Старый генерал, привыкший кратко, исчерпывающе-ясно разрешать задачи, в нескольких спрессованных фразах высказался в пользу похода на Екатеринодар.

— В данном направлении нам легче всего прорвать большевистское кольцо и соединиться с отрядом, действующим под Екатеринодаром,— закончил он.

— А если это не удастся, Михаил Васильевич? — осторожно спросил Лукомский.

Алексеев пожевал губами, повел рукою по карте.

— Даже если предположить неудачу, то у нас останется возможность дойти до Кавказских гор и распылить армию.

Его поддержал Романовский. Несколько горячих слов сказал Марков. Тяжеловесным аргументам Алексеева будто бы и нечего было противопоставить, но слово взял Лукомский, выровнял весы.

— Я поддерживаю предложение генерала Попова,— заявил он, неспешно подбирая слова.— Поход на Кубань сопряжен с большими трудностями, учесть которые отсюда не представляется возможным. Прежде всего нам придется два раза пересекать железную дорогу...

По направлению его пальца к карте потянулись взгляды всех участников совещания. Лукомский напористо продолжал:

— Большевики не преминут встретить нас должным образом — они поведут бронированные поезда. У нас тяжелый обоз и масса раненых; оставить их мы не можем. Все это будет чрезвычайно обременять армию и препятст-

вовать скорейшему ее продвижению. Затем мне непонятно, откуда создалась уверенность, что кубанское казачество настроено к нам дружелюбно? На примере донского казачества, тоже якобы тяготившегося властью большевиков, мы должны с архиосторожностью и с крупной дозой здорового скептицизма относиться к подобным слухам. Кубанцы болеют той же большевистской трахомой, которую занесли из прежней российской армии... Они могут быть враждебно настроенными. В заключение должен повторить, что мое мнение — идти на восток, в степи, и оттуда, накопив силы, грозить большевикам.

Поддерживаемый большинством своих генералов, Корнилов решил идти западнее Великокняжеской, пополнить на походе нестроевую часть армии конским составом и уже оттуда повернуть на Кубань. Распустив совещание, он перекинулся несколькими фразами с Поповым,— холодно попрощавшись с ним, вышел в свою комнату. За ним прошел Алексеев.

Начштаба донского отряда полковник Сидорин, звякая шпорами, вышел на крыльцо, сочно, обрадованно крикнул вестовым:

— Лошадей!

К крыльцу, придерживая шашку, ступая через лужи, подошел молодой светлоусый казачий сотник. Он остановился у нижней ступеньки, спросил шепотом:

— Что же, господин полковник?

— Неплохо! — с приподнятой бодростью вполголоса ответил Сидорин.— Наш отказался идти на Кубань. Сейчас выезжаем. Вы готовы, Изварин?

— Да, лошадей ведут.

Вестовые, посадившись, вели лошадей. Черночубый, похожий на чибиса, поглядывал на своего товарища.

— Хороша, что ль? — спрашивал он, прыская.

Пожилой сдержанно ухмылялся.

— Как конский лишай.

— А так, случаем позвала бы?

— Оставь, дурак! Ноне ить великий пост.

Изварин, бывший сослуживец Григория Мелехова, вскочил на своего вислозадого, с лысиной во весь лоб, белоноздрого коня, приказал вестовым:

— Выезжайте на улицу.

Попов и Сидорин, прощаясь с кем-то из генералов, сошли с крыльца. Один из вестовых придержал коня, помог генеральской ноге найти стремя. Попов, помахивая

казачьей неказистой плетью, тронул коня ходкой рысью, за ним зарысили, привстав на стременах и чуть валясь вперед, вестовые-казаки, Сидорин и офицеры.

В станице Мечетинской, куда прибыла Добровольческая армия через два перехода, Корнилов получил дополнительные сведения о районе зимовников. Сведения были отрицательного характера. Созвав командиров строевых частей, Корнилов объявил о принятом решении идти на Кубань.

К Попову был послан ординарец с вторичным предложением присоединиться. Ординарец-офицер догнал армию под участком Старо-Ивановским. Ответ, привезенный им от Попова, был тот же: Попов вежливо и холодно отказывался принять предложение, писал, что решение его не может быть изменено и что он остается пока в Сальском округе.

XIX

С отрядом Голубова, двинувшимся кружным путем для захвата Новочеркасска, выехал и Бунчук. Двадцать третьего февраля они выбросились из Шахтной, прошли станицу Раздорскую, к ночи были уже в Мелиховской. На следующий день с рассветом выехали из станицы.

Голубов вел отряд быстрым маршем. Впереди виднелась его коренастая фигура; плеть нетерпеливо падала на конский круп. Ночью прошли Бессергеневскую, дали чуть отдохнуть лошадям, и вновь в серой беззвездной ночи замаячили всадники, захрустел под копытами мерзлый ледок грунтовой дороги.

Возле Кривянской сбились с дороги, но сейчас же напали на свою. Забрезжила зорька, когда въезжали в Кривянскую. Станица была еще безлюдна. Возле площадки, у колодца, старик казак рубил в корыте лед. Голубов подъехал к нему, отряд остановился.

— Здорово, старик.

Казак медленно донес руку в варежке до папахи, ответил неприязненно:

— Здравствуйте.

— А что, дедушка, ушли ваши станичные казаки в Новочеркасск? Мобилизация была у вас?

Старик спешно поднял топор, пошел в ворота, не отвечая.

— Трогай! — отъезжая и ругаясь, крикнул Голубов.

В этот день Малый войсковой круг собирался эвакуироваться в станицу Константиновскую. Новый походный атаман Войска Донского, генерал Попов, уже вывел из Новочеркасска вооруженные силы, перевез войсковые ценности. Утром получены были сведения, что Голубов из Мелиховской идет по направлению на Бессергеневскую. Круг послал для переговоров с Голубовым об условиях сдачи Новочеркасска есаула Сиволобова. Следом за ним, не встретив сопротивления, в Новочеркасск ворвались конники Голубова. Сам Голубов, на взмыленном мокром коне, в сопровождении густой кучи казаков, галопом подскакал к зданию Круга. Около подъезда толпилось несколько зевак, стоял вестовой, ожидая с оседланной лошадью Назарова.

Бунчук спрыгнул с коня, схватил ручной пулемет. Вместе с Голубовым и с толпой остальных казаков вбежал в здание Круга. На хляск распахнутой двери из просторного зала повернулись головы делегатов, густо забелели лица.

— Вста-а-ать! — напряженно, будто на смотру, скомандовал Голубов и, окруженный казаками, спотыкаясь от спешки, пошел к столу президиума.

Члены Круга, громыхая стульями, встали на властный окрик, один Назаров остался сидеть.

— Как вы смеете прерывать заседание Круга? — зазвенел его гневный голос.

— Вы арестованы! Молчать! — Голубов, багровея, подбежал к Назарову, рванул с плеча его генеральской тужурки погон, прорвался на хриплый визг: — Встать, тебе говорят! Бери его!.. Ты!.. Я кому говорю?! Золотопогонник!..

Бунчук в дверях устанавливал пулемет. Члены Круга толпились овечьей отарой. Мимо Бунчука казаки потащили Назарова, позеленевшего от страха председателя Круга Волошинова и еще нескольких человек.

Гремя шашкой, следом шел бурый, в пятнах румянца, Голубов. Его за рукав схватил какой-то член Круга.

— Господин полковник, ваша милость, куда же нам?

— Мы свободны? — из-за его плеча высунулась скользкая, юркая голова другого.

— Идите к черту! — крикнул, отмахиваясь, Голубов и, уже поравнявшись с Бунчуком, повернулся к членам Круга, топнул ногой: — Ступайте к... мне не до вас! Ну!..

Его хриплый, обветренный голос долго еще перекатами ходил по залу.

Бунчук переночевал у матери, а на другой день, как только в Новочеркасске стало известно о взятии Сиверсом Ростова, отпросился у Голубова и наутро выехал туда верхом.

Два дня работал в штате у Сиверса, который знал его, еще будучи редактором «Окопной правды»,— наведывался в ревком — ни Абрамсона, ни Анны там не было. При штабе Сиверса организовался революционный трибунал, творивший крутой суд и расправу над захваченными белогвардейцами. Бунчук день проработал, обслуживая нужды суда, участвуя в облавах, а на следующий, уже не надеясь, забежал в ревком — и еще с лестницы услышал знакомый голос Анны. Кровь кинулась ему в сердце, когда он, замедляя шаг, вошел во вторую комнату, откуда слышались чьи-то голоса и смех Анны.

В комнате, где в прежнее время помещалась комендантская, лохматился табачный дым. В углу за небольшим дамским столиком писал что-то человек в шинели без пуговиц, с развязанными наушниками солдатской папашки, кругом него толпились солдаты и штатские в полушубках и пальто. Они, разбившись на кучки, курили, разговаривали. У окна спиной к двери стояла Анна, на подоконнике, скрещенными пальцами поддерживая колено своей согнутой ноги, сидел Абрамсон, рядом с ним, склонив голову набок, стоял высокий, латышской складки красногвардеец. Он отводил папиросу, топыря мизинец, и что-то рассказывал,— по-видимому, смешное: откидываясь, сочно смеялась Анна, морщился от улыбки Абрамсон, ближние прислушивались, улыбаясь, а на крупном лице красногвардейца, в каждой, как топором вырубленной, черте жило и теплилось умное, острое и немножко злое.

Бунчук положил руку на плечо Анны.

— Здравствуй, Аня!

Она оглянулась. Краска залила ее лицо, хлынула по шее до ключиц, выжала из глаз слезы.

— Откуда ты? Абрамсон, посмотри! Вот он — как новый гривенник, а ты о нем беспокоился,— залепетала она, не поднимая глаз, и, не в силах овладеть смущением, отошла к двери.

Бунчук пожал горячую руку Абрамсона, перекинулся с ним несколькими фразами и, чувствуя на лице своем глупую, беспредельно счастливую улыбку, не отвечая на

какой-то вопрос Абрамсона (он даже не понял смысла вопроса), пошел к Анне. Она оправилась, встретила его немного злой за свое смущение улыбкой.

— Ну, здравствуй еще раз. Как ты? Здоров? Когда приехал? Из Новочеркасска? Ты был в отряде Голубова? Вон как... Ну, и что же?

Бунчук отвечал на вопросы, не сводя с нее неломкого, тяжеловесного взгляда. Ответный взгляд ее подламывался, скользил в сторону.

— Давай на минутку выйдем на улицу,— предложила Анна.

Их окликнул Абрамсон:

— Вы скоро придете? У меня к тебе, товарищ Бунчук, есть дело. Мы думаем использовать тебя на одной работе.

— Я приду через час.

На улице Анна прямо и мягко глянула в глаза Бунчуку, досадливо помахала рукой.

— Илья, Илья, как я нехорошо смутилась... Как девчонка! Это объясняется, во-первых, неожиданностью, во-вторых, нашим половинчатым положением. В сущности, кто мы с тобой? Идиллические «жених и невеста»? Знаешь, в Луганске у меня как-то Абрамсон спрашивает: «Ты живешь с Бунчуком?» Я опровергла, но он весьма наблюдательный парень и не мог не видеть того, что бросалось в глаза. Он ничего не сказал, но по глазам я видела — не верит.

— Рассказывай же про себя — что и как ты??

— О, мы там качнули дело! Сколотили целый отряд в двести одиннадцать штыков. Вели организационную и политическую работу... да разве все это расскажешь в двух словах? Я еще не могу опомниться от твоего появления. Где ты... ночуешь где? — прерывая разговор, спросила она.

— Тут... у товарища.

Бунчук замялся, сказав неправду: эти ночи проводил он в помещении штаба Сиверса.

— Ты сегодня же перейдешь к нам. Помнишь, где я живу? Ты провожал меня когда-то.

— Найду. Но... не стесню я твою семью?

— Оставь, никого ты не стеснишь и вообще об этом не говори.

Вечером Бунчук, забрав свои пожитки, умещавшиеся в просторной солдатской сумке, пришел в тот окраинный переулок, где жила Анна. На пороге небольшого кирпич-

ного флигеля его встретила старуха. Лицо ее неясно напоминало Анну: тот же иссиня-черный блеск глаз, тот же с горбинкой нос, только кожа морщинистая и землистая, да провалившийся рот пугает старостью.

— Вы — Бунчук? — спросила она.

— Да.

— Прошу вас, проходите. Дочь говорила мне о вас.

Она проводила Бунчука в маленькую комнату, указала, куда положить вещи, ревматически сведенным пальцем повела вокруг:

— Здесь вы уже будете жить. Койка эта вашей милости.

Она говорила с заметным еврейским акцентом. Кроме нее, в доме был небольшой подросток — девочка, тщедушная и такая же, как Анна, глубокоглазая.

Анна пришла спустя немного. Она внесла с собою шум и оживление.

— У нас никого не было? Бунчук не приходил?

Мать ответила ей что-то на родном языке, и Анна твердой скользящей походкой подошла к двери.

— К тебе можно?

— Да, да.

Бунчук, поднявшись со стула, пошел ей навстречу.

— Ну, как? Устроился?

Она довольным, смеющимся взглядом оглядела его, спросила:

— Ты что-нибудь ел? Пойдем туда.

За рукав гимнастерки ввела его в первую комнату, сказала:

— Это, мама, мой товарищ,— и улыбнулась.— Вы его не обижайте.

— Ну, что ты, разве можно такое?.. Он — наш гость.

Ночью по Ростову стручками вызревшей акации лопались выстрелы. Изредка горланил пулемет, потом все стихало. И ночь, величавая, черная февральская ночь, вновь тишиной повивала улицы. Бунчук и Анна долго сидели в его строго опрятной комнатке.

— Здесь мы с сестренкой жили,— говорила Анна.— Видишь, как у нас скромно — как у монашек. Ни дешевых картин, ни фотографий, ничего такого, что бы приличествовало мне по положению гимназистки.

— Чем вы жили? — в разговоре спросил Бунчук.

И Анна не без внутренней гордости ответила:

— Я работала на Асмоловской фабрике и давала уроки.

— А теперь?

— Мама шьет. Им вдвоем мало надо.

Бунчук рассказывал подробности взятия Новочеркасска, боев под Зверевом и Каменской. Анна делилась впечатлениями о работе в Луганске и Таганроге.

В одиннадцать, как только мать потушила у себя огонь, Анна ушла.

XX

В марте Бунчук был послан на работу в революционный трибунал при Донском ревкоме. Высокий, тусклоглазый, испитой от работы и бессонных ночей председатель отвел его к окну своей комнаты, сказал, поглаживая ручные часы (он спешил на заседание):

— С какого года в партии? Ага, дельно. Так вот, ты будешь у нас комендантом. Прошлую ночь мы отправили в «штаб Духонина» своего коменданта... за взятку. Был форменный садист, безобразник, сволочь,— таких нам не надо. Эта работа грязная, но нужно и в ней сохранить целеньким сознание своей ответственности перед партией, и ты только пойми меня, как надо...— нажал он на эту фразу,— человечность сохранить. Мы по необходимости физически уничтожаем контрреволюционеров, но делать из этого цирк нельзя. Ты понимаешь меня? Ну, и хорошо. Иди, принимай дела.

В эту же ночь Бунчук с командой красногвардейцев в шестнадцать человек расстрелял в полночь за городом, на третьей версте, пятерых приговоренных к расстрелу. Из них было двое казаков Гниловской станицы, остальные — жители Ростова.

Почти ежедневно в полночь вывозили за город на грузовом автомобиле приговоренных, наспех рыли им ямы, причем в работе участвовали и смертники и часть красногвардейцев. Бунчук строил красногвардейцев, ронял чугунно-глухие слова:

— По врагам революции...— и взмахивал наганом,— пли!..

За неделю он высох и почернел, словно землей подернулся. Провалами зияли глаза, нервно мигающие веки не прикрывали их тоскующего блеска. Анна видела его лишь

по ночам. Она работала в ревкоме, приходила домой поздно, но всегда дожидалась, когда знакомым отрывистым стуком в окно известит он о своем приходе.

Однажды Бунчук вернулся, как и всегда, за полночь. Анна открыла ему дверь, спросила:

— Ужинать будешь?

Бунчук не ответил: пьяно шатаясь, прошел в свою комнату и, как был в шинели, сапогах и шапке, повалился на кровать. Анна подошла к нему, заглянула в лицо: глаза его были липко зажмурены, на оскаленных плотных зубах искрилась слюна, редкие, вывалявшиеся от тифа волосы лежали на лбу мокрой прядью.

Она присела рядом. Жалость и боль когтили ее сердце. Спросила шепотом:

— Тебе тяжело, Илья?

Он стиснул ее руку, заскрипел зубами, отвернулся к стене. Так и уснул, не сказав ни слова, а во сне что-то невнятно и жалобно бормотал, силился вскочить. Она с ужасом заметила и содрогнулась от безотчетного страха: он спал с полузакрытыми, заведенными вверх глазами, из-под век воспаленно блестела желтизна выпуклых белков.

— Уйди оттуда! — просила его наутро.— Иди лучше на фронт! Ты ни на что не похож, Илья! Сгибнешь ты на этой работе.

— Замолчи!..— крикнул он, моргая побелевшими от бешенства глазами.

— Не кричи. Я обидела тебя?

Бунчук потух как-то сразу, словно криком выплеснул скопившееся в груди бешенство. Устало рассматривая свои ладони, сказал:

— Истреблять человеческую пакость — грязное дело. Расстреливать, видишь ли, вредно для здоровья и души... Ишь ты...— в первый раз в присутствии Анны он безобразно выругался.— На грязную работу идут либо дураки и звери, либо фанатики. Так, что ли? Всем хочется ходить в цветущем саду, но ведь — черт их побери! — прежде, чем садить цветики и деревца, надо грязь счистить! Удобрить надо! Руки надо измазать! — повышал он голос, несмотря на то, что Анна, отвернувшись, молчала.— Грязь надо уничтожить, а этим делом брезгают!..— уже кричал Бунчук, грохая кулаком по столу, часто мигая налитыми кровью глазами.

В комнату заглянула мать Анны, и он, опомнившись, заговорил тише:

— Я не уйду с этой работы! Тут я вижу, ощутимо чувствую, что приношу пользу! Сгребаю нечисть! Удобряю землю, чтоб тучней была! Плодовитей! Когда-нибудь по ней будут ходить счастливые люди... Может, сын мой будет ходить, какого нет...— Он засмеялся скрипуче и невесело.— Сколько я расстрелял этих гадов... клещей... Клещ — это насекомое такое, в тело въедается... С десяток вот этими руками убил...— Бунчук вытянул вперед сжатые, черноволосые, как у коршуна, когтистые руки: роняя их на колени, шепотом сказал: — И вообще к черту! Гореть так, чтобы искры летели, а чадить нечего... Только я, правда, устал... Еще немного, и уйду на фронт... ты права...

Анна, молча слушавшая его, тихо сказала:

— Уходи на фронт или на иную работу... Уходи, Илья, иначе ты... свихнешься.

Бунчук повернулся к ней спиной, побарабанил в окно.

— Нет, я крепок... Ты не думай, что есть люди из железа. Все мы из одного материала литы... В жизни нет таких, которые не боятся на войне, и таких, кто бы, убивая людей, не носил... не был нравственно исцарапанным. Но не о тех, с погониками, болит сердце... Те — сознательные люди, как и мы с тобой. А вот вчера пришлось в числе девяти расстреливать трех казаков... тружеников... Одного начал развязывать...— Голос Бунчука становился глуше, невнятней, словно отходил он все дальше и дальше: — Тронул его руку, а она, как подошва... черствая... Проросла сплошными мозолями... Черная ладонь, порепалась... вся в ссадинах... в буграх... Ну, я пойду,— резко оборвал он рассказ и незаметно для Анны потер горло, затянутое, как волосяным арканом, жесткой спазмой.

Он обулся, выпил стакан молока, пошел. В коридоре его догнала Анна. Долго держала его тяжелую руку в своих руках, потом прижала ее к пылающей щеке и выбежала во двор.

* * *

Теплело. С Азова в гирла Дона стучалась весна. В конце марта в Ростов начали прибывать теснимые гайдамаками и немцами украинские красногвардейские отряды. По городу начались убийства, грабежи, бесчинные реквизиции. Некоторые, окончательно разложившиеся отряды ревкому пришлось разоружать. Дело не обходилось

без столкновений и перестрелок. Под Новочеркасском пошевеливались казаки. В марте, как почки на тополях, набухали в станицах противоречия между казаками и иногородними, кое-где погромыхивали восстания, открывались контрреволюционные заговоры. А Ростов жил стремительной полнокровной жизнью: вечерами по Большой Садовой расхаживали толпы солдат, матросов, рабочих. Митинговали, лущили семечки, поплевывали в стекавшие вдоль тротуаров ручейки, забавлялись с бабами. Так же, как и раньше, работали, ели, пили, спали, умирали, рожали, любились, ненавидели, дышали солоноватым с моря ветерком, жили, одолеваемые большими страстями и малыми страстишками. К Ростову в упор подходили обсемененные грозой дни. Пахло обтаявшим черноземом, кровью близких боев пахло.

В один из таких политых солнцем, пригожих дней Бунчук вернулся домой раньше обычного и удивился, застав Анну дома.

— Ведь ты же поздно всегда приходишь, а сегодня почему так?

— Я не совсем здорова.

Она прошла за ним в его комнату. Бунчук разделся, с дрожащей радостной улыбкой сказал:

— Аня, с сегодняшнего дня я не работаю в трибунале.

— Да что ты? Куда же тебя?

— В ревком. С Кривошлыковым сегодня говорил. Он обещает послать меня куда-нибудь в округ.

Поужинали они вместе. Бунчук лег спать. Взволнованный, он долго не мог уснуть, курил, ворочался на жестковатом тюфяке, радостно вздыхал. С большим удовлетворением уходил он из трибунала, так как чувствовал, что еще немного — и не выдержит, надломится. Он докуривал четвертую папиросу, когда ему послышался легкий скрип двери. Приподняв голову, увидел Анну. Босая, в одной рубашке, скользнула она через порог, тихонько подошла к его койке. Через щель в ставне на оголенный овал ее плеча падал сумеречный зеленый свет месяца. Она нагнулась, теплую ладонь положила Бунчуку на губы.

— Подвинься. Молчи...

Легла рядом, нетерпеливо отвела со лба тяжелую, как кисть винограда, прядь волос, блеснула задымленным синеватым огоньком глаз, грубовато, вымученно прошептала:

— Не сегодня-завтра я могу лишиться тебя... Я хочу тебя любить со всей силой! — и содрогнулась от собственной решимости: — Ну, скорей!

Бунчук целовал ее и с ужасом, с великим, захлестнувшим все его сознание, стыдом чувствовал, что он бессилен.

У него тряслась голова, мучительно пылали щеки. Высвободившись, Анна гневно оттолкнула его, с отвращением и брезгливостью спросила, задохнулась презирающим шепотом:

— Ты... ты бессилен? Или ты... болен? О-о-о, как это мерзко!.. Оставь меня!

Бунчук сжал ее пальцы так, что они слабо хрустнули, в расширенные, смутно черневшие, враждебные глаза врезал свой взгляд, спросил, заикаясь, паралично дергая головой:

— За что? За что судишь? Да, выгорел дотла!.. Даже на это не способен сейчас... Не болен... пойми, пойми! Опустошен я... А-а-а-а...

Он глухо замычал, вскочил с койки, закурил. Долго, будто избитый, сутулился у окна.

Анна встала, молча обняла его и спокойно, как мать, поцеловала в лоб.

А через неделю Анна, пряча под его рукой свое зажженное огневым румянцем лицо, призналась:

— ...Думала, израсходовался раньше... Не знала, что до дна вычерпала тебя работа.

И после этого Бунчук долго ощущал на себе не только ласку любимой, но и ее теплую, налитую вровень с краями материнскую заботливость.

В провинцию его не послали. По настоянию Подтелкова он остался в Ростове. В это время Донской ревком перекипал в работе, готовился к областному съезду Советов, к схватке с ожившей за Доном контрреволюцией.

XXI

За приречными вербами разноголосо гомонили лягушки. За бугром валилось через порог солнце. По хутору Сетракову рассасывалась предвечерняя прохлада. От домов на сухую дорогу падали огромные косые тени. Из степи пропылил табун. С выгона, перебрехиваясь новостишками, погоняя коров хворостинами, шли казачки.

По проулкам босые и уже загоревшие казачата козлоковали в чехарде. Старики степенно сидели на завалинках.

Хутор отсеялся. Лишь кое-где досевали просо и подсолнухи.

Возле одного из крайних дворов сидели на сваленных дубах казаки. Хозяин куреня, рябой батареец, рассказывал о каком-то случае из германской войны. Собеседники — старик сосед и зять его, молодой кучерявый казачок,— молча слушали. С крыльца сошла хозяйка, высокая, красивая и дородная, что боярыня, казачка. Рукава розовой вобранной в юбку рубахи на ней были засучены, оголяя смуглые точеные руки. Она несла цибарку; широко и вольно, свойственной лишь казачкам, щеголеватой походкой прошла на коровий баз. Волосы ее, повязанные белым подсиненным платком, растрепались (она только что наложила в печку кизяков, приготовляя на завтра затоп), надетые на босые ноги чирики шлепали, мягко приминали буйно разросшуюся по базу молодь зеленых пышаток.

До слуха сидевших на дубах казаков дошел звонкий бег молочной струи по стенкам цибарки. Хозяйка подоила коров, прошла в курень; чуть изгибаясь, в левой руке, согнутой по-лебединому, несла полную цибарку молока.

— Сема, ты б пошел телка поискать! — певуче крикнула она с порожков.

— А Митяшка где ж? — отозвался хозяин.

— Холера его знает, убег.

Хозяин неторопливо поднялся, пошел к углу. Старик с зятем тоже направились было домой. С угла хозяин окликнул:

— Гляко-сь, Дорофей Гаврилыч! Поди сюда!

Старик и зять его подошли к казаку. Он молча указал в степь. По шляху багровым шаром катилась пыль, за ней двигались ряды пехоты, обоз, конные.

— Войско, никак? — Дед изумленно прижмурился и положил на белые брови ладонь.

— Что б такое, что за люди? — встревожился хозяин.

Из ворот вышла его жена, уже в накинутой на плечи кофтенке. Она глянула в степь, растерянно ахнула:

— Чтой-то за люди? Исусе Христе, сколько их много!

— Недобрые, видать, люди...

Старик затоптался на месте и пошел к своему двору, зятю сердито крикнул:

— Ступай на баз, нечего глядеть!

К концу проулка бежали ребятишки и бабы, кучками шли казаки. В степи, в версте от хутора, тянулась по шляху колонна; до дворов доплескивало ветром невнятный гул голосов, конское ржанье, перегуд колес.

— Это не казаки... Не нашенские люди,— сказала казачка мужу.

Тот повел плечом.

— Конешное дело, не казаки. Кабы не немцы были?! Нет, русские... Гля, красный лоскут у них!.. Ага, вот оно что...

Подошел высокий атаманец-казак. Его, как видно, трепала лихорадка: был он песочно-желт — как в желтухе валялся, одет в шубу и валенки. Он приподнял косматую папаху, сказал:

— Вишь, хорухвь ихняя какая?.. Большевики.

— Они.

От колонны отделилось несколько всадников. Они в намет поскакали к хутору. Казаки, переглянувшись, молча стали расходиться, девки и ребятишки брызнули врассыпную. Через пять минут проулок вымер. Конные кучей вскакали в проулок,— горяча лошадей, подъехали к дубам, на которых четверть часа назад сидели казаки. Хозяин-казак стоял возле ворот. Передний из всадников, по виду — старший, на караковом коне, в кубанке и с огромным красным шелковым бантом на защитной, опоясанной боевыми ремнями, рубахе, подъехал к воротам:

— Здорово, хозяин! Отчиняй ворота.

Батареец побелел рябинами лица, снял фуражку.

— А вы что за люди?

— Отчиняй ворота!..— крикнул солдат в кубанке.

Караковый конь, косе злым глазом, гоняя в запененном рту мундштуки, ударил передней ногой в плетень. Казак открыл калитку, и всадники один за другим въехали на баз.

Тот, который был в кубанке, ловко прыгнул с коня, вывернутыми ногами споро зашагал к крыльцу. Пока остальные слезали с лошадей, он, усевшись на крыльце, успел достать портсигар. Закуривая, предложил хозяину Тот отказался.

— Не куришь?

— Спасибочка.

— У вас тут не старовиры?

— Не, православные... А вы кто такие будете? — хмуро допытывался казак.

— Мы-то? Красногвардейцы Второй Социалистической армии.

Остальные, спешившись, шли к крыльцу, лошадей вели в поводу, привязывали их к перилам. Один — верзила со свалявшимся, как лошадиная грива, чубом, цепляясь за шашку ногами, пошел на овечий баз. Он по-хозяйски распахнул воротца, нырнул, пригибаясь, под переруб сарая, вывел оттуда, держа за рога, большого, с тяжелым курдюком барана-валуха.

— Петриченко, поди помоги! — крикнул он резким фальцетом.

К нему рысью побежал солдатик в куцей австрийской шинели. Хозяин-казак гладил бороду, оглядывался, ровно на чужом базу. Он ничего не говорил, и только тогда, крякнув, пошел на крыльцо, когда валух, с перерезанным шашкой горлом, засучил тонкими ногами.

За хозяином следом пошли в курень солдат в кубанке и еще двое: один — китаец, другой — русский, похожий на камчадала.

— Ты не обижайся, хозяин! — переступая порог, игриво крикнул кубанец.— Мы широко заплотим!

Он похлопал себе по карману штанов, отрывисто похохотал и круто оборвал смех, упершись глазами в хозяйку. Она, стиснув зубы, стояла у печи, глядела на него испуганными глазами.

Кубанец повернулся к китайцу, тревожно бегая глазами, сказал:

— Ты, ходя, мала-мала иди с дядей, с оцим дядькой,— он указал пальцем на хозяина.— Иди с ним — он сена коням даст... Отпусти-ка поди. Чуешь? Мы широко плотим! У Красной гвардии грабежу нету. Иди, хозяин, ну? — В голосе кубанца звякнули металлические нотки.

Казак в сопровождении китайца и другого, оглядываясь, пошел из хаты. Едва лишь спустился с крыльца,— услышал плачущий голос жены. Он вбежал в сени, рванул дверь. Легонький крючок выскочил из пробоя. Кубанец, схватив выше локтя голую руку дородной хозяйки, тянул ее в полутемную горницу. Казачка сопротивлялась, пихала его в грудь. Он хотел было обхватить поперек, приподнять и нести ее, но в это время дверь распахнулась. Казак широко шагнул, собой заслонил жену. Голос его был вязок и тих:

— Ты пришел в мой курень гостем... на что обижаешь бабу? Ты что же?.. Оставь! Я твоего оружия не боюсь! Бери, что тебе надо, грабь, но бабу не моги поганить! Через меня перейдешь рази... А ты, Нюрка...— он, шевеля ноздрями, повернулся к жене,— ступай отсель к дяде Дорофею. Делать тут нечего!

Кубанец, поправляя боевые ремни на рубахе, криво улыбался:

— Сердит ты, хозяин... Уж и пошуткувать нельзя... Я на всю роту шутник... ты не знаешь?.. Я это нарочно. Дай, думаю, посадовлю бабу, а она злякалась... А сена ты отпустил? Нема сена? А у соседей е?

Он вышел, насвистывая, с силой махая плеткой. Вскоре к хутору подошел весь отряд. В нем насчитывалось около восьмисот штыков и сабель. Красногвардейцы расположились ночевать за хутором. Командир отряда, по-видимому, не хотел ночевать в хуторе, не надеясь на своих разноплеменных и разнузданных солдат.

Тираспольский отряд 2-й Социалистической армии, потрепанный в боях с гайдамаками и шагавшими через Украину немцами, с боем прорвался на Дон, выгрузился из вагонов на станции Шептуховка, а так как впереди уже были немцы, то, с целью пробиться на север, в Воронежскую губернию, походным порядком пошел через юрт Мигулинской станицы. Разложившиеся под влиянием уголовных элементов, обильно наводнивших собою отряд, красногвардейцы бесчинствовали по дороге. В ночь под 17 апреля, расположившись на ночевку под хутором Сетраковом, они, несмотря на угрозы и запрещения командного состава, толпами пошли в хутор, начали резать овец, на краю хутора изнасиловали двух казачек, открыли беспричинную стрельбу на площади, ранили одного из своих. Ночью заставы перепились (спирт везли на каждой повозке обоза). А в это время трое верховых казаков, высланных из хутора, уже поднимали в окрестных хуторах сполох.

Ночью в потемках седлали казаки коней, снаряжались, наскоро сколачивали отряды из фронтовиков и стариков и под руководством живших на хуторах офицеров, а то и вахмистров, стягивались к Сетракову, окружали красногвардейский отряд, копились в балках и за буграми. Из Мигулинской, с Колодезного, с Богомолова двигались в ночи полусотни. Поднялись верхнечирцы, наполовцы, калиновцы, ейцы, колодезянцы.

Дотлевали на небе Стожары. На заре с гиком со всех сторон опрокинулись на красногвардейцев конные казачьи лавы. Пулемет потрещал — и смолк, вспыхнула — и угасла беспорядочная, шалая стрельба, тихо заплескалась рубка.

Через час завершено было дело: отряд разгромлен дотла, более двухсот человек порублено и постреляно, около пятисот взято в плен. Две четырехорудийные батареи, двадцать шесть пулеметов, тысяча винтовок, большой запас боевого снаряжения попали в руки казаков.

День спустя уж цвели по всему округу красные флажки скакавших по шляхам и проселкам нарочных. Станицы и хутора гудели. Свергали Советы и наспех выбирали атаманов. К Мигулинской с запозданием шли сотни Казанской и Вешенской станиц.

В двадцатых числах апреля верховые станицы Донецкого округа откололись. Был образован свой округ, наименованный Верхне-Донским. Окружным центром избрана Вешенская, многолюдная, вторая в области, после Михайловской, по величине и многочисленности хуторов станица. Наскоро выкраивались из прежних хуторов новые станицы. Образовались Шумилинская, Каргинская, Боковская станицы. И Верхне-Донской округ, оттягавший себе двенадцать станиц и одну украинскую волость, зажил обособленной от центра жизнью. В состав Верхне-Донского округа вошли станицы, бывшие Донецкого округа: Казанская, Мигулинская, Шумилинская, Вешенская, Еланская, Каргинская, Боковская и Пономаревская волость; бывшие Усть-Медведицкого: Усть-Хоперская, Краснокутская; и Хоперского округа: Букановская, Слащевская, Федосеевская. Окружным атаманом дружно избран был казак Еланской станицы, генерал, окончивший военную академию, Захар Акимович Алферов. Про Алферова говорили, что он из захудалых казачьих офицеришек выбился в люди лишь благодаря своей жене — бабе энергичной и умной; говорили, что она тянула бездарного супруга за уши и до тех пор не давала ему дыхнуть, пока он, три раза срезавшись, на четвертый все же выдержал экзамен в академию.

Но в эти дни про Алферова если и говорили, то очень мало. Иное занимало умы.

XXII

Полая вода только что начала сбывать. На лугу, около огородных плетней, оголилась бурая, илистая земля, каймой лежал наплав: оставшиеся от разлива обломки сухого камыша, ветки, куга, прошлогодние листья, прибитый волною дрям. Вербы затопленного обдонского леса чуть приметно зеленели, с ветвей кисточками свисали сережки. На тополях вот-вот готовы были развернуться почки, у самых дворов хутора клонились к воде побеги окруженного разливом краснотала. Желтые пушистые, как неоперенные утята, почки его ныряли в волнах, раскачиваемые ветром.

На зорях к огородам подплывали в поисках корма дикие гуси, казарки, стаи уток. В тубе [1] зорями кагакали медноголосые гагары. Да и в полдень видно было, как по взлохмаченному ветром простору Дона пестает и нянчит волна белопузых чирков.

Много было в этот год перелетной птицы. Казаки-вентерщики, пробираясь на баркасах к снастям, на заре, когда винно-красный восход кровавит воду, видели не раз и лебедей, отдыхавших где-либо в защищенном лесом плесе. Но вовсе чудной показалась в хуторе привезенная Христоней и дедом Матвеем Кашулиным новость; ездили они в казенный лес выбрать по паре дубков на хозяйственные нужды и, пробираясь по чаще, вспугнули из буерака дикую козу с подростком-козленком. Желто-бурая худая коза выскочила из поросшего татарником и тернами буерака, несколько секунд смотрела с пригорка на порубщиков, напряженно перебирала тоненькими, точеными ногами, возле нее жался потомок, и, услышав Христонин изумленный вздох, так махнула по молодому дубняку, что лишь мигнули в глазах казаков сине-сизые глянцевитые раковины копыт да верблюжьего цвета куцый хвост.

— Что это за штука? — роняя топор, спросил Матвей Кашулин.

С ничем не объяснимым восторгом Христоня рявкнул на весь завороженно-молчаливый лес:

— Коза, стал быть! Дикая коза, растуды ее милость! Мы их повидали в Карпатах!

— Значит, война ее, горемыку, загнала в наши степя?

---

[1] Туба — низменное место на лугу, обычно поросшее лесом, сообщающееся с руслом реки лощиной.

Христоне ничего не оставалось, кроме как согласиться.

— Не иначе. А ты видел, дед, козленка-то! Язви его... Ну, с-с-сукин сын, да и хорош же! Чисто дите, стал быть!

Всю обратную дорогу они разговаривали о невиданной в области дичи. Дед Матвей под конец усомнился:

— А ну, как не коза?

— Коза. Ей-бо, коза, и больше ничего!

— А может... А ежели коза — зачем рогов нету?

— А на что они тебе понадобились, рога?

— Не об том, что мне. Спрашиваю, ежели она козиного роду... почему не при форме? Видал ты коз безрогих? То-то и оно. Может, овца какая дикая?..

— Ты, дед Матвей, стал быть, ум выжил! — обиделся Христоня.— Поди вон к Мелеховым, погляди. У ихнего Гришки плетка из козлиной ноги. Признаешь али нет?

Пришлось-таки деду Матвею идти в этот день к Мелеховым. Держак плетки Григория и в самом деле был искусно обтянут кожей ножки дикой козы; даже крохотное копытце на конце сохранилось в целости и было столь же искусно украшено медной подковкой.

На шестой неделе поста, в среду, Мишка Кошевой рано утром выехал проверить стоявшие возле леса вентери. Он вышел из дому на рассвете. Зябко съежившаяся от утренника земля подернулась ледком, грязцо закрутело. Мишка, в ватной куртке, в чириках, с заправленными в белые чулки шароварами, шел, сдвинув на затылок фуражку, дыша наспиртованным морозом воздухом, запахом пресной сырости от воды. Длинное весло нес на плече. Отомкнув баркас, шибко поехал опором, стоя, с силой налегая на весло.

Вентери свои проверил скоро, выбрал из последнего рыбу, опустил, оправил вентерные крылья и, тихонько отъехав, решил закурить. Заря чуть занималась. Сумеречно-зеленоватое небо на востоке из-под исподу будто обрызгано было кровицей. Кровица рассасывалась, стекала над горизонтом, золотисто ржавела. Мишка проследил за медлительным полетом гагары, закурил. Дымок, тая и цепляясь за кусты, заклубился в сторону. Оглядев улов — три веретенки, сазана фунтов на восемь, кучу белой рыбы,— подумал:

«Придется часть продать. Лукешка-косая возьмет, на сушеные груши обменяю; все мать взвару когда наварит».

Покуривая, поехал к пристани. У огородных плетней, где примыкал он баркас, сидел человек.

«Кто бы это?» — подумал Мишка, разгоняя баркас, ловко управляя веслом.

У плетня на корточках сидел Валет.

Он курил огромную из газетной бумаги цигарку.

Хориные, с остринкой, глазки его сонно светились, на щеках серела дымчатая щетина.

— Ты чего? — крикнул Мишка.

Крик его круглым мячом гулко покатился по воде.

— Подъезжай.

— За рыбой, что ли?

— На кой она мне!

Валет трескуче закашлялся, харкнул залпом и нехотя встал. Большая не по росту шинель висела на нем, как кафтан на бахчевном чучеле. Висячими полями фуражка прикрывала острые хрящи ушей. Он недавно заявился в хутор, сопутствуемый «порочной» славой красногвардейца. Казаки расспрашивали, где был после демобилизации, но Валет отвечал уклончиво, сводил на нет опасные разговоры. Ивану Алексеевичу да Мишке Кошевому признался, что четыре месяца отмахал в красногвардейском отряде на Украине, побывал в плену у гайдамаков, бежал, попал к Сиверсу, погулял с ним вокруг Ростова и сам себе написал отпуск на поправку и ремонт.

Валет снял фуражку, пригладил ежистые волосенки; оглядываясь, подходя к баркасу, засипел:

— Худые дела... худые... Кончай рыбку удить! А то удим-удим, да и про все забудем...

— Какие твои новости — выкладывай.

Мишка пожал его костлявую ручонку своей провонявшей рыбьей слизью рукой, тепло улыбнулся. Давняя их паровала дружба.

— Под Мигулинской вчера Красную гвардию разбили. Началась, брат, клочка... Шерсть летит!..

— Какую? Откуда в Мигулинской?

— Шли через станицу, казаки дали им чистоты... пленных вон какую кучу в Каргин пригнали! Там военно-полевой суд уже наворачивает. Нынче у нас мобилизация. Гляди, вот с утра ахнут в колокол.

Кошевой примкнул баркас, ссыпал в торбу рыбу, пошел, отмеряя веслом большие сажени. Валет жеребенком семенил возле, забегал наперед, запахивая полы шинели, широко кидая руками.

— Мне Иван Алексеев сказал. Он меня только что сменил с дежурства, мельница-то всю ночь пыхтела, за-

возно. Ну, а он слыхал от самого. К Сергею-то Платонычу из Вёшек офицер чей-то прискакал.

— Что теперь? — По лицу Мишки, возмужалому и вылинявшему за годы войны, скользнула растерянность; он сбоку глянул на Валета, переспросил: — Как теперь?

— Надо подаваться из хутора.

— Куда?

— В Каменскую.

— А там казаки.

— Левее.

— Куда?

— На Обливы.

— Как пройдешь?

— Захочешь — пройдешь! А нет — оставайся, черт тебя во все места нюхай! — окрысился вдруг Валет. — «Как да куда», да я-то почему знаю? Прикрутит — сам найдешь лазейку! Носом сыщешь!

— Ты не горячись. На горячих, знаешь, куда ездют? Иван-то что гутарит?

— Ивана твоего пока раскачаешь...

— Ты не шуми... баба вон глядит.

Они опасливо покосились на молоденькую бабенку, сноху Авдеича Бреха, выгонявшую с база коров. На первом же перекрестке Мишка повернул назад.

— Ты куда? — удивился Валет.

Не оборачиваясь, Кошевой бормотнул:

— Вентери поеду сыму.

— На что?

— Не пропадать же им.

— Значит, ахнем? — обрадовался Валет.

Мишка махнул веслом, сказал издали:

— Иди к Ивану Алексееву, а я вентери отнесу домой и зараз приду.

Иван Алексеевич успел уже уведомить близких казаков. Сынишка его сбегал к Мелеховым, привел Григория. Христоня пришел сам, словно учуя беду. Вскоре вернулся Кошевой, и совет начался. Говорили все сразу, спеша, с минуты на минуту ждали спо́лошного звона.

— Уходить сейчас же! Нынче же сматывать удочки! — возбуждающе горячился Валет.

— Ты нам, стал быть, резон дай — чего мы пойдем? — спрашивал Христоня.

— Как чего? Начнется мобилизация, думаешь — зацепишься?

— Не пойду — и все.

— Поведут!

— Не доразу. Я им не бычок на оборочке!

Иван Алексеевич, выславший из хаты свою раскосую жену, сердито буркнул:

— Взять — возьмут... Валет правильно гутарит. Только куда идти? Вот загвоздка.

— Я уж говорил ему,— вздохнул Мишка Кошевой.

— Да что ж вы, аль мне всех больше надо? Один уйду! Не нужны нюхари! «Как, да чего, да к чему?..» Вот замылют вас, да еще в тюрьме за большевизму насидитесь!.. Шутки шутите? Время, вишь, какое... Тут все к черту пойдет!..

Григорий Мелехов, сосредоточенно, с каким-то тихим озлоблением вертевший в руках выдернутый из стены ржавый гвоздик, холодно обрезал Валета:

— Ты не сепети! Твое дело другое: ни спереду, ни сзаду — снялся да пошел. А нам надо толком обдумать. У меня вот баба да двое детишек... Я нанюхался пороху не с твое! — Он померцал черными, озлевшими вдруг глазами и, хищно оголяя плотные клыкастые зубы, крикнул: — Тебе можно языком трепать... Как был ты Валет, так и остался им! У тебя, кроме пинжака, ничего нету...

— Ты что рот раззявил! Офицерство свое кажешь? Не ори! Плевать мне на тебя! — выкрикнул Валет.

Ежиная мордочка его побелела от злости, остро и дичало зашныряли узко сведенные злые глазенки, даже дымчатая шерсть на ней как будто зашевелилась.

Григорий сорвал на нем злость за свой нарушенный покой, за то волнение, которое пережил, услышав от Ивана Алексеевича о вторжении в округ красногвардейских отрядов. Выкрик Валета взбесил его окончательно. Он вскочил, как ушибленный,— подойдя в упор к ерзавшему на табурете Валету, с трудом удерживая руку, зудевшую желанием ударить, сказал:

— Замолчи, гаденыш! Сопля паршивая! Огрызок человечий! Чего ты командуешь? Ступай, кой тебя... держит! Валяй, чтоб тобой и не воняло тут! Ну-ну, не говори, а то как отхожу тебя на прощанье...

— Брось, Григорий! Не дело! — вступился Кошевой, отводя от сморщенного носа Валета Григорьев кулак.

— Казацкие замашки бросать бы надо... И не совестно?.. Совестно, Мелехов! Стыдно!

Валет встал; неловко покашливая, пошел к двери. У порога он не выдержал,— повернувшись, кольнул улыбавшегося зло Григория:

— Еще в Красной гвардии был... Жандармерия!.. Таких мы на распыл пущали!

Не стерпел и Григорий,— выталкивая Валета в сенцы, наступая ему на задники стоптанных солдатских сапог, недобрым голосом пообещал:

— Ступай! Ноги повыдергаю!

— Ни к чему это! Ну что, чисто как ребятишки!

Иван Алексеевич неодобрительно покачал головой, скосился неприязненно на Григория.

Мишка молча покусывал губы,— видно, сдерживал просившееся наружу резкое слово.

— А он что не свое на себя берет? Что он расходился? — оправдывался Григорий не без смущения; Христоня глядел на него сочувственно, и под взглядом его Григорий улыбнулся простой, ребяческой улыбкой.— Чудок не избил его!.. Там и бить-то... раз хлопнуть — и мокро.

— Ну, как вы? Надо дело делать.

Иван Алексеевич занудился под пристальным взглядом задавшего вопрос Мишки Кошевого, ответил натужно:

— Что ж, Михаил?.. Григорий — он отчасти прав: как это сняться да и лететь? У нас — семьи... Да ты погоди!..— заторопился он, уловив нетерпеливое Мишкино движение.— Может, ничего и не будет... почем знать? Разбили отряд под Сетраковом, а остальные не сунутся... А мы погодим трошки. Там видно будет. К слову сказать, и у меня баба с дитем, и обносились, и муки нету... как же так — сгребся да ушел? А они при чем останутся?..

Мишка раздраженно шевельнул бровью, в земляной пол всадил взгляд.

— Не думаете уходить?

— Я думаю погодить с этим. Уйти завсегда не поздно... вы — как, Григорий Пантелеев, и ты, Христан?..

— Стал быть, так... повременим.

Григорий, встретив неожиданную поддержку со стороны Ивана Алексеевича и Христони, оживился:

— Ну, конешно, я про то и говорю. За это и с Валетом поругался. Что это, лозу рубить, что ль? Раз, два — и готово?.. Надо подумать... подумать, говорю...

Дон-дон-дон-дон! — сорвалось с колокольни и залило площадь, улицы, проулки; над бурой гладью полой воды, над непросохшими меловыми мысами горы звон пошел

перекатом, в лесу рассыпался на мелкие, как чечевица, осколки,— стеня, замер. И еще раз — уже безостановочно и тревожно: дон-дон-дон-дон!..

— Вон-на, кличут! — Христоня часто заморгал.— Я зараз на баркас. На энтот бок, в лес. Потель меня и видали!

— Ну, так как же? — Кошевой тяжело, по-стариковски встал.

— Не пойдем зараз,— за всех ответил Григорий.

Кошевой еще раз шевельнул бровью, отвел со лба тяжелый, вытканный из курчавых завитков золотистый чуб.

— Прощевайте... Расходются, видно, наши тропки!

Иван Алексеевич улыбнулся извиняюще:

— Молодой ты, Мишатка, горячий... Думаешь, не сойдутся! Сой-дут-ся! Будь в надежде!..

Попрощавшись, Кошевой вышел. Через двор махнул на соседнее гумно. У канавы жался Валет. Он словно знал, что Мишка пойдет сюда; поднимаясь ему навстречу, спросил:

— Ну?

— Отказались.

— Я еще раньше знал. Слабяки... А Гришка... подлец он, твой товарищ! Он самого себя раз в год любит. Обидел он меня, сволочь! Рад, что сильнее. Винтореза при мне не было — убил бы...— сказал он хлипким голосом.

Мишка, шагая рядом с ним, глянул на его ежистую, вздыбленную щетину, подумал: «А ить убил бы, хорек!»

Они шли быстро, каждый звяк колокола хлестал их кнутовым ударом.

— Зайдем ко мне, харчей возьмем — и айда! Пешки пойдем, коня брошу. Ты ничего не будешь брать?

— Все на мне.— Валет скривился.— Хоро́м не нажил, именья — тоже... Жалованье вот за полмесяца не получил. Ну, да пущай пузан наш, Сергей Платоныч, наживается. Он аж затрясется от радости, что расчета не взял.

Звонить перестали. Утренняя, не стряхнувшая дремы, сонливая тишина ничем не нарушалась. У дороги в золе копались куры, возле плетней ходили разъевшиеся на зеленке телята. Мишка оглянулся назад: к площади на майдан спешили казаки. Некоторые выходили из дворов, на ходу застегивая сюртуки и мундиры. По площади прожег верховой. У школы толпился народ, белели бабьи платки и юбки, густо чернели казачьи спины.

Баба с ведрами остановилась, не желая переходить дорогу; сказала сердито:

— Идите, что ль, а то дорогу перейду!

Мишка поздоровался с ней, и она, блеснув из-под разлатых бровей улыбкой, спросила:

— Казаки на майдан, а вы — оттеля? Чего же не идешь туда, Михайла?

— Дома дело есть.

Подошли к проулку. Завиднелась крыша Мишкиной хатенки, раскачиваемая ветром скворешня с привязанной к ней сухой вишневой веткой. На бугре слабосильно взмахивал ветряк, на переплете крыльев полоскалась оторванная ветром парусина; хлопала жесть остроконечной крыши.

Неярко, но тепло светило солнце. От Дона дул свежий ветерок. На углу, во дворе Архипа Богатырева — большого, староверской складки старика, служившего когда-то в гвардейской батарее,— бабы обмазывали глиной и белили к пасхе большой круглый курень. Одна из них месила глину с навозом. Ходила по кругу, высоко подобрав юбку, с трудом переставляя белые, полные в икрах ноги с красными полосками на коже — следами подвязок. Кончиками пальцев она держала приподнятую юбку, матерчатые подвязки были взбиты выше колен, туго врезались в тело.

Была она большая щеголиха и, несмотря на то, что солнце стояло еще низко, лицо закутала платком. Остальные, две молоденькие бабенки — снохи Архипа, забравшись по лестницам под самую камышовую крышу, крытую нарядно, под корешок,— белили. Мочалковые щетки ходили в их засученных по локоть руках, на закутанные по самые глаза лица сыпались белые брызги. Бабы пели дружными, спевшимися голосами. Старшая сноха, вдовая Марья, открыто бегавшая к Мишке Кошевому, веснушчатая, но ладная казачка, заводила низким, славившимся на весь хутор, почти мужским по силе и густоте голосом:

...Да никто ж так не страдает...

Остальные подхватывали и вместе с ней в три голоса искусно пряли эту бабью, горькую, наивно-жалующуюся песню:

...Как мой милый на войне.
Сам он пушку заряжает,
Сам думает обо мне...

Мишка и Валет шли возле плетня, вслушиваясь в песню, перерезанную заливистым конским ржаньем, доносившимся с луга:

...Как пришло письмо, да с печатью,
Что милый мой убит.
Ой, убит, убит мой миленочек,
Под кустиком лежит...

Оглядываясь, поблескивая из-под платка серыми теплыми глазами, Марья смотрела на проходившего Мишку и, улыбаясь, светлея забрызганным белыми пятнами лицом, вела низким любовно-грудным голосом:

...А и кудри его, кудри русы,
Их ветер разметал.
А и глазки его, глазки кари,
Черный ворон выклевал.

Мишка ласково, как и всегда в обращении с женщинами, улыбнулся ей; водворке [1] Пелагее, месившей глину, сказал:

— Подбери выше, а то через плетень не видно!

Та прижмурилась:

— Захочешь, так увидишь.

Марья, подбоченясь, стояла на лестнице, оглядываясь по сторонам, спросила протяжно:

— Где ходил, милата́?

— Рыбалил.

— Не ходи далеко, пойдем в амбар, позорюем.

— Вот он тебе свекор, бесстыжая!

Марья щелкнула языком и, захохотав, махнула на Мишку смоченной щеткой. Белые капли осыпали его куртку и фуражку.

— Ты б нам хучь Валета ссудобил. Все помог бы курень прибрать! — крикнула вслед младшая сноха, выравнивая в улыбке сахарную блесну зубов.

Марья что-то сказала вполголоса, бабы грохнули смехом.

— Распутная сучка! — Валет нахмурился, убыстряя шаг, но Мишка, томительно и нежно улыбаясь, поправил его:

---

[1] Водворка — дочь, за которую в дом принимают затя.

— Не распутная, а веселая. Уйду — останется любушка. «Ты прости-прощай, сухота моя!» — проговорил он словами песни, входя в калитку своего база.

XXIII

После ухода Кошевого казаки сидели некоторое время молча. Над хутором шатался набатный гуд, мелко дребезжали оконца хаты. Иван Алексеевич смотрел в окно. От сарая падала на землю рыхлая утренняя тень. На барашковой мураве сединой лежала роса. Небо даже через стекло емко и сине лазурилось. Иван Алексеевич поглядел на свесившего патлатую голову Христоню.

— Может, на этом и кончится дело? Разбили мигулинцы, а больше не сунутся...

— Нет уж...— Григорий весь передернулся,— почин сделали — теперь держи! Ну что ж, пойдем на майдан?

Иван Алексеевич потянулся к фуражке; разрешая свое сомнение, спросил:

— А что, ребяты, не заржавели мы и в самом деле? Михаил — он хучь и горяч, а парень дельный... попрекнул он нас.

Ему никто не ответил. Молча вышли, направились к площади.

Раздумчиво глядя под ноги, шел Иван Алексеевич. Он маялся тем, что скривил душой и не так сделал, как ему подсказывало сознание. Правота была на стороне Валета и Кошевого; нужно было уходить, а не мяться. Те оправдания, которые мысленно подсовывал он себе, были ненадежны, и чей-то рассудочный насмешливый голос, звучавший внутри, давил их, как конское копыто — корочку ледка на луже. Единственное, что решил Иван Алексеевич твердо,— при первой же стычке перебежать к большевикам. Решение это выспело в нем, пока шли к майдану, но ни Григорию, ни Христоне Иван Алексеевич не сказал о нем, смутно понимая, что они переживают что-то иное, и в глубине сознания уже опасаясь их. Вместе, втроем, они отвергли предложение Валета, не пошли, ссылаясь на семьи, в то время как каждый из них знал, что ссылки эти неубедительны и не могут служить оправданием. Теперь они, каждый порознь, по-своему чувствовали неловкость друг перед другом, словно совершили пакостное, постыдное дело. Шли молча; против моховского дома Иван

Алексеевич, не выдержавший тошного молчания, казня самого себя и других, сказал:

— Нечего греха таить: с фронта пришли большевиками, а зараз в кусты лезем! Кто бы за нас воевал, а мы с бабами...

— Я-то воевал, пущай другие спробуют,— отворачиваясь, проронил Григорий.

— Что ж они... разбойничают, а мы, стал быть, должны к ним идти! Что это за Красная гвардия? Баб сильничают, чужое грабят. Тут оглядеться надо. Слепой, стал быть, всегда об углы бьется.

— А ты видал это, Христан? — ожесточенно спросил Иван Алексеевич.

— Люди гутарют.

— А-а... люди...

— Ну, будя! Нас тут ишо не слыхали.

Майдан пышно цвел казачьими лампасами, фуражками, изредка островком чернела лохматая папаха. Собрался весь хутор. Баб не было. Одни старики да казаки фронтового возраста и помоложе. Впереди, опираясь на костыли, стояли самые старые: почетные судьи, члены церковного совета, попечители школ, ктитор. Григорий повел глазами, разыскал отцову посеребренную с чернью бороду. Старик Мелехов стоял рядом со сватом Мироном Григорьевичем. Впереди них, в сером парадном мундире с регалиями, слег на шишкастый костыль дед Гришака. Рядом со сватом — румяный, как яблочко, Авдеич Брех, Матвей Кашулин, Архип Богатырев, вырядившийся в казачью фуражку Атепин-Цаца; дальше сплошным полукруглым частоколом — знакомые лица: бородатый Егор Синилин, Яков Подкова, Андрей Кашулин, Николай Кошевой, длинновязый Борщев, Аникушка, Мартин Шамиль, голенастый мельник Громов, Яков Коловейдин, Меркулов, Федот Бодовсков, Иван Томилин, Епифан Максаев, Захар Королев, сын Авдеича Бреха — Антип, курносый, мелкорослый казачишка. Брата Петра Григорий, переходя майдан, увидел на противоположной стороне круга. Петро, в рубашке с оранжево-черными георгиевскими ленточками, зубоскалил с безруким Алешкой Шамилем. Слева от него зеленели глаза Митьки Коршунова. Тот прикуривал от цигарки Прохора Зыкова. Прохор помогал, выкатывая телячьи глаза, плямкал губами — раздувал огонек. Позади толпились молодые казаки; в середине круга, у шаткого столика, всеми четырьмя ножками врезавшегося в податливую, не-

просохшую землю, сидел председатель хуторского ревкома Назар и рядом с ним, опираясь рукою о крышку стола, стоял незнакомый Григорию сотник в защитной фуражке с кокардой, в куртке с погонами и узеньких галифе цвета хаки. Председатель ревкома что-то смущенно говорил ему, сотник слушал, чуть нагнувшись, склонив к председательской бороде большое оттопыренное ухо. Майдан, как пчельник, полнился тихим шумом. Казаки переговаривались, шутили, но лица у всех были напряженные. Кто-то не выдержал ожидания, крикнул молодо:

— Начинайте! Чего ждать? Все почти собрались!

Офицер непринужденно выпрямился, снял фуражку и просто, как среди семьи, заговорил:

— Господа старики и вы, братья фронтовые казаки! Вы слышали, что произошло на хуторе Сетракове?

— Чей это? Откедова? — забасил Христоня.

— Вёшенский, с Черной речки, Солдатов, что ли...— ответил кто-то.

— В Сетраков,— продолжал сотник,— на днях пришел отряд Красной гвардии. Германцы заняли Украину и, подвигаясь к Области Войска Донского, отбросили их от железной дороги. Они и направились через мигулинский юрт. Заняв хутор, начали грабить имущество казаков, насиловать казачек, производить незаконные аресты и так далее. Когда в окружающих хуторах стало известно о случившемся, казаки с оружием в руках напали на грабителей. Отряд был наполовину уничтожен, наполовину забран в плен. Мигулинцам достались богатейшие трофеи. Мигулинская и Казанская станицы сбросили с себя иго большевицкой власти. Казаки от мала до велика поднялись на защиту тихого Дона. В Вёшенской ревком разогнан, избран станичный атаман, в большинстве хуторов — то же.

В этом месте сотниковой речи старики сдержанно загомонили.

— Повсюду сформированы отряды. Вам бы тоже надо сформировать из фронтовиков отряд, чтобы оградить станицу от нового нашествия диких разбойничьих полчищ. Мы должны восстановить свое управление! Красной власти нам не надо,— один разврат она несет, а не свободу! Ведь не позволим же мы, чтобы мужики обесчещивали наших жен и сестер, чтобы глумились они над нашей православной верой, надругивались над святыми храмами, грабили наше имущество и достояние... не так ли, господа старики?

Майдан крякнул от дружного «верна-а-а!». Сотник начал читать отпечатанное на шапирографе воззвание. Председатель выбрался из-за стола, позабыв какие-то бумаги. Толпа слушала, не проронив ни одного слова. Позади вяло переговаривались фронтовики.

Григорий, как только офицер начал читать, вышел из толпы; направляясь домой, неспешно пошел к углу дома отца Виссариона, Мирон Григорьевич доглядел его уход, Пантелея Прокофьевича — локтем в бок.

— Твой-то меньшой, гляди, пошел!

Пантелей Прокофьевич выхромал из курагота, просяще и повелительно окликнул:

— Григорий!

Тот повернулся боком, стал, не оглядываясь.

— Вернись, сынок!

— Чего уходишь! Ворочайся! — загремели голоса, и стена лиц повернулась к Григорию.

— Офицера заслужил тоже!

— Нос нечего воротить!

— Он сам в них был!

— Тоже казачьей кровушки попился...

— Краснопуз!

Выкрики долетели до слуха Григория. Стиснув зубы, он слушал, видимо, боролся сам с собой; казалось, еще минута — и пойдет без оглядки.

Пантелей Прокофьевич и Петро облегченно вздохнули, когда Григорий качнулся, пошел на толпу, не поднимая глаз.

Старики разошлись вовсю. С диковинной быстротой был тут же избран атаманом Мирон Григорьевич Коршунов. Серея конопинами белесого лица, он вышел на середину, конфузливо принял из рук прежнего атамана символ власти — медноголовую атаманскую насеку. До этого он ни разу не ходил в атаманах; когда выбирали его — ломался, отказывался, ссылаясь на незаслуженность такой чести и на свою малограмотность. Но старики встретили его подмывающими криками:

— Бери насеку! Не супротивничай, Григорич!

— Ты у нас в хуторе первый хозяин.

— Не проживешь хуторское добро!

— Гляди, хуторские паи не пропей, как Семен!

— Но-но... этот пропьет!

— С базу есть чего взять!..

— Слупим, как с овечки!..

Так необычны были стремительные выборы и вся полубоевая обстановка, что Мирон Григорьевич согласился без особых упрашиваний. Выбирали не так, как прежде. Бывало, приезжал станичный атаман, созывались десятидворные, кандидаты баллотировались, а тут — так-таки, по-простому, сплеча: «Кто за Коршунова — прошу отойти вправо». Толпа вся хлынула вправо, лишь чеботарь Зиновий, имевший на Коршунова зуб, остался стоять на месте один, как горелый пень в займище.

Не успел вспотевший Мирон Григорьевич глазом мигнуть,— ему уж всучили в руки насеку, заревели издали и под самым ухом:

— Магарыч станови!

— Все шары накатили тебе!

— Обмывать надо!

— Качать атамана!

Но сотник, прерывая крики, умело направил сход на деловое решение вопросов. Он поставил вопрос о выборе командира отряда и, наверное, наслышанный в Вешенской о Григории, льстя ему, польстил и хутору:

— Желательно бы иметь командира — офицера! С тем и дело в случае боя будет успешней, и урона меньше будет. А на вашем хуторе героев — хоть отбавляй. Я не могу навязывать вам, станичники, свою волю, но со своей стороны порекомендую вам хорунжего Мелехова.

— Какого?

— Два их у нас.

Офицер, скользя по толпе глазами, остановился на видневшейся позади склоненной голове Григория,— улыбаясь, крикнул:

— Григория Мелехова!.. Как вы, станичники?

— В добрый час!

— Покорнейше просим!

— Григорь Пантелевич! Ядрена-голень!

— Выходи середь круга! Выходи!

— Старики хочут поглядеть на тебя!

Подталкиваемый сзади, Григорий, багровея, вышел на середину круга, затравленно оглянулся.

— Веди наших сынов! — Матвей Кашулин стукнул костылем и размашисто закрестился.— Веди и руководствуй ими, чтоб они у тебя, как гуси у доброго гусака, в шайке сохранялись. Как энтот караулит своих племяков и оберегает от хищного зверя и человека, так и ты оберегай! Сумей ишо четыре креста заслужить, давай тебе бог!

— Пантелей Прокофич, сын у тебя!..
— Голова у него золотая! Мозговит, сукин кот!
— Черт хромой, станови хучь четверть!
— Га-га-га-га!.. Об-мо-е-е-ем!..
— Господа старики! Тише! Может, назначим две али три переписи безо всяких охотов? Охотники не то пойдут, не то нет...
— Три года!
— Пять!
— Охотников набирать!..
— Сам ступай, какой тебя... держит?
К сотнику, о чем-то говорившему с новым атаманом, подошли четверо стариков с верхнего конца хутора. Один из них, мелкий беззубый старичонка, по уличному прозвищу «Сморчок», был известен тем, что всю жизнь сутяжничал. Он так часто ездил в суд, что единственная белая кобыла, которая была у него в хозяйстве, настолько изучила туда дорогу, что, стоило пьяному ее хозяину упасть в повозку и крикнуть свиристящим дискантом: «В суд!» — кобыла сама направлялась по дороге на станицу... Сморчок, стягивая шапчонку, подошел к сотнику. Остальные старики, из них один — крепкий хозяин, уважаемый всеми, Герасим Болдырев, остановились возле. Сморчок, помимо всех прочих достоинств отличавшийся краснобайством, первый затронул сотника:
— Ваше благородие!
— Что вам, господа старики? — Сотник любезно изогнулся, наставляя большое, с мясистой мочкой ухо.
— Ваше благородие, вы, значит, не дюже наслышаны об нашем хуторном, коего вы определили нам в командиры. А мы вот, старики, обжалуем это ваше решение, и мы — правомочны на это. Отвод ему даем!
— Какой отвод? В чем дело?
— А в том, что как мы могем ему доверять, ежели он сам был в Красной гвардии, служил у них командиром и только два месяца назад как вернулся оттель по ранению.
Сотник порозовел. Уши его будто припухли от прилива крови.
— Да не может быть! Я не слышал про это... Мне никто ничего не говорил на этот счет...
— Верно, был в большевиках,— сурово подтвердил Герасим Болдырев.— Не доверяем мы ему!

— Сменить его! Казаки вон молодые что гутарют? «Он, гутарют, нас в первом же бою предаст!»

— Господа старики! — крикнул сотник, приподнимаясь на цыпочки; он обращался к старикам, хитро минуя фронтовиков.— Господа старики! В отрядные мы выбрали хорунжего Григория Мелехова, но не встречается ли к этому препятствий? Мне заявили сейчас, что он зимою сам был в Красной гвардии. Можете ли вы ему доверить своих сынов и внуков? И вы, братья фронтовики, со спокойным ли сердцем пойдете за таким отрядным?

Казаки ошалело молчали. Крик вырос сразу; из отдельных восклицаний и возгласов нельзя было понять ни одного слова. Потом уже, когда, поорав, умолкли, на середину круга вышел клочкобровый старик Богатырев, снял перед сбором шапку, огляделся.

— Я так думаю своим глупым разумом — что Григорию Пантелеевичу не дадим мы этую должность. Был за ним такой грех,— слыхали мы все про это. Пущай он наперед заслужит веру, покроет свою вину, а после видать будем. Вояка из него — добрый, знаем... но ить за мгой и солнышка не видно: не видим мы его заслугу — глаза нам застит его служба в большевиках!..

— Рядовым его! — запальчиво кинул молодой Андрей Кашулин.

— Петра Мелехова командиром!

— Нехай Гришка в табуне походит!

— Выбрали б на свою голову!

— Да я и не нуждаюсь! На кой черт вы мне сдались! — кричал сзади Григорий, краснея от напряжения; взмахнув рукой, повторил: — Я и сам не возьмусь! На черта вы мне понадобились! — сунул руки в глубокие карманы шаровар; ссутулясь, журавлиным шагом потянул домой.

А вслед ему:

— Но-но! Не дюже!..

— Поганка вонючая! Руль свой горбатый задрал!

— Ого-го!

— Вот как турецкие кровя им распоряжаются!

— Не смолчит, небось! Офицерам на позициях не молчал. А то, чтоб тут...

— Вернись!..

— Га-га-га-га!..

— Узы его! Га! Тю! Улю-лю-лю-лю!..

— Да чего вы зад перед ним заносите? Своим судом его!

Поуспокоились не сразу. Кто-то в пылу споров толкнул, у кого-то кровь из носа вышибли, кто-то из молодых неожиданно разбогател шишкой под глазом. После всеобщего замирения приступили к выборам отрядного. Провели Петра Мелехова — и он аж поалел от гордости. Но тут-то и напоролся сотник, как ретивый конь на чересчур высокий барьер, на непредвиденное препятствие: дошла очередь записываться в охотники, а охотников-то и не оказалось. Фронтовики, сдержанно относившиеся ко всему происходившему, мялись, не хотели записываться, отшучивались:

— Ты чего ж, Аникей, не пишешься?

И Аникушка бормотал:

— Молодой я ишо... Вусов вон нету...

— Ты шутки не шути! Ты что — на смех нас подымаешь? — вопил у него под ухом старик Кашулин.

Аникей отмахивался, словно от комариного брунжанья:

— Своего Андрюшку поди запиши.

— Записал!

— Прохор Зыков! — выкрикивали у стола.

— Я!

— Записывать?

— Не знаю...

— Записали!

Митька Коршунов с серьезным лицом подошел к столу, отрывисто приказал:

— Пиши меня.

— Ну, ишо кто поимеет охоту?.. Бодовсков Федот... ты?

— Грызь у меня, господа старики!..— невнятно шептал Федот, скромно потупив раскосые, калмыцкие глаза.

Фронтовики открыто гоготали, брались за бока, щедрые на шутку отмачивали:

— Бабу свою возьми... на случай вылезет грызь — вправит.

— Ах-ха-ха-ха!..— покатывались позади, кашляя и блестя зубами и маслеными от смеха глазами.

А с другого конца синичкой перелетела новая шутка:

— Мы тебя в кашевары! Сделаешь борщ поганый — до тех пор будем в тебя лить, покеда с другого конца грызь вылезет.

— Резко не побегешь — самое с такими отступать.

Старики негодовали, ругались:

— Будя! Будя! Ишь какая им веселость!

— Нашли время дурь вылаживать!

— Совестно, ребяты! — резонил один.— А бог! То-то! Бог — он не спустит. Там помирают люди, а вы... а бог?

— Томилин Иван,— сотник, поворачиваясь, огляделся.

— Я артиллерист,— отозвался Томилин.

— Записываешься? Нам и артиллеристы нужны.

— Пиши... э-эх!

Захар Королев, Аникушка, с ними еще несколько человек подняли батарейца на смех.

— Мы тебе из вербы пушку выдолбим!

— Тыквами будешь заряжать, картошка замест картечи!

С шутками и смехом записалось шестьдесят казаков. Последним объявился Христоня. Он подошел к столу, сказал с расстановочкой:

— Намулюй, стал быть, меня. Только наперед говорю, что драться не буду.

— Зачем же тогда записываться? — раздраженно спросил сотник.

— Погляжу, господин офицер. Поглядеть хочу.

— Пишите его.— Сотник пожал плечами.

С майдана расходились чуть ли не в полдень. Решено было на другой же день отправляться на поддержку мигулинцев.

Наутро на площади из шестидесяти добровольцев собралось только около сорока. Петро, щеголевато одетый в шинель и высокие сапоги, оглядел казаков. На многих синели заново нашитые погоны с номерами прежних полков, иные красовались без погонов. Седла пухли походными вьюками, в тороках и сумах — харчи, бельишко, запасенные с фронта патроны. Винтовки — не у всех, холодное оружие — у большинства.

На площади собрались провожать служивых бабы, девки, детишки, старики. Петро, гарцуя на отстоявшемся коне, построил свою полусотню, оглядел разномастных лошадей, всадников, одетых кто в шинели, кто в мундиры, кто в брезентовые дождевые плащи, скомандовал трогаться. Отрядик шагом поднялся на гору, казаки хмуро оглядывались на хутор, в заднем ряду кто-то выстрелил. На бугре Петро надел перчатки, расправил пшеничные усы и, поворачивая коня так, что он, часто переступая, пошел боком,— крикнул, улыбаясь, придерживая левой рукой фуражку:

— Со-о-отня, слушай мою команду!.. Рысью марш!..

Казаки, стоя на стременах, махнули плетьми, зарысили. Ветер бил в лица, трепал конские хвосты и гривы, сулил дождик. Начались разговоры, шутки. Под Христоней споткнулся вороной трехвершковый конь. Хозяин огрел его плетюганом, выругался; конь, сколесив шею, перебил на намет, вышел из ряда.

Веселое настроение не покидало казаков до самой станицы Каргинской. Шли с полным убеждением, что никакой войны не будет, что мигулинское дело — случайный налет большевиков на казачью территорию.

XXIV

В Каргинскую приехали перед вечером. В станице уже не было фронтовиков — ушли на Мигулинскую. Петро, спешив свой отряд на площади, возле магазина купца Левочкина, пошел к станичному атаману на квартиру. Его встретил рослый, могучего сложения смуглолицый офицер. Одет он был в длинную просторную рубаху, без погонов, подпоясанную кавказским ремешком, казачьи шаровары с лампасами, заправленные в белые шерстяные чулки. В углу тонких губ висела трубка. Коричневые, с искрой глаза глядели вывихнуто, исподлобно. Он стоял на крыльце, покуривая, глядя на подходившего Петра. Вся массивная фигура его, выпуклые чугунно крепкие валы мышц под рубашкой на груди и руках изобличали в нем присутствие недюжинной силы.

— Вы — станичный атаман?

Офицер выдохнул из-под никлых усов ворох дыма, пробаритонил:

— Да, я станичный атаман. С кем имею честь говорить?

Петро назвался. Пожимая его руку, атаман чуть наклонил голову.

— Лиховидов Федор Дмитриевич.

Федор Лиховидов, казак хутора Гусыно-Лиховидовского, был человеком далеко не заурядным. Он учился в юнкерском, по окончании его надолго исчез. Через несколько лет внезапно появился в хуторе, с разрешения высших властей начал вербовать добровольцев из отслуживших действительную казаков. В районе теперешней Каргинской станицы набрал сотню отчаянных сорвиголов, увел за собой в Персию. Со своим отрядом пробыл там год,

составляя личную охрану шаха. В дни персидской революции, спасаясь с шахом, бежал, растерял отряд и так же внезапно появился в Каргине; привел с собой часть казаков, трех чистокровных арабских, с конюшни шаха, скакунов, привез богатую добычу: дорогие ковры, редчайшие украшения, шелка самых пышных цветов. Он прогулял месяц, вытряс из карманов шаровар немало золотых персидских монет, скакал по хуторам на снежно-белом, красивейшем, тонконогом коне, по-лебединому носившем голову, въезжал на нем по порожкам магазина Левочкина, покупал что-нибудь, расплачивался, не слезая с седла, и выезжал в сквозную дверь. Исчез Федор Лиховидов так же неожиданно, как и приехал. Вместе с ним скрылся его неразлучный спутник — вестовой, гусыновский казак, плясун Пантелюшка; исчезли и лошади и все, что вывезено было из Персии.

Полгода спустя объявился Лиховидов в Албании. Оттуда, из Дураццо, приходили в Каргин на имя знакомых его почтовые карточки с голубыми нагорными видами Албании, со странными штемпелями. Потом переехал он в Италию, изъездил Балканы, был в Румынии, на западе Европы, перенесло его чуть ли не в Испанию. Дымкой таинственности покрывалось имя Федора Дмитриевича. Самые различные толки и предположения ходили о нем по хуторам. Знали лишь одно — что был он близок к монархическим кругам, водил знакомство в Питере с большими сановниками, был в «Союзе русского народа» [1] на видном счету, но о том, какие миссии выполнял он за границей, никто ничего не знал.

Уже вернувшись из-за границы, Федор Лиховидов укоренился в Пензе, при тамошнем генерал-губернаторе. В Каргине знакомые видели его фотографию и после долго покачивали головами, растерянно чмокали языками: «Ну и ну!..» — «В гору лезет Федор Дмитриевич!» — «С какими людьми дело водит, а?» А на фотографии Федор Дмитриевич, с улыбкой на своем горбоносом смуглом лице серба, под ручку поддерживает губернаторшу, усаживающуюся в ландо. Сам губернатор ему ласково, как родному, улыбается, широкоспинный кучер в вытянутых руках еле удерживает вожжи, лошади вот-вот готовы рвануть и не-

---

[1] «Союз русского народа» — черносотенная, оголтело монархическая организация в царской России, вела антисемитскую агитацию, организовывала еврейские погромы, убийства политических противников, получая огромные суммы денег от правительства.

сти, закусив удила. Одна рука Федора Дмитриевича галантно тянется к косматой папахе, другая, как чашу, держит губернаторшин локоток.

После нескольких лет исчезновения, уже в конце 1917 года, всплыл Федор Лиховидов в Каргине, обосновался там — как будто бы надолго. Привез с собой жену, не то украинку, не то польку, и ребенка; поселился на площади в небольшом, о четырех комнатах домике, зиму прожил, вынашивая какие-то неведомые планы. Всю зиму (а зима была крепка не по-донскому!) стояли у него настежь открытыми окна,— закалял себя и семью, вызывая изумление у казаков.

Весною 1918 года, после дела под Сетраковом, его выбрали в атаманы. Вот тут-то и развернулись во всю ширь необъятные способности Федора Лиховидова. В столь жесткие руки попала станица, что неделю спустя даже старики головами покачивали. Так вышколил он казаков, что на станичном сходе после речи его (говорил Лиховидов ладно; не только силой, но и умом не обнесла его природа) ревут старики, как табун сплошь из бугаев: «В добрый час, ваше благородие! Покорнейше просим!» — «Верна!»

Круто атаманил новый атаман; едва лишь прослыхали в Каргинской о бое под Сетраковом, как на другой же день туда полностью направились все фронтовики станицы. Иногородние (в поселении станицы составлявшие треть жителей) вначале не хотели было идти, другие солдаты-фронтовики запротестовали, но Лиховидов настоял на сходе, старики подписали предложенное им постановление о выселении всех «мужиков», не принимавших участия в защите Дона. И на другой же день десятки подвод, набитых солдатами, с гармошками и песнями, потянулись к Наполову, Чернецкой слободке. Из иногородних лишь несколько молодых солдат, предводительствуемые Василием Стороженко, служившим в 1-м пулеметном полку, бежали к красногвардейцам.

Атаман еще по походке узнал в Петре офицера — выходца из нижних чинов. Он не пригласил Петра в комнату, говорил с оттенком добродушной фамильярности:

— Нет, милейший, делать вам в Мигулинской нечего. Без вас управились,— вчера вечером получили телеграмму. Поезжайте-ка обратно да ждите приказа. Казаков хорошенько качните! Такой большой хутор — и дал сорок бойцов?! Вы им, мерзавцам, накрутите холки! Ведь вопрос-то об их шкурах! Будьте здоровы, всего доброго!

Он пошел в дом, с неожиданной легкостью неся свое могучее тело, шаркая подошвами простых чириков. Петро направился к площади, к казакам. Его осыпали вопросами:

— Ну, как?

— Что там?

— Пойдем на Мигулин?

Петро, не скрывая своей обрадованности, усмехнулся:

— Домой! Обошлись без нас.

Казаки улыбались,— толпясь, пошли к привязанным у забора коням. Христоня даже вздохнул, будто гору с плеч скидывая,— хлопнул по плечу Томилина:

— Домой, стал быть, пушкарь!

— То-то бабы теперь по нас наскучили.

— Зараз тронемся.

Посоветовавшись, решили не ночевать, ехать сейчас же. Уже в беспорядке, кучей выехали за станицу. Если в Каргинскую шли неохотно, редко перебивая на рысь, то оттуда придавили коней, неслись вовсю. Местами скакали намётом; глухо роптала под копытами зачерствевшая от бездождья земля. Где-то за Доном, за дальними гребнями бугров, лазоревая крошилась молния.

В хутор приехали в полночь. Спускаясь с горы, выстрелил Аникушка из своей австрийской винтовки, громыхнули залпом, извещая о возвращении. В ответ по хутору забрехали собаки, и, чуя близкий дом, дрожа, с выхрипом проржал чей-то конь. По хутору рассыпались в разные стороны.

Мартин Шамиль, прощаясь с Петром, облегченно крякнул:

— Навоевались. То-то добро!

Петро улыбнулся в темноту, поехал к своему базу.

Коня вышел убрать Пантелей Прокофьевич. Расседлал его, завел в конюшню. В курень пошли вместе с Петром.

— Отставили поход?

— Ага.

— Ну и слава богу! Хучь бы и век не слыхать.

Жаркая со сна, встала Дарья. Собрала мужу вечерять. Из горницы вышел полуодетый Григорий; почесывая черноволосую грудь, насмешливо пожмурился на брата.

— Победили, что ль?

— Останки борща вот побеждаю.

— Ну, это куда ни шло. Борщ-то мы одолеем, особенно ежели мне навалиться в подмогу...

* * *

До пасхи о войне не было ни слуху ни духу, а в страстную субботу прискакал из Вешенской нарочный, взмыленного коня бросил у коршуновских ворот,— гремя по порожкам шашкой, взбежал на крыльцо.

— Какие вести? — с порога встретил его Мирон Григорьевич.

— Мне атамана. Вы будете?

— Мы.

— Снаряжайте казаков зараз же. Через Наголинскую волость идет Подтелков с Красногвардией. Вот приказ.— И вместе с пакетом вывернул запотевшую подкладку фуражки.

Дед Гришака шел на разговор, запрягая нос в очки; с база прибежал Митька. Приказ от окружного атамана читали вместе. Нарочный, прислонясь к резным перилам, растирал рукавом по обветревшему лицу полосы пыли.

На первый день пасхи, разговевшись, выехали казаки из хутора. Приказ генерала Алферова был строг, грозил лишением казачьего звания, поэтому шло на Подтелкова уже не сорок человек, как в первый раз, а сто восемь, в числе которых были и старики, объятые желанием брухнуться с красными. Вместе с сыном ехал зяблоносый Матвей Кашулин. На никудышной кобыленке красовался в передних рядах Авдеич Брех, всю дорогу потешавший казаков диковиннейшими своими небылицами; ехал старик Максаев и еще несколько седобородых... Молодые ехали поневоле, старые — по ретивой охоте.

Григорий Мелехов, накинув на фуражку капюшон дождевого плаща, ехал в заднем ряду. С обволоченного хмарью неба сеялся дождь. Над степью, покрытой нарядной зеленкой, катились тучи. Высоко, под самым тучевым гребнем, плыл орел. Редко взмахивая крыльями, простирая их, он ловил ветер и, подхватываемый воздушным стременем, кренясь, тускло блистая коричневым отливом, летел на восток, удаляясь, мельчая в размерах.

Степь мокро зеленела. Местами лишь кулигами выделялся прошлогодний чернобыл, багровел жабрей, да на гряде бугра сизо отсвечивали сторожевые курганы.

Спускаясь с горы в Каргинскую, казаки повстречали подростка-казачонка, гнавшего на попас быков. Шел он, оскользаясь босыми ногами, помахивая кнутом. Увидев всадников, приостановился, внимательно рассматривая их

и забрызганных грязью, с подвязанными хвостами лошадей.

— Ты чей? — спросил его Иван Томилин.

— Каргин,— бойко ответил парнишка, улыбаясь из-под накинутой на голову курточки.

— Ушли ваши казаки?

— Пошли. Красногвардию пошли выбивать. А у вас не будет ли табачку на цигарку? А, дяденька?

— Табачку тебе? — Григорий придержал коня.

Казачонок подошел к нему. Засученные шаровары его были мокры, лампасы ало лоснились. Он смело глядел в лицо Григорию, выручавшему из кармана кисет, говорил ловким тенористым голосом:

— Вот тут зараз, как зачнете спущаться,— увидите битых. Вчерась пленных краснюков погнали в Вешки наши казаки и поклали их... Я, дяденька, стерег скотину вон возле Песчаного кургана, видел оттель, как они их рубили. Ой, да и страшно же! Как зачали шашками махать, они как взревелись, как побегли... После ходил, глядел... У одного плечо обрубили, двошит часто, и видно, как сердце в середке под кровями бьется, а печенки синие-синие... Страшно! — повторил он, дивясь про себя, что казаки не пугаются его рассказа, так, по крайней мере, заключил он, оглядывая бесстрастные и холодные лица Григория, Христони и Томилина.

Закурив, он погладил мокрую шею Григорьева коня, сказал: «Спасибочко» — и побежал к быкам.

Около дороги, в неглубоком, промытом вешней водой яру, чуть присыпанные суглинком, лежали трупы изрубленных красногвардейцев. Виднелось смугло-синее, как из олова, лицо с запекшейся на губах кровью, чернела босая нога в синей ватной штанине.

— Тошно им прибрать... Сволочи! — глухо зашептал Христоня и вдруг, секанув плетью своего коня, обгоняя Григория, поскакал под гору.

— Ну, завиднелась и на донской земле кровица,— подергивая щекой, улыбнулся Томилин.

XXV

Номерным у Бунчука был казак с хутора Татарского Максимка Грязнов. Коня потерял он в бою с кутеповским отрядом, с той поры безудержно запил, пристрастился

к картежной игре. Когда убили под ним коня — того самого, который бычачьей был масти, с серебряным ремнем вдоль спины,— вынес на себе Максимка седло, пер его четыре версты и, видя, что живым не уйти от яро наседавших белых, сорвал богатый нагрудник, взял уздечку и самовольно ушел из боя. Объявился он уже в Ростове, вскорости проиграл в «очко» серебряную шашку, взятую у зарубленного им есаула, проиграл оставшуюся на руках конскую справу, шаровары, шевровые сапоги и нагишом пришел в команду к Бунчуку. Тот его приодел, примолвил. Может, и исправился бы Максимка, да в бою, начавшемся на подступах к Ростову, колупнула ему пуля голову, вытек на рубаху голубой Максимкин глаз, забила ключом кровь из разверзнутой, как консервная банка, черепной коробки. Будто и не было на белом свете вешенского казака Грязнова — конокрада в прошлом и горького пьянюги в недавнем вчера.

Поглядел Бунчук, как корежила агония Максимкино тело, и заботливо вытер с пулеметного ствола кровь, брызнувшую из дырявой Максимкиной головы.

Сейчас же пришлось отступать. Потащил Бунчук пулемет. Остался Максимка холодеть на жаркой земле, выставил на солнце смуглоспинное тело с задранной на голову рубахой (умирая, все тянул на голову рубаху, мучился).

Взвод красногвардейцев, сплошь из солдат, возвращавшихся с турецкого фронта, укрепился на первом же перекрестке. Гололобый солдат, в полуистлевшей зимней папахе, помог Бунчуку установить пулемет, остальные устроили поперек улочки нечто вроде баррикады.

— Приходи видаться! — улыбнулся один бородач, поглядывая на близкое за бугорком полудужье горизонта.

— Теперь мы им сыпанем!

— Ломай, Самара! — крикнули одному дюжему парню, отдиравшему доски от забора.

— Вон они! Метутся сюда! — крикнул гололобый, взобравшись на крышу водочного склада.

Анна прилегла рядом с Бунчуком. Красногвардейцы густо залегли за временным укреплением.

В это время справа, по соседнему переулку, человек девять красногвардейцев, как куропатки по меже, промчались за стену углового дома. Один успел крикнуть:

— Скачут! Тикайте!

На перекрестке вмиг стало пустынно и тихо, а минуту спустя, опережая вихрь пыли, вывернулся верховой казак с белой перевязью на фуражке, с прижатым к боку карабином. Он с такой силой крутнул коня, что тот присел на задние ноги. Бунчук успел выстрелить из нагана. Казак, прилипая к конской шее, умчался назад. Солдаты, бывшие около пулемета, топтались в нерешимости, двое перебежали вдоль забора, залегли у ворот.

Было видно, что сейчас дрогнут и побегут. Напряженное до предела молчание, растерянные взгляды не сулили устойчивости... А из последующего осязаемо и ярко запомнился Бунчуку один момент. Анна в сбитой на затылок повязке, растрепанная и неузнаваемая от волнения, обескровившего ее лицо, вскочила и — винтовку наперевес,— оглядываясь, указывая рукой на дом, за которым скрылся казак, таким же неузнаваемым ломким голосом крикнула: «За мной!» — и побежала неверной, спотыкающейся рысью.

Бунчук привстал. Рот его исковеркало невнятным криком. Выхватил винтовку у ближнего солдата,— чувствуя в ногах страшную дрожь, побежал за Анной, задыхаясь, чернея от великого и бессильного напряжения кричать, звать, вернуть. Позади слышал дых нескольких человек, топотавших следом, и всем своим существом чувствовал что-то страшное, непоправимое, приближение какой-то чудовищной развязки. В этот миг он уже понял, что поступок ее не в силах увлечь остальных, бессмыслен, безрассуден, обречен.

Неподалеку от угла в упор напоролся на подскакавших казаков. Разрозненный с их стороны залп. Посвист пуль. Жалкий заячий вскрик Анны. И она, оседающая на землю, с вытянутой рукой и безумными глазами. Он не видел, как казаки повернули обратно, не видел, как солдаты из тех восемнадцати, что были около его пулемета, гнали их, зажженные Анниным порывом. Она, одна она была в его глазах, билась у его ног. Не чуя рук, повернул ее на бок, чтобы взять и куда-то нести, увидел кровяной подтек в левом боку и клочья синей кофточки, хлюпко болтавшейся вокруг раны,— понял, что рана от разрывной пули, понял — смерть Анне, и смерть увидел в ее обволоченных мутью глазах.

Кто-то оттолкнул его. Анну перенесли в ближний двор, положили в холодке под навесом сарая.

Гололобый солдат совал в рану хлопья ваты и отшвыривал их прочь, набухавшие и черневшие от крови. Овладев собой, Бунчук расстегнул на Анне ворот кофточки, порвал на себе исподнюю рубашку и, прижимая комья полотна к ране, видел, как пузырилась кровь, пропуская в отверстие воздух, видел, как сине белело лицо Анны и черный рот ее дрожал в муках. Губы хватали воздух, а легкие задыхались: воздух шел через рот и рану. Бунчук разрезал на ней рубашку, бесстыдно оголил покрытое смертной испариной тело. Рану кое-как заткнули тампоном. Через несколько минут к Анне вернулось сознание. Провалившиеся глаза глянули из черных подтечных кругов на Илью и прикрылись дрожащими ресницами.

— Воды! Жарко! — крикнула она и заметалась, заплакала: — Жить! Илья-а-а-а!.. Милый!.. Аааа!

Распухшими губами Бунчук припадал к ее пылающим щекам, лил из кружки воду на грудь. Вода до краев заполняла впадины ключиц, пересыхала моментально. Смертный жар изжигал Анну. Сколько ни лил Бунчук на грудь ее воды,— металась Анна, рвалась из рук.

— Жарко!.. Огонь!..

Обессилев, понемногу холодея, сказала внятно:

— Илья, зачем же? Ну вот видишь, как все просто... Чудак ты!.. Страшно просто... Илья... Милый, ты маме какнибудь... Ты знаешь...— Она полуоткрыла суженные, как во время смеха, глаза и, пытаясь осилить боль и ужас, заговорила невнятно, будто давясь чем-то: — Сначала ощущение... Толчок и ожог... Сейчас горит все... Чувствую — умру...— И сморщилась, увидев горький отрицающий взмах его руки.— Оставь! Ах, как тяжко дышать!..

В перерывы говорила часто и много, словно старалась высказать все тяготившее ее. С безграничным ужасом заметил Бунчук, что лицо ее светлеет, становится прозрачней, желтей у висков. Перевел взгляд на руки, безжизненно кинутые вдоль тела, увидел — ногти, как зреющий чернослив, наливаются розовой синевой.

— Воды... На грудь... Жарко!

Бунчук бросился в дом за водой. Возвращаясь, не слышал под навесом сарая хрипов Анны. Низкое солнце светило на сведенный последней судорогой рот, на прижатую к ране еще теплую воскового слепка ладонь. Медленно сжимая ее плечи, он приподнял ее, минуту смотрел на заострившийся нос с потемневшими крохотными веснушками у переносья, ловил под разлатыми черными бровями

стынувший блеск зрачков. Беспомощно запрокинутая голова свисала все ниже, на тонкой девичьей шее в синей жилке отсчитывал последние удары пульс.

Бунчук прижался губами к черному полусмеженному веку, позвал:

— Друг! Аня! — выпрямился и, круто повернувшись, пошел, неестественно прямо, не шевеля прижатыми к бедрам руками.

XXVI

Эти дни он жил, как в тифозном бреду. Ходил, делал что-то, ел, спал, но все это словно в полусне, одуряющем и дурманном. Ошалелыми припухлыми глазами непонимающе глядел на разостланный вокруг него мир, знакомых не узнавал, глядел, как сильно пьяный или только что оправившийся от изнурительной болезни. Со дня смерти Анны чувства в нем временно атрофировались: ничего не хотелось, ни о чем не думалось.

— Ешь, Бунчук! — предлагали товарищи, и он ел, тяжко и лениво двигая челюстями, тупо уставясь в одну точку.

За ним наблюдали, поговаривали об отправке в госпиталь.

— Ты болен? — спросил его на другой день один из пулеметчиков.

— Нет.

— А чего ж ты? Тоскуешь?

— Нет.

— Ну, давай закурим. Ее, браток, теперь не воротишь. Не трать на это дело пороху.

Приходило время спать,— ему говорили:

— Ложись спать. Пора.

Ложился.

В этом состоянии временного ухода из действительности пробыл он четыре дня, на пятый повстречал его на улице Кривошлыков, схватил за рукав.

— Ага, вот и ты, а я тебя ищу.— Кривошлыков не знал о случившемся с Бунчуком и, дружески похлопывая его по плечу, тревожно улыбнулся.— Ты чего такой? Не выпил? Ты слышал, что отправляется экспедиция в северные округа? Как же, комиссия пяти выбрана. Федор ведет. Только на северных казаков и надежда. Иначе заремизят.

Плохо! Ты поедешь? Нам агитаторы нужны. Поедешь, что ли?

— Да,— коротко ответил Бунчук.

— Ну и хорошо. Завтра выступаем. Зайди к деду Орлову, он у нас звездочетом.

В прежнем состоянии полнейшей духовной прострации Бунчук приготовился к выступлению и на следующий день, 1 мая, выехал вместе с экспедицией.

К тому времени обстоятельства для донского Советского правительства складывались явно угрожающим образом. С Украины надвигались немецкие оккупационные войска, низовые станицы и округа были сплошь захлестнуты контрреволюционным мятежом.

По зимовникам бродил Попов, грозя оттуда Новочеркасску. Происходивший 10—13 апреля в Ростове областной съезд Советов неоднократно прерывался, так как восставшие черкассцы подходили к Ростову и занимали предместья. Лишь на севере, в Хоперском и Усть-Медведицком округах, теплились очаги революции, и к их-то теплу невольно и тянулись Подтелков и остальные, разуверившиеся в поддержке низовского казачества. Мобилизация сорвалась, и Подтелков, недавно избранный председателем донского Совнаркома, по инициативе Лагутина решил отправиться на север, чтобы мобилизовать там три-четыре полка фронтовиков и кинуть их на немцев и низовскую контрреволюцию.

Создали чрезвычайную мобилизационную комиссию пяти, во главе с Подтелковым. 29 апреля из казначейства взяли десять миллионов рублей золотом и николаевскими для нужд мобилизации, наспех сгребли отряд для охраны денежного ящика, преимущественно из казаков бывшей каменской местной команды, забрали несколько человек казаков-агитаторов, и 1 мая, уже под обстрелом немецких аэропланов, экспедиция тронулась по направлению на Каменскую.

Пути были забиты эшелонами отступавших с Украины красногвардейцев. Казаки-повстанцы рвали мосты, устраивали крушения. Ежедневно над линией Новочеркасск — Каменская по утрам появлялись немецкие аэропланы, кружились коршунячьей семьей, снижались,— коротко стрекотали пулеметы, из эшелонов высыпали красногвардейцы; дробно грохотали выстрелы, над станциями запах шлака смешивался с прогорклым запахом войны, уничтожения. Аэропланы взмывали в немыслимую

высоту, а стрелки еще долго опорожняли патронные цинки, и сапоги ходивших мимо состава тонули по щиколотку в пустых гильзах. Ими покрыт был песок, как буерак дубовой золотой листвою в ноябре.

Безмерное разрушение сказывалось на всем: по откосам углились сожженные и разломанные вагоны, на телеграфных столбах сахарно белели стаканы, перевитые оборванными проводами. Многие дома были разрушены, щиты вдоль линии сметены, будто ураганом...

Экспедиция пять дней пробивалась по направлению на Миллерово. На шестой утром Подтелков созвал членов комиссии в свой вагон.

— Так ехать нету могуты! Давайте кинем все наши пожитки и пойдем походным порядком.

— Ты что? — воскликнул изумленный Лагутин.— Пока дотилипаешь походным порядком до Усть-Медведицы, белые через нас пройдут.

— Далековато,— замялся и Мрыхин.

Кривошлыков, только недавно нагнавший экспедицию, молчал, кутался в шинель с выцветшими петлицами. Его трепала лихорадка, от хины звенело в ушах, голова, начиненная болью, пылала. Он не принимал участия в обсуждении, сидел, сгорбясь, на мешке с сахаром. Глаза его были затянуты лихорадочной пленкой.

— Кривошлыков! — окликнул его Подтелков, не поднимая от карты глаз.

— Что тебе?

— Не слышишь, о чем гутарим? Походом идтить надо, иначе перегонют нас, пропадем. Ты как? Ты больше нас ученый, говори.

— Походом бы можно,— с расстановочкой заговорил Кривошлыков, но вдруг ляскнул совсем по-волчьи зубами, мелко затрясся, охваченный пароксизмом лихорадки.— Можно бы, если б меньше багажу.

Около дверей Подтелков развернул карту области. Мрыхин держал углы. Карта под ветром, налетевшим с пасмурного запада, трепыхалась, с шорохом рвалась из рук.

— Вот как пойдем, вот, гляди! — Обкуренный палец Подтелкова наискось проехался по карте.— Видишь масштаб? Полтораста верст, двести от силы. Ну!

— А ить верно, чума ее дери! — согласился Лагутин.

— Ты, Михаил, как?

Кривошлыков досадливо пожал плечами.

— Я не возражаю.

— Зараз пойду казакам скажу, чтоб выгружались. Нечего время терять.

Мрыхин выжидающе оглядел всех и, не встретив возражений, выпрыгнул из вагона.

Эшелон, с которым ехала подтелковская экспедиция, в это хмурое, дождливое утро стоял неподалеку от Белой Калитвы. Бунчук лежал в своем вагоне, с головой укрывшись шинелью. Казаки здесь же кипятили чай, хохотали, подшучивали друг над другом.

Ванька Болдырев — мигулинский казак, балагур и насмешник — подсмеивался над товарищем-пулеметчиком.

— Ты, Игнат, какой губернии? — хрипел его сиплый, прожженный табаком голос.

— Тамбовской,— мяконьким баском отзывался Смирный Игнат.

— И небось морщанский?

— Нет, шацкий.

— А-а-а... шацкие — ребята хватские: в драке семеро на одного не боятся лезть. Это не в вашей деревне к престолу телушку огурцом зарезали?

— Будя, будя тебе!

— Ах, да, я забыл, этот случай не у вас произошел. У вас, никак, церковь блинами конопатили, а после на горохе ее хотели под гору перекатить. Было такое дело?

Чайник вскипел, и это на время избавило Игната от шуток Болдырева. Но едва лишь сели за завтрак, Ванька начал снова:

— Игнат, что-то ты свинину плохо ешь? Не любишь?

— Нет, ничего.

— На вот тебе свиную гузку. Скусная!

Лопнул смех. Кто-то поперхнулся и долго трескуче кашлял. Завозились. Загрохотали сапогами, а через минуту — запыхавшийся и сердитый голос Игната:

— Жри сам, черт! Что ты лезешь со своей гузкой?

— Она не моя, свиная.

— Один черт,— поганая!

Равнодушный, с сипотцой болдыревский голос тянет:

— Пога-на-я? Да ты в уме? Ее на пасху святили. Скажи уж, что боишься оскоромиться...

Станичник Болдырева, красивый светло-русый казак, георгиевский кавалер всех четырех степеней, урезонивает:

— Брось, Иван! Наживешь с мужиком беды. Сожрет гузку, и приспичит ему кабана. А где его тут раздостанешь?

Бунчук лежал, смежив глаза. Разговор не доходил до его слуха, и он переживал недавнее с прежней, даже будто бы усилившейся болью. В мутной наволочи закрытых глаз кружилась перед ним степь, покрытая снегом, с бурыми хребтами дальних лесов на горизонте; он как бы ощущал холодный ветер и рядом с собой видел Анну, черные глаза ее, мужественные и нежные линии милого рта, крохотные веснушки у переносья, вдумчивую складку на лбу... Он не слышал слов, срывавшихся с ее губ: они были невнятны, перебивались чьей-то чужой речью, смехом, но по блеску зрачков, по трепету выгнутых ресниц догадывался, о чем она говорит... И вот иная Анна: иссиня-желтая, с полосами застывших слез на щеках, с заострившимся носом и жутко-мучительной складкой губ.

Он нагибается, целует черные провалы стынущих глаз... Бунчук застонал, ладонью зажал себе рот, чтобы удержать рыдание. Анна не покидала его ни на минуту. Образ ее не выветривался и не тускнел от времени. Лицо ее, фигура, походка, жесты, мимика, размах бровей — все это, воссоединяясь по частям, составляло ее цельную, живую. Он вспоминал ее речи, овеянные сентиментальным романтизмом, все то, что пережил с ней. И от этой живости воссоздания муки его удесятерялись.

Его разбудили, услышав приказ о выгрузке. Он встал, равнодушно собрался, вышел. Потом помогал выгружать вещи. С таким же безразличием сел на подводу, поехал.

Моросил дождь. Мокрела низкорослая трава вдоль дороги.

Степь. Вольный разгул ветров по гребням и балкам. Далекие и близкие хутора, выселки. Позади дымки паровозов, красные квадраты станционных построек. Сорок с лишним подвод, нанятых в Белой Калитве, тянулись по дороге. Лошади шли медленно. Суглинисто-черноземная почва, размякшая от дождя, затрудняла движение. Грязь цеплялась на колеса, наматывалась черными ватными хлопьями. Впереди и позади толпами шли шахтеры Белокалитвенского района. На восток уходили от казачьего произвола. Тащили за собой семьи, утлый скарб.

Возле разъезда Грачи их нагнали растрепанные отряды красногвардейцев Романовского и Щаденко. Лица бойцов были землисты, измучены боями, бессонницей и лишени-

ями. К Подтелкову подошел Щаденко. Красивое лицо его, с подстриженными по-английски усами и тонким хрящеватым носом, было испито. Бунчук проходил мимо, слышал, как Щаденко — брови в кучу — говорил зло и устало:

— Та что ты мне говоришь? Чи я не знаю своих ребят? Плохи дела, а тут немцы, будь они прокляты! Когда теперь соберешь?

После разговора с ним Подтелков, пахмуренный и как будто слегка растерявшийся, догнал свою бричку, что-то взволнованно стал говорить привставшему Кривошлыкову. Наблюдая за ними, Бунчук видел: Кривошлыков, опираясь на локоть, рубнул рукой воздух, выпалил несколько фраз залпом, и Подтелков повеселел, прыгнул на тачанку, боковина ее хрястнула, удержав на себе шестипудового батарейца; кучер — кнута лошадям, грязь — ошметками в сторону.

— Гони! — крикнул Подтелков, щурясь, распахивая навстречу ветру кожаную куртку.

XXVII

Несколько дней экспедиция шла в глубь Донецкого округа, прорываясь к Краснокутской станице. Население украинских слобод встречало отряд с неизменным радушием: с охотой продавали съестные припасы, корм для лошадей, давали приют, но едва лишь поднимался вопрос о найме лошадей до Краснокутской,— украинцы мялись, чесали затылки и отказывались наотрез.

— Хорошие деньги платим, чего ж ты нос воротишь? — допытывался Подтелков у одного из украинцев.

— Та шо ж, а мэни своя жизнь нэ дэшевше грошей стоить.

— На что нам твоя жизнь, ты нам коней с бричкой найми.

— Ни, нэ мо̀жу.

— Почему не могешь?

— Та вы ж до казакив йидэтэ?

— Ну, так что же?

— Може зробиться яке лыхо або ще шо. Чи мэни своей худобы нэ жалко? Загублють коней, шо мэни тоди робыть! Ни, дядько, выдчепысь, нэ поиду!

Чем ближе подвигались к Краснокутскому юрту, тем тревожней становились Подтелков и остальные. Чувствовалась перемена и в настроении населения: если в первых слободах встречали с радостным гостеприимством, то в последующих — к экспедиции относились с явным недоброжелательством и настороженностью. Неохотно продавали продукты, увиливали от вопросов. Подводы экспедиции уже не окружала, как прежде, цветистым поясом слободская молодежь. Угрюмо, неприязненно посматривали из окон, спешили уйти.

— Крещеные вы тут али нет? — с возмущением допытывались казаки из экспедиции.— Что вы, как сычи на крупу, на нас глядите?

А в одной из слобод Наголинской волости Ванька Болдырев, доведенный до отчаяния холодным приемом, бил на площади шапку оземь,— озираясь, как бы не подошел кто из старших, кричал хрипато:

— Люди вы али черти? Что ж вы молчите, такую вашу мать? За ваши права кровь проливаешь, а они в упор тебя не видют! Довольно совестно такую мораль распущать! Теперь, товарищи, равенство,— ни казаков, ни хохлов нету, и никакого черта лопушиться. Чтоб зараз же несли курей и яиц, за все николаевскими плотим!

Человек шесть украинцев, слушавших, как разоряется Болдырев, стояли понуро, словно лошади в плуге.

На горячую речь его не откликнулись ни одним словом.

— Как были вы хохлы, так вы, растреклятые, ими и остались! Чтоб вы полопались, черти, на мелкие куски! Холеры на вас нету, буржуи вислопузые! — Болдырев еще раз ахнул оземь свою приношенную шапку, побагровел от бесконечного презрения: — У вас снегу средь зимы не выпросишь!

— Не лайся! — только и сказали ему украинцы, расходясь в разные стороны.

В этой же слободе у одного из казаков-красногвардейцев пожилая украинка допытывалась:

— Чи правда, шо вы усэ будэтэ грабыть и усих чоловиков ризать?

И казак, глазом не мигнув, отвечал:

— Правда. Всех-то не всех, а стариков будем резать.

— Ой, боже ж мий! Та на шо ж воны вам нужни?

— А мы их с кашей едим: баранина теперь травяная, не сладкая, а деда подвалишь в котел, и такой из него навар получается...

— Та то вы, мабуть, шуткуетэ?

— Брешет он, тетка! Дуру трепает! — вступил в разговор Мрыхин.

И один на один жестоко отчитал шутника.

— Ты понимай, как шутить и с кем шутить! За такие шутки как бы тебе Подтелков ряшку не побил! Ты чего смуту разводишь? А она и в сам-деле понесет, что стариков режем.

Подтелков укорачивал стоянки и ночевки. Сжигаемый беспокойством, он стремился вперед. Накануне вступления в юрт Краснокутской станицы он долго разговаривал с Лагутиным, делился мыслями:

— Нам, Иван, далеко идтить не след. Вот достигнем Усть-Хоперской станицы, зачнем ворочать дела! Объявим набор, жалованья рублей по сотне кинем, но чтоб шли с конями и со справой, нечего народными денежками сорить. Из Усть-Хопра так и гребанемся вверх: через твою Букановскую, Слащевскую, Федосеевскую, Кумылженскую, Глазуновскую, Скуришенскую. Пока до Михайловки дойдем — дивизия! Наберем?

— Набрать — наберем, коли там все мирно.

— Ты уж думаешь, и там началось?

— А почем знать? — Лагутин гладил скудную бороденку, тонким жалующимся голосом говорил:

— Припозднились мы... Боюсь я, Федя, что не успеем. Офицерье свое дело там делает. Поспешать надо бы.

— И так спешим. А ты не боись! Нам бояться нельзя,— Подтелков суровел глазами.— Людей за собой ведем, как можно бояться? Успеем! Прорвемся! Через две недели буду бить и белых и германцев! Аж черти их возьмут, как попрем с донской земли! — И, помолчав, жадно выкурив папироску, высказал затаенную мысль: — Опоздаем! — погибли и мы, и Советская власть на Дону. Ох, не опоздать бы! Ежели попереди нас докатится туда офицерское восстание — все!

На другой день к вечеру экспедиция вступила на земли краснокутской станицы. Не доезжая хутора Алексеевского, Подтелков, ехавший с Лагутиным и Кривошлыковым на одной из передних подвод, увидел ходивший в степи табун.

— Давай расспросим пастуха,— предложил он Лагутину.

— Идите,— поддержал Кривошлыков.

Лагутин и Подтелков, соскочив, пошли к табуну. Толока, выжженная солнцем, лоснилась бурой травой. Трава была низкоросла, ископычена, лишь у дороги желтым мелкокустьем цвела сурепка да шелестел пушистыми метелками ядреный овсюг. Разминая в ладони головку престарелой полыни, вдыхая острую горечь ее запаха, Подтелков подошел к пастуху.

— Здоро́во живешь, отец!

— Слава богу.

— Пасешь?

— Пасу.

Старик, насупясь, глядел из-под кустистых седых бровей, покачивал чакушкой.

— Ну, как живете? — задал Подтелков обычный вопрос.

— Ничего, божьей помочью.

— Что новостей у вас тут?

— Ничего не слыхать. А вы что за люди?

— Служивые, домой идем.

— Откель же вы?

— Усть-хоперские.

— Этот самый Подтелкин не с вами?

— С нами.

Пастух, видимо испугавшись, заметно побледнел.

— Ты чего оробел, дед?

— Как же, кормильцы, гутарют, что вы всех православных режете.

— Брехня! Кто это распущает такие слухи?

— Позавчера атаман на сходне гутарил. Слухом пользовался, не то бумагу казенную получил, что идет Подтелкин с калмыками, режут вчистую всех.

— У вас уж атаманы? — Лагутин мельком глянул на Подтелкова.

Тот желтыми клыками впился в травяную былку.

— Надысь выбрали атамана. Совет прикрыли.

Лагутин хотел еще что-то спросить, но в стороне здоровенный лысый бык прыгнул на корову, подмял ее.

— Обломит, окаянный! — ахнул пастух и с неожиданной для его возраста резвостью пустился к табуну, выкрикивая на бегу: — Настенкина коровенка!.. Обломит!.. Куда!.. Куда-а-а, лысый!..

Подтелков, широко кидая руками, зашагал к тачанке. Хозяйственный Лагутин остановился, беспокойно глядел на тщедушную коровенку, пригнутую быком до земли,

невольно думал в этот миг: «А ить обломит, сломал, никак! Ах ты, нечистый дух!»

Только убедившись в том, что коровенка вынесла из-под быка хребет свой в целости,— пошел к подводам. «Что будем делать? Неужели уж и за Доном атаманья?» — мысленно задал он себе вопрос. Но внимание его вновь на минуту отвлек стоявший у дороги племенной красавец бугай. Бугай нюхал большую, широкую в оснастке черную корову, поводил лобастой головой. Подгрудок его свисал до колен, длинный корпус, могучий и плотный, был вытянут, как струна. Низкие ноги стояками врывались в мягкую землю, и, нехотя любуясь породистым бугаем, лаская глазами его красную с подпалинами шерсть, Лагутин сквозь рой встревоженных мыслей вынес с вздохом одну: «Нам бы в станицу такого. А то мелковаты бугайки у нас». Эта мысль зацепилась походя, мельком. Подходя к тачанке, всматриваясь в невеселые лица казаков, Лагутин обдумывал маршрут, по которому придется им теперь идти.

* * *

Вытрепанный лихорадкой Кривошлыков — мечтатель и поэт — говорил Подтелкову:

— Мы уходим от контрреволюционной волны, норовим ее опередить, а она хлобыстает уже через нас. Ее, видно, не обгонишь. Шибко идет, как прибой на низменном месте.

Из членов комиссии, казалось, только Подтелков учитывал всю сложность создавшейся обстановки. Он сидел, клонясь вперед, ежеминутно кричал кучеру:

— Гони!

На задних подводах запели и смолкли. Оттуда, покрывая говор колес, раскатами бил смех, звучали выкрики.

Сведения, сообщенные пастухом, подтвердились. По дороге встретился экспедиции казак-фронтовик, ехавший с женой на хутор Свечников. Он был в погонах и с кокардой. Подтелков расспросил его и еще более почернел.

Миновали хутор Алексеевский. Накрапывал дождь. Небо хмурилось. Лишь на востоке, из прорыва в туче виднелся ультрамариновый, политый косым солнцем клочок неба.

Едва лишь с бугра стали съезжать в тавричанский участок Рубашкин, оттуда на противоположную сторону побежали люди, вскачь помчалось несколько подвод.

— Бегут. Нас боятся...— растерянно проговорил Лагутин, оглядывая остальных.

Подтелков крикнул:

— Верните их! Да шумните ж им, черти!

Казаки повскакивали на подводах, замахали шапками. Кто-то зычно закричал:

— Э-гей!.. Куда вы? Погодите!..

Подводы экспедиции рысью съезжали в участок. На широкой обезлюдевшей улице кружился ветер. В одном из дворов старая украинка с криком кидала в бричку подушки. Муж ее, босой и без шапки, держал под уздцы лошадей.

В Рубашкином узнали, что квартирьер, высланный Подтелковым, захвачен в плен казачьим разъездом и уведен за бугор. Казаки были, видимо, недалеко. После короткого совещания решено было идти обратно. Подтелков, настаивавший вначале на продвижении вперед, заколебался.

Кривошлыков молчал, его вновь начинал трясти приступ лихорадки.

— Может, пойдем дальше? — спросил Подтелков у присутствовавшего на совещании Бунчука.

Тот равнодушно пожал плечами. Ему было решительно все равно — вперед идти или назад, лишь бы двигаться, лишь бы уходить от следовавшей за ним по пятам тоски. Подтелков, расхаживая возле тачанки, заговорил о преимуществе движения на Усть-Медведицу. Но его резко оборвал один из казаков-агитаторов:

— Ты с ума сошел! Куда ты поведешь нас? К контрреволюционерам? Ты, брат, не балуйся! Назад пойдем! Погибать нам неохота! Энто что? Ты видишь? — он указал на бугор.

Все оглянулись: на небольшом кургашке четкие рисовались фигуры трех верховых.

— Разъезд ихний! — воскликнул Лагутин.

— А вон еще!

По бугру замаячили конные. Они съезжались группами, разъезжались, исчезали за бугром и вновь показывались. Подтелков отдал приказ трогаться обратно. Проехали хутор Алексеевский. И там население, очевидно предупрежденное казаками, завидев приближение подвод экспедиции, стало прятаться и разбегаться.

Смеркалось. Назойливый, мелкий, холодный цедился дождь. Люди промокли и издрогли. Шли возле подвод, держа винтовки наизготове. Дорога, огибая изволок,

спустилась в лощину, текла по ней, виляя и выползая на бугор. На гребнях появлялись и скрывались казачьи разъезды. Они провожали экспедицию, взвинчивая и без того нервное настроение.

Возле одной из поперечных балок, пересекавших лощину, Подтелков прыгнул с подводы, коротко кинул остальным: «Изготовься!» Сдвинув на своем кавалерийском карабине предохранитель, пошел рядом с подводой. В балке — задержанная плотиной — голубела вешняя вода. Ил около прудка был испятнан следами подходившего к водопою скота. На горбе осыпавшейся плотины росли бурьянок и повитель, внизу у воды чахла осока, шуршал под дождем остролистый лещук. Подтелков ждал казачьей засады в этом месте, но высланная вперед разведка никого не обнаружила.

— Федор, ты сейчас не жди,— зашептал Кривошлыков, подозвав Подтелкова к подводе.— Сейчас они не нападут. Ночью нападут.

— Я сам так думаю.

XXVIII

На западе густели тучи. Темнело. Где-то далеко-далеко, в полосе Обдонья вилась молния, крылом недобитой птицы трепыхалась оранжевая зарница. В той стороне блекло светилось зарево, принакрытое черной полою тучи. Степь, как чаша, до краев налитая тишиной, таила в складках балок грустные отсветы дня. Чем-то напоминал этот вечер осеннюю пору. Даже травы, еще не давшие цвета, излучали непередаваемый запах тлена.

К многообразным невнятным ароматам намокшей травы принюхивался, шагая, Подтелков. Изредка он останавливался, счищал с каблуков комья приставшей грязи; выпрямляясь, тяжко и устало нес свое грузное тело, скрипел мокрой кожей распахнутой куртки.

В хутор Калашников, Поляково-Наголинской волости, приехали уже ночью. Казаки команды, покинув подводы, разбрелись по хатам на ночевку. Взволнованный Подтелков отдал распоряжение расставить пикеты, но казаки собирались неохотно. Трое отказались идти.

— Судить их товарищеским судом! За невыполнение боевого приказа — расстрелять! — горячился Кривошлыков.

Издерганный тревогой, Подтелков горько махнул рукой.

— Разложились дорогой. Обороняться не будут. Пропали мы, Мишатка!..

Лагутин кое-как собрал несколько человек, выслал за хутор дозоры.

— Не спать, ребятки! Иначе накроют нас! — обходя хаты, убеждал Подтелков наиболее близких ему казаков.

Он всю ночь просидел за столом, свесив на руки голову, тяжело и хрипло вздыхая. Перед рассветом чуть забылся сном, уронив на стол большую голову, но его сейчас же разбудил пришедший из соседнего двора Роберт Фрашенбрудер. Начали собираться к выступлению. Уже рассвело. Подтелков вышел из хаты. Хозяйка, доившая корову, повстречалась ему в сенях.

— А на бугре конные ездют,— равнодушно сказала она.

— Где?

— А вон за хутором.

Подтелков выскочил на двор: на бугре, за белым пологом тумана, висевшего над хутором и вербами левад, виднелись многочисленные отряды казаков. Они передвигались рысью и куцым намётом, окружая хутор, туго стягивая кольцо.

Вскоре во двор, где остановился Подтелков, к его тачанке стали стекаться казаки команды.

Пришел мигулинец Василий Мирошников — плотный чубатый казак. Он отозвал Подтелкова в сторону, потупясь, сказал:

— Вот что, товарищ Подтелков... Приезжали зараз делегаты от них,— он махнул рукой в сторону бугра,— велели передать тебе, чтоб сейчас же мы сложили оружие и сдались. Иначе они идут в наступление.

— Ты!.. Сукин сын!.. Ты что мне говоришь? — Подтелков схватил Мирошникова за отвороты шинели, швырнул его от себя и подбежал к тачанке: винтовку — за ствол, хриплым огрубевшим голосом — к казакам: — Сдаться?.. Какие могут быть разговоры с контрреволюцией? Мы с ними боремся! За мною! В цепь!

Высыпали из двора. Кучкой побежали на край хутора. У последних дворов догнал задыхавшегося Подтелкова член комиссии Мрыхин.

— Какой позор, Подтелков! Со своими же братьями и мы будем проливать кровь? Оставь! Столкуемся и так!

Видя, что лишь незначительная часть команды следует за ним, трезвым рассудком учитывая неизбежность поражения в случае схватки, Подтелков молча выкинул из винтовки затвор и вяло махнул фуражкой:

— Отставить, ребята! Назад — в хутор...

Вернулись. Собрались всем отрядом в трех смежных дворах. Вскоре в хуторе появились казаки. С бугра спустился отряд в сорок всадников.

Подтелков, по приглашению милютинских стариков, отправился за хутор договориться об условиях сдачи. Основные силы противника, обложившего хутор, не покидали позиций. На прогоне Бунчук догнал Подтелкова, остановил его:

— Сдаемся?

— Сила солому ломит... Что?.. Ну, что сделаешь?

— Погибнуть захотел? — Бунчука всего передернуло.

Высоким беззвучным глухим голосом он закричал, не обращая внимания на стариков, сопровождавших Подтелкова:

— Скажи, что оружия мы не сдадим!..— Он круто повернулся и, размахивая зажатым в кулаке наганом, пошел обратно.

Вернувшись, попробовал было убедить казаков прорваться и с боем идти к железной дороге, но большинство было настроено явно примиренчески. Одни отворачивались от Бунчука, другие враждебно заявляли:

— Иди воюй, Аника, а мы с родными братьями сражаться не будем!

— Мы им и без оружия доверимся.

— Святая пасха — а мы будем кровь лить?

Бунчук подошел к своей бричке, стоявшей возле амбара, кинул под нее шинель, лег, не выпуская из ладони рубчатой револьверной рукоятки. Вначале он подумал было бежать, но ему претили уход тайком, дезертирство, и, мысленно махнув рукой, он стал ожидать возвращения Подтелкова.

Тот вернулся часа через три. Огромная толпа чужих казаков проникла с ним в хутор. Некоторые ехали верхом, другие вели лошадей в поводу, остальные шли просто пешком, напирая на Подтелкова и подъесаула Спиридонова — бывшего сослуживца его по батарее, теперь возглавлявшего сборный отряд по поимке подтелковской экспедиции. Подтелков высоко нес голову, шагал прямо и старательно, будто выпивший лишнее. Спиридонов что-

то говорил ему, тонко и ехидно улыбаясь. А за ним ехал верховой казак, прижимая к груди небрежно выструганное древко просторного белого флага.

Улицы и дворы, где сбились подводы экспедиции, запрудились подошедшими казаками. Гомон вырос сразу. Многие из пришедших были сослуживцы казаков подтелковской команды. Зазвучали обрадованные восклицания, смех.

— Тю, однокашник. Тебя каким ветром занесло?

— Ну, здорово, здорово, Прохор!

— Слава богу.

— Чудок мы с тобой бой не учинили. А помнишь, как подо Львовом за австрийцами гоняли?

— Кум, Данило! Кум! Христос воскресе!

— Воистину воскресе! — слышался звучный чмок поцелуя: двое казаков, разглаживая усы, глядели друг на друга, улыбались, хлопали один одного по плечу.

Рядом другой разговор:

— Нам и разговеться не пришлось...

— Да ить вы же большевики, какое вам разговенье?

— Ну-к что ж, большевики — большевиками, а в бога веруем.

— Хо! Брешешь?

— Истинный бог!

— А крест носишь?

— А вот он.— И здоровый широколицый красногвардеец-казак, топыря губу, расстегивал ворот гимнастерки, доставал висевший на бронзово-волосатой груди позеленевший медный крест.

Старики с вилами и топорами из отрядов по поимке «бунтовщика Подтелкова» изумленно переглядывались:

— А гутарили, будто вы отреклись от веры Христовой.

— Вроде вы уж сатане передались...

— Слухи были, будто грабите вы церкви и попов уничтожаете.

— Брехня! — уверенно опровергал широколицый красногвардеец.— Брехню вам всучивают. Я перед тем как из Ростова выйтить, в церкву ходил и причастие принимал.

— Ска-а-ажи на милость! — Какой-то мозгляворенький старичишка, вооруженный пикой с отпиленным наполовину древком, обрадованно хлопал руками.

Оживленный говор гудел по улице и дворам. Но через полчаса несколько казаков, из них один вахмистр Боков-

ской станицы, расталкивая сбитые в плотный массив толпы, пошли по улице.

— Кто из отряда Подтелкова — собирайтесь на перекличку! — выкрикивали они.

Подъесаул Спиридонов, в защитной рубахе и защитных погонах, снял фуражку с офицерской кокардой, белевшей, как отколотый кусочек рафинада, крикнул, поворачиваясь во все стороны:

— Все, кто из отряда Подтелкова, отходи налево к плетню! Остальные — направо! Мы, ваши братья-фронтовики, вместе с вашей делегацией порешили, что вы должны сдать нам все оружие, ибо население боится вас с оружием. Складывайте винтовки и остальное вооружение на ваши повозки, будем его охранять совместно. Ваш отряд мы направим в Краснокутскую, и там в Совете вы получите ваше оружие сполна.

Среди казаков-красногвардейцев — глухое волнение. Выкрики из двора. Кричит казак Кумшатской станицы Коротков:

— Не сдадим!

Глухой буревой гул по улице, по дворам, набитым людьми.

Пришлые казаки хлынули в правую сторону, и посреди улицы, толпой разрозненной и разбитой, остались красногвардейцы из отряда Подтелкова. Кривошлыков в накинутой внапашку шинели затравленно оглядывался. Лагутин кривил губы. Поднялся недоуменный говор.

Бунчук, твердо решивший не сдавать оружия, держа винтовку наперевес, быстро подошел к Подтелкову.

— Оружия не сдадим! Слышишь ты?!

— Теперь поздно...— прошептал Подтелков, судорожно комкая в руках отрядный список.

Список этот перешел в руки Спиридонова. Тот, бегло прочитав его, спросил:

— Тут сто двадцать восемь человек... Где остальные?

— Отстали дорогой.

— Ах, вон как... Ну, ладно. Прикажи, чтобы сносили оружие.

Подтелков первый отцепил наган с кобурою; передавая оружие, сказал невнятно:

— Шашка и винтовка в тачанке.

Началось разоружение. Красногвардейцы вяло сносили оружие, револьверы кидали через плетни, прятали, расходясь по дворам.

— Всех, кто не сдаст оружие, будем обыскивать! — крикнул Спиридонов, весело и широко осклабляясь.

Часть красногвардейцев, предводительствуемая Бунчуком, отказалась от сдачи винтовок; их обезоружили силком.

Тревоги наделал пулеметчик, ускакавший из хутора с пулеметным замком. Воспользовавшись суматохой, спряталось несколько человек. Но сейчас же Спиридонов выделил конвой, окружил всех оставшихся с Подтелковым, обыскал, попробовал сделать перекличку. Пленные отвечали неохотно, некоторые покрикивали:

— Чего тут проверять, все тут!

— Гоните нас в Краснокутскую!

— Товарищи! Кончайте дело!

Опечатав и под усиленной охраной отправив денежный ящик в Каргинскую, Спиридонов построил пленных, скомандовал, сразу изменив тон и обращение:

— Ряды вздвой! На-ле-е-во! Правое плечо вперед, шагом марш! Молчать!

Ропот прокатился по рядам красногвардейцев. Пошли недружно, тихо, спустя немного смешали ряды и уже шли толпой.

Подтелков, под конец упрашивавший своих сдавать оружие, вероятно, еще надеялся на какой-то счастливый исход. Но как только пленных выгнали за хутор, конвоировавшие их казаки начали теснить крайних лошадьми. Бунчука, шагавшего слева, старик казак, с пламенно рыжей бородой и почерневшей от старости серьгой в ухе, без причины ударил плетью. Конец ее располосовал Бунчуку щеку. Бунчук повернулся, сжав кулаки, однако вторичный, еще более сильный удар заставил его шарахнуться в глубь толпы. Он невольно сделал это, подтолкнутый животным инстинктом самосохранения, и, стиснутый телами густо шагавших товарищей, в первый раз после смерти Анны сморщил губы нервной усмешкой, дивясь про себя тому, как живуче и цепко в каждом желание жить.

Пленных начали избивать. Старики, озверевшие при виде безоружных врагов, гнали на них лошадей,— свешивались с седел, били плетями, тупяками шашек. Невольно каждый из подвергавшихся побоям норовил протиснуться в середину; поднялись давка, крик.

Высокий бравый красногвардеец из низовских крикнул, потрясая поднятыми руками:

— Убивать — так убивайте сразу!.. Что вы измываетесь?

— Где же ваше слово? — зазвенел Кривошлыков.

Старики притихли. На вопрос одного из пленных: «Куда вы нас гоните?» — конвоир, молодой фронтовик, видимо сочувствовавший большевикам, ответил вполголоса:

— Приказ был — на хутор Пономарев. Вы не робейте, братки! Худого вам ничего не сделаем.

Пригнали на хутор Пономарев.

Спиридонов с двумя казаками стал в дверях тесной лавчушки; пропуская по одному, спрашивал:

— Имя, фамилия? Откуда родом? — ответы записывал в замусоленную полевую книжку.

Дошла очередь до Бунчука.

— Фамилия? — Спиридонов приставил жало карандаша к бумаге, мельком глянул в пасмурное лобастое лицо красногвардейца и, видя, как ежатся губы того, готовя плевок, вихнулся всем телом в сторону, крикнул: — Проходи, сволочь! Издохнешь и без фамилии!

Зараженный примером Бунчука, не ответил и тамбовец Игнат. Еще кто-то третий захотел умереть неузнанным, молча шагнув через порог...

Спиридонов сам навесил замок. Приставил караул.

Пока возле лавки шел дележ продуктов и оружия, взятых с подвод экспедиции, в одном из соседних домов заседал организованный наспех военно-полевой суд из представителей хуторов, участвовавших в поимке Подтелкова.

Председательствовал коренастый желтобровый есаул, уроженец Боковской станицы, Василий Попов. Он сидел за столом под завешенным рушниками зеркалом, широко разложив локти, сдвинув фуражку на плоский затылок. Масленые добродушно-строгие глаза его испытующе ползали по лицам казаков — членов суда. Обсуждалась мера наказания.

— Что же мы с ними сделаем, господа старики? — повторил Попов вопрос.

Наклоняясь, он что-то шепнул сидевшему рядом с ним подъесаулу Сенину. Тот утвердительно, поспешно кивнул головой. У Попова зрачки сузились, стерлись в углах глаз веселые лучики, и глаза, иные, блестящие похолодевшим суровым блеском, чуть прикрылись негустыми ресницами.

— Что мы сделаем с теми предателями родного края, которые шли грабить наши курени и уничтожать казачество?

Февралев, старик, старообрядец Милютинской станицы, вскочил, как подкинутый пружиной.

— Расстрелять! Всех! — Он по-оглашенному затряс головой; оглядывая всех изуверским косящим взглядом, давясь слюной, закричал: — Нету им, христопродавцам, милости! Жиды какие из них есть — убить!.. Убить!.. Распять их!.. В огне их!..

Редкая волокнистая бороденка его тряслась, седые с красной подпалиной волосы растрепались. Он сел, задыхаясь, кирпично-бурый, мокрогубый.

— На поселение отправить. Али нет?..— нерешительно предложил один из членов суда, Дьяченко.

— Пострелять!

— К смёртной казни!

— Поддерживаю ихнее мнение!

— Казнить всех при народе!

— Сорную траву из поля вон!

— К смерти их!

— Расстрелять, конечно! О чем еще говорить? — возмутился Спиридонов.

С каждым выкриком углы рта есаула Попова, грубея в очертаниях, утрачивая недавнее добродушие сытого, довольного собой и окружающим человека, сползали вниз, каменели черствыми извивами.

— Расстрелять!.. Пиши!..— приказал он секретарю, заглядывая ему через плечо.

— А Подтелкова с Кривошлыковым... врагов этих — тоже расстрелять?.. Мало им! — запальчиво крикнул плотный престарелый казак, сидевший у окна, неустанно подкручивавший фитиль угасавшей лампы.

— Их, как главарей,— повесить! — коротко ответил Попов и повторил, обращаясь к секретарю: — Пиши: «Постановление. Мы, нижеподписавшиеся...»

Секретарь — тоже Попов, дальний родственник есаула, склонив белобрысую, гладко причесанную голову, заскрипел пером.

— Гасу, должно, не хватит...— Вздохнул кто-то сожалеюще.

Лампа помигивала. Фитиль чадил. В тишине звенела запаутиненная на потолке муха, скребло бумагу перо, да кто-то из членов суда сапно и тяжело дышал.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1918 года 27 апреля (10 мая) выборные от хуторов Каргиновской, Боковской и Краснокутской станиц

От Василевского	Максаев Степан
« Боковского	Кружилин Николай
« Фомина	Кумов Федор
« Верхне-Яблоновского	Кухтин Александр
« Нижне-Дулевского	Синев Лев
« Ильинского	Волоцков Семен
« Коньковского	Попов Михаил
« Верхне-Дуленского	Родин Яков
« Савостьянова	Фролов Алекс.
« станицы Милютинской	Февралев Максим
« Николаева	Грошев Михаил
« станицы Краснокутской	Еланкин Илья
« хут. Пономарева	Дьяченко Иван
« « Евлантьева	Кривов Николай
« « Малахова	Емельянов Лука
« Ново-Земцева	Коновалов Матвей
« Попова	Попов Михаил
« Астахова	Щегольков Василий
« Орлова	Чекунов Федор
« Климо-Федоровского	Чукарин Федор

под председательством В. С. Попова

ПОСТАНОВИЛИ

1) Всех грабителей и обманщиков трудового народа, поименованных в списке ниже, всего в числе 80 человек, подвергнуть смертной казни через расстреляние, причем для двух из них — Подтелкова и Кривошлыкова, как главарей этой партии,— смерть применить через повешение.

2) Казака хутора Михайловского Антона Калитвенцова за недостаточностью улик оправдать.

3) Бежавших из отряда Подтелкова и арестованных в Краснокутской станице: Константина Мельникова, Гаврила Мельникова, Василия Мельникова, Аксенова и Вершинина подвергнуть наказанию по пункту первому сего постановления (смертная казнь).

4) Наказание привести в исполнение завтра, 28 апреля (11 мая) в 6 час. утра.

5) В караул для наблюдения за арестованными назначить подъесаула Сенина, в распоряжение которого к 11 часам вечера сегодня выслать по два вооруженных винтовками казака: ответственность за неисполнение сего пункта возлагается на членов суда; наказание привести в исполнение караулу от каждого хутора; выслать на место расстрела по пять казаков.

Подлинное подписали:
Председатель воен. отдела *В. С. Попов.* Секретарь *А. Ф. Попов.*

СПИСОК

чинов отряда Подтелкова, приговоренных 27 апреля ст. ст. 1918 г.

военно-полевым судом к смертной казни

№№	Станицы	Имя и фамилия	Приговор
1	Усть-Хоперской	Федор Подтелков	Повешен.
2	Еланской	Михаил Кривошлыков	«
3	Казанской	Авраам Какурин	Расстрелян.
4	Букановской	Иван Лагутин	«
5	Нижегородской г.	Алексей Ив. Орлов	«
6	Нижегородской	Ефим. Мих. Вахтель	«
7	Усть-Быстрянской	Григорий Фетисов	«
8	Мигулинской	Гаврил Ткачев	«
9	Мигулинской	Павел Агафонов	«
10	Михайловской	Александр Бубнов	«
11	Луганской	Калинин	«
12	Мигулинской	Константин Мрыхин	«
13	Мигулинской	Андрей Коновалов	«
14	Полтавской г.	Константин Кирста	«
15	Котовской	Павел Поздняков	«
16	Мигулинской	Иван Болдырев	«
17	Мигулинской	Тимофей Колычев	«
18	Филим.-Челб.	Дмитрий Володаров	«
19	Чернышевской	Георгий Карпушин	«
20	Филим.-Челб.	Илья Калмыков	«
21	Мигулинской	Савелий Рыбников	«
22	Мигулинской	Поликарп Гуров	«
23	Мигулинской	Игнат Земляков	«
24	Мигулинской	Иван Кравцов	«
25	Ростов	Никифор Фроловский	«
26	Ростов	Александр Коновалов	«
27	Мигулинской	Петр Вихлянцев	«
28	Клецкой	Иван Зотов	«
29	Мигулинской	Евдоким Бабкин	«
30	Михайловской	Петр Свинцов	«
31	Добринской	Илларион Челобитчиков	«
32	Казанской	Климентий Дронов	«
33	Иловлинской	Иван Авилов	«
34	Казанской	Матвей Сакматов	«
35	Нижне-Курмоярской	Георгий Пупков	«
36	Терновской	Михаил Февралев	«
37	Херсонской г.	Василий Пантелеймонов	«
38	Казанской	Порфирий Любухин	«
39	Клецкой	Дмитрий Шамов	«
40	Филоновской	Сафон Шаронов	«

№№	Станицы	Имя и фамилия	Приговор
41	Мигулинской	Иван Губарев	«
42	Мигулинской	Федор Абакумов	«
43	Луганской	Кузьма Горшков	«
44	Гундоровской	Иван Изварин	«
45	Гундоровской	Мирон Калиновцев	«
46	Михайловской	Иван Фарафонов	«
47	Котовской	Сергей Горбунов	«
48	Нижне-Чирской	Петр Алаев	«
49	Мигулинской	Прокопий Орлов	«
50	Луганской	Никита Шеин	«
51	Ст. Механик РПТК	Александр Ясенский	«
52	Ростов	Михаил Поляков	«
53	Раздорской	Дмитрий Рогачев	«
54	Ростов	Роберт Фрашенбрудер	«
55	Ростов	Иван Силендер	«
56	Самарской г.	Константин Ефимов	«
57	Чернышевской	Михаил Овчинников	«
58	Самарской г.	Иван Пикалов	«
59	Иловлинской	Михаил Корецков	«
60	Кумшатской	Иван Коротков	«
61	Ростов	Петр Бирюков	«
62	Раздорской н/м	Иван Кабаков	«
63	Луковской	Тихон Молитвинов	«
64	Мигулинской	Андрей Швецов	«
65	Мигулинской	Степан Аникин	«
66	Кременской	Кузьма Дычкин	«
67	Баклановской	Петр Кабанов	«
68	Михайловской	Сергей Селиванов	«
69	Ростов	Артем Иванченко	«
70	Мигулинской	Николай Коновалов	«
71	Михайловской	Дмитрий Коновалов	«
72	Краснокутской	Петр Лысиков	«
73	Мигулинской	Василий Мирошников	«
74	Мигулинской	Иван Волохов	«
75	Мигулинской	Яков Гордеев	«

Трое из них не заявили о личности.

Секретарь, кончив переписывать список осужденных, поставил в конце постановления раскоряченное двоеточие, сунул перо в руку ближнему:

— Распишись!

Представитель хутора Ново-Земцева Коновалов, в парадном кителе серонемецкого сукна с красными лацканами на воротнике, виновато улыбаясь, слег над листом. Тол-

стые, мозолистые, воронено-черные пальцы, не сгибаясь, держали ученическую обгрызенную ручку.

— Грамотный-то я не дюже...— говорил он, старательно выводя заглавное «К».

Следом за ним расписался Родин, так же неуверенно водя ручкой, потея и хмурясь от напряжения. Еще один, предварительно потряхивая ручкой, беря разбег, расписался и убрал высунутый во время писания язык. Попов размашисто, с росчерком начертал свою фамилию, встал, вытирая влажное лицо платком.

— Список приложить надо,— позевывая, сказал он.

— Каледин на том свете спасибо нам скажет,— молодо улыбнулся Сенин, наблюдая за тем, как секретарь прижимает к выбеленной стене увлажненный чернилами лист.

На шутку что-то никто не ответил. Молчком покинули хату.

— Господи Исусе...— выходя, вздохнул кто-то в темных сенцах.

XXIX

В ночь эту, обрызганную молочным светом бледно-желтых звезд, в лавчушке, набитой людьми до отказа, почти не было сна. Короткие гасли разговоры. Духота и тревога душили людей.

С вечера попросился один из красногвардейцев на двор:

— Отвори, товарищ! До ветру хочу, по нужде надо сходить!..

Он стоял в выпущенной из шаровар бязевой исподней рубахе, вспатлаченный, босой, стоял и, прижимаясь почерневшим лицом к замочной скважине, повторял:

— Отвори же, товарищ!

— Бирюк тебе товарищ,— отозвался, наконец, кто-то из караульных.

— Отвори, братушка! — изменил обращение просивший.

Караульный поставил винтовку, послушал, как в темноте посвистывают крыльями дикие утки, перелетавшие на ночную кормежку, и, раскурив цигарку, прижался губами к скважине:

— Мочись под себя, сердяга. За ночь шароваров не износишь, а на зорьке и в мокрых в царство небесное пустят...

— Всё нам!..— отчаянно сказал красногвардеец, отходя от двери.

Сидели плечо к плечу. В углу Подтелков, опорожнив карманы, нарвал груду денег, пришептывая, матерно ругаясь. Покончив с деньгами, разулся и, трогая плечо Кривошлыкова, лежавшего рядом, заговорил:

— Ясно — нас обманули. Обманули, в господа мать!.. Обидно, Михайло! Мальчонкой был, бывало, за Дон на охоту пойдешь с отцовой флинтой [1], идешь по лесу, а он — зеленым шатром... К музге пройдешь — утки сидят. Промажу, бывало, и так мне обидно, хучь криком кричи. И вот зараз обидно — промаху дал: вышли б с Ростова на трое суток раньше — значит, не припало б тут смерть примать. Кверху ногами бы поставили всю контру!

Мученически скаля зубы, улыбаясь в темноту, Кривошлыков говорил:

— Черт с ними, пускай убивают! И помирать пока не страшно... «Боюсь одного я, что в мире ином — друг друга уж мы не узнаем...» Будем там с тобой, Федя, встречаться чужие один одному... Страшно!..

— Брось! — обидчиво гудел Подтелков, кладя на плечи соседа свои большие горячие ладони: — Не в этом дело...

Лагутин рассказывал кому-то про родной хутор, про то, как дед дразнил его «Клинком» за длинную голову, и про то, как порол его кнутом этот самый дед, захватив на чужой бахче.

Разные низались в ту ночь разговоры, бессвязные и обрывчатые.

Бунчук устроился у самых дверей, жадно ловил губами ветерок, сквозивший в дверную щель. Тасуя прожитое, он мельком вспомнил о матери и, пронизанный горячим уколом, с усилием отогнал мысль о ней, перешел в воспоминаниях к Анне, к недавним дням... Это доставило большое умиротворенно-счастливое облегчение. Меньше всего пугали его думы о смерти. Он не ощущал, как бывало, невнятной дрожи вдоль позвоночного столба, сосущей тоски при мысли о том, что у него отнимут жизнь. Он готовился к смерти, как к невеселому отдыху после горького и страдного пути, когда усталость так велика, так ноет тело, что волновать уже ничто не в состоянии.

---

[1] Флинта — старинное ружье.

Неподалеку от него и весело и грустно говорили о женщинах, о любви, о больших и малых радостях, что вплетала в сердце каждая каждому.

Говорили о семьях, о родных, о близких... Говорили о том, что хлеба хороши: грач в пшенице уже схоронится — и не видно. Жалковали по водке и по воле, ругали Подтелкова. Но уже сон покрывал многих черным крылом — измученные физически и нравственно, засыпали лежа, сидя, стоя.

Уже на заре один какой-то, то ли наяву, то ли во сне, расплакался навзрыд; страшно, как плачут взрослые грубые люди, с детства позабывшие соленый привкус слез. И сейчас же лопнула дремная тишина, закричали в несколько голосов:

— Замолчи, проклятый!

— Баба! — выпалом.

— Зоб вырву — за-мол-чи!..

— Слезу пустил, семьянин!..

— Тут спят люди, а он... совесть потерял!

Тот, кто заплакал,— хлюпая носом, сморкаясь, притих.

Совсем установилась было тишина. В разных углах светлели цигарки, но люди молчали. Пахло мужским потом, скученными здоровыми телами, папиросным дымом и пресным бражным запахом выпавшей за ночь росы.

В хуторе протрубил зорю петух. Послышались шаги, звяк железа.

— Кто идет? — негромко спросил один из караульных.

Кашлянув, ему ответил издалека молодой охотливый голос:

— Свои. Могилу подтелковским идем рыть.

В лавчушке разом все зашевелилось.

XXX

Отряд татарских казаков под командой хорунжего Петра Мелехова прибыл в хутор Пономарев 11 мая на рассвете.

По хутору сновали казаки-чирцы, вели на водопой коней, толпами шли на край хутора. Петро остановил отряд в центре хутора, приказал спешиться. К ним подошло несколько человек.

— Откуда, станишники? — спросил один.

— С Татарского.

— Припоздали вы трошки... Поймали без вас Подтелкова.

— Где же они? Не угнали отсюдова?

— А вон...— Казак махнул рукой на покатую крышу лавчушки, рассмеялся: — сидят, как куры в курятнике.

Христоня, Григорий Мелехов и еще несколько человек подошли поближе.

— Куда ж их, стал быть, направляют? — поинтересовался Христоня.

— К покойникам.

— Как так?.. Что ты брешешь? — Григорий схватил казака за полу шинели.

— Сбреши лучше, ваше благородие! — дерзко ответил казак и легонько освободился от Григорьевых цепких пальцев.— Вон, гляди,— им уж рели построили.— Он указал на виселицу, устроенную меж двух чахлых верб.

— Разводи коней по дворам! — скомандовал Петро.

* * *

Тучи обложили небо. Позванивал редкий дождь. На край хутора густо валили казаки и бабы. Население Пономарева, оповещенное о назначенной на шесть часов казни, шло охотно, как на редкое веселое зрелище. Казачки вырядились, будто на праздник, многие вели с собой детей. Толпа окружила выгон, теснилась около виселицы и длинной — до двух аршин глубиной — ямы. Ребятишки топтались по сырому суглинку насыпи, накиданной с одной стороны ямы; казаки, сходясь, оживленно обсуждали предстоящую казнь; бабы горестно шушукались.

Заспанный и серьезный, пришел есаул Попов. Он курил, жевал папиросу, ощеряя твердые зубы; казакам караульной команды хрипло приказал:

— Отгоните народ от ямы! Спиридонову передайте, чтобы вел первую партию! — глянул на часы и отошел в сторону, наблюдая, как теснимая караульными толпа народа пятится от места казни, окружает его слитным цветистым полукругом.

Спиридонов с нарядом казаков быстро шел к лавчушке. По пути встретился ему Петро Мелехов.

— От вашего хутора есть охотники?

— Какие охотники?

— Приводить в исполнение приговор.

— Нету и не будет! — резко ответил Петро, обходя преградившего дорогу Спиридонова.

Но охотники нашлись: Митька Коршунов, приглаживая ладонью выбившиеся из-под козырька прямые волосы, увалисто подошел к Петру, сказал, мерцая камышовой зеленью прижмуренных глаз:

— Я стре́льну... Зачем говоришь — «нет». Я согласен,— и улыбчиво потупил глаза: — Патронов мне дай. У меня одна обойма.

Он, бледный Андрей Кашулин, с лицом, скованным сильнейшим злым напряжением, и калмыковатый Федот Бодовсков — вызвались охотниками.

По сбитой плечо к плечу огромной толпе загуляли шепот и сдержанный гул, когда от лавки тронулась первая партия приговоренных, окруженная конвоировавшими их казаками.

Впереди шел Подтелков, босой, в широких галифе черного сукна и распахнутой кожаной куртке. Он уверенно ставил в грязь большие белые ноги, оскользался, чуть вытягивал левую руку, соблюдая равновесие. Рядом еле волочился смертно-бледный Кривошлыков. У него сухо блестели глаза, рот страдальчески дергался. Поправляя накинутую внапашку шинель, Кривошлыков так ежил плечи, будто ему было страшно холодно. Их почему-то не раздели, но остальные шли в одном белье. Лагутин семенил рядом с тяжеловесным на шаг Бунчуком. Оба они были босы. У Лагутина порванные исподники оголили желтокожую голень, поросшую редким волосом. Он шел, стыдливо придерживая порванную штанину, дрожа губами. Бунчук посматривал через головы конвоиров в серую запеленатую тучами даль. Трезвые холодные глаза его выжидающе, напряженно мигали, широкая ладонь ползала под распахнутым воротником сорочки, гладя поросшую дремучим волосом грудь. Казалось, ждал он чего-то несбыточного и отрадного... Некоторые хранили на лицах подобие внешнего безразличия: седой большевик Орлов — тот задорно махал руками, поплевывал под ноги казаков, зато у двух или трех было столько глухой тоски в глазах, такой беспредельный ужас в искаженных лицах, что даже конвойные отводили от них глаза и отворачивались, повстречавшись случайным взглядом.

Идут быстро. Подтелков поддерживает поскользнувшегося Кривошлыкова. Приближается белеющая платками в красно-синем разливе фуражек толпа. Исподлобья

поглядывая на нее, Подтелков громко, безобразно ругается и вдруг спрашивает, поймав сбоку взгляд Лагутина:

— Ты что?

— Поседел ты за эти деньки... Ишь песик-то тебе как покропило...

— Небось поседеешь,— трудно вздыхает Подтелков; вытирая пот на узком лбу, повторяет: — Небось, поседеешь от такой приятности... Бирюк — и то в неволе седеет, а ить я — человек.

Больше они не говорят ни слова. Толпа придвигается вплотную. Виден справа желтоглинный продолговатый шов могилы. Спиридонов командует:

— Стой!

И сейчас же Подтелков делает шаг вперед, устало обводит глазами передние ряды народа: всё больше седые и с проседью бороды. Фронтовики где-то позади — совесть точит. Подтелков чуть шевелит обвислыми усами, говорит глухо, но внятно:

— Старики! Позвольте нам с Кривошлыковым поглядеть, как наши товарищи будут смерть принимать. Нас повесите опосля, а зараз хотелось бы нам поглядеть на своих друзьев-товарищей, поддержать, которые духом слабы.

Так тихо, что слышно, как стукотит о фуражки дождь...

Есаул Попов, где-то позади, улыбается, желтея обкуренным карнизом зубов; он не возражает, старики несогласно, вразброд выкрикивают:

— Дозволяем!

— Нехай побудут!

— Отведите их от ямы!

Кривошлыков и Подтелков шагают в толпу, перед ними раздаются, стелют улочку. Они становятся неподалеку, сжатые со всех сторон людьми, ощупываемые сотнями жадных глаз: смотрят, как неумело строят казаки поставленных затылками к яме красногвардейцев. Подтелкову видно хорошо, Кривошлыков же вытягивает тонкую небритую шею, приподнимается на цыпочках.

Крайним слева стоит Бунчук. Он чуть сутулится, дышит тяжело, не поднимая приземленного взгляда. За ним, натягивая подол рубахи на порванную штанину, гнется Лагутин, третий — тамбовец Игнат, следующий — Ванька Болдырев, изменившийся до неузнаваемости, постаревший по меньшей мере на двадцать лет. Подтелков пытается разглядеть пятого: с трудом узнает казака станицы Ка-

занской Матвея Сакматова, делившего с ним все невзгоды и радости с самой Каменской. Еще двое подходят к яме, поворачиваются к ней спиной. Петро Лысиков вызывающе и нагло смеется, выкрикивает матерные ругательства, грозит притихшей толпе скрюченным грязным кулаком. Корецков молчит. Последнего несли на руках. Он запрокидывался, чертил землю безжизненно висящими ногами и, цепляясь за волочивших его казаков, мотая залитым слезами лицом, вырывался, хрипел:

— Пустите, братцы! Пустите, ради господа бога! Братцы! Милые! Братушки!.. Что вы делаете?! Я на германской четыре креста заслужил!.. У меня детишки!.. Господи, неповинный я!.. Ой, да за что же вы?..

Рослый казак-атаманец ударил его коленом в грудь, кинул к яме. Тут только Подтелков узнал сопротивлявшегося и ужаснулся: это был один из наиболее бесстрашных красногвардейцев, мигулинский казак 1910 года присяги, георгиевский кавалер всех четырех степеней, красивый светлоусый парень. Его подняли на ноги, но он упал опять; ползал в ногах казаков, прижимаясь спекшимися губами к их сапогам, к сапогам, которые били его по лицу, хрипел задушенно и страшно:

— Не убивайте! Поимейте жалость!.. У меня трое детишков... девочка есть... родимые мои, братцы...

Он обнял колени атаманца, но тот рванулся, отскочил, с размаху ударил его подкованным каблуком в ухо. Из другого уха цевкой стрельнула кровь, потекла за белый воротник.

— Станови его! — яростно закричал Спиридонов.

Кое-как подняли, поставили, отбежали прочь. В противоположном ряду охотники взяли винтовки наизготовку. Толпа ахнула и замерла. Дурным голосом визгнула какая-то баба...

Бунчуку хотелось еще и еще раз глянуть на серую дымку неба, на грустную землю, по которой мыкался он двадцать девять лет. Подняв глаза, увидел в пятнадцати шагах сомкнутый строй казаков: один, большой, с прищуренными зелеными глазами, с челкой, упавшей из-под козырька на белый узкий лоб, клонясь вперед, плотно сжимая губы, целил ему — Бунчуку — прямо в грудь. Еще до выстрела слух Бунчука полоснуло заливистым вскриком; повернул голову: молодая веснушчатая бабенка, выскочив из толпы, бежит к хутору, одной рукой прижимая к груди ребенка, другой — закрывая ему глаза.

После разнобоистого залпа, когда восемь стоявших у ямы попа́дали вразвалку, стрелявшие подбежали к яме.

Митька Коршунов, увидев, что подстреленный им красногвардеец, подпрыгивая, грызет зубами свое плечо, выстрелил в него еще раз, шепнул Андрею Кашулину:

— Глянь вот на этого черта — плечо себе до крови надкусил и помер, как волчуга, молчком.

Десять приговоренных, подталкиваемые прикладами, подошли к яме...

После второго залпа в голос заревели бабы и побежали, выбиваясь из толпы, сшибаясь, таща за руки детишек. Начали расходиться и казаки. Отвратительнейшая картина уничтожения, крики и хрипы умирающих, рев тех, кто дожидался очереди,— все это безмерно жуткое, потрясающее зрелище разогнало людей. Остались лишь фронтовики, вдоволь видевшие смерть, да старики из наиболее остервенелых.

Приводили новые партии босых и раздетых красногвардейцев, менялись охотники, брызгали залпы, сухо потрескивали одиночные выстрелы. Раненых добивали. Первый настил трупов в перерывы, спеша, засыпали землей.

Подтелков и Кривошлыков подходили к тем, кто дожидался очереди, пытались ободрить, но слова не имели былого значения — иное владело в этот миг людьми, чья жизнь минуту спустя должна была оборваться, как надломленный черенок древесного листа.

Григорий Мелехов, протискиваясь сквозь раздерганную толпу, пошел в хутор и лицом к лицу столкнулся с Подтелковым. Тот, отступая, прищурился:

— И ты тут, Мелехов?

Синеватая бледность облила щеки Григория, он остановился.

— Тут. Как видишь...

— Вижу...— вкось улыбнулся Подтелков, с вспыхнувшей ненавистью глядя на его побелевшее лицо.— Что же, расстреливаешь братов? Обвернулся?.. Вон ты какой...— Он, близко придвинувшись к Григорию, шепнул: — И нашим и вашим служишь? Кто больше даст? Эх ты!..

Григорий поймал его за рукав, спросил, задыхаясь:

— Под Глубокой бой помнишь? Помнишь, как офицеров стреляли... По твоему приказу стреляли! А? Теперича тебе отрыгивается! Ну, не тужи! Не одному тебе чужие

шкуры дубить! Отходился ты, председатель Донского Совнаркома! Ты, поганка, казаков жидам продал! Понятно? Ишо сказать?

Христоня, обнимая, отвел в сторону взбесившегося Григория.

— Пойдем, стал быть, к коням. Ходу! Нам с тобой тут делать нечего. Господи божа, что делается с людьми!..

Они пошли, потом остановились, заслышав голос Подтелкова. Облепленный фронтовиками и стариками, он высоким страстным голосом выкрикивал:

— Темные вы... слепые! Слепцы вы! Заманули вас офицерья, заставили кровных братов убивать! Вы думаете, ежли нас побьете, так этим кончится? Нет! Нынче ваш верх, а завтра уж вас будут расстреливать! Советская власть установится по всей России. Вот попомните мои слова! Зря кровь вы чужую льете! Глупые вы люди!

— Мы и с энтими этак управимся! — выскочил какой-то старик.

— Всех, дед, не перестреляете,— улыбнулся Подтелков.— Всю Россию на виселицу не вздернешь. Береги свою голову! Всхомянетесь вы после, да поздно будет!

— Ты нам не грози!

— Я не грожу. Я вам дорогу указываю.

— Ты сам, Подтелков, слепой! Москва тебе очи залепила!

Григорий, не дослушав, пошел, почти побежал к двору, где, привязанный, слыша стрельбу, томился его конь. Подтянув подпруги, Григорий и Христоня намётом выехали из хутора,— не оглядываясь, перевалили через бугор.

А в Пономареве все еще пыхали дымками выстрелы: вешенские, каргинские, боковские, краснокутские, милютинские казаки расстреливали казанских, мигулинских, раздорских, кумшатских, баклановских казаков...

Яму набили доверху. Присыпали землей. Притоптали ногами. Двое офицеров, в черных масках, взяли Подтелкова и Кривошлыкова, подвели к виселице.

Подтелков мужественно, гордо подняв голову, взобрался на табурет, расстегнул на смуглой толстой шее воротник сорочки и сам, не дрогнув ни одним мускулом, надел на шею намыленную петлю. Кривошлыкова подвели, один из офицеров помог ему подняться на табурет, он же накинул петлю.

— Дозвольте перед смертью последнее слово сказать,— попросил Подтелков.

— Говори!

— Просим! — закричали фронтовики.

Подтелков повел рукой по поредевшей толпе:

— Глядите, сколько мало осталось, кто желал бы глядеть на нашу смерть. Совесть убивает! Мы за трудовой народ, за его интересы дрались с генеральской псюрней, не щадя живота, и теперь вот гибнем от вашей руки! Но мы вас не клянем!.. Вы — горько обманутые! Заступит революционная власть, и вы поймете, на чьей стороне была правда. Лучших сынов тихого Дона поклали вы вот в эту яму...

Поднялся возрастающий говор, голос Подтелкова зазвучал невнятней. Воспользовавшись этим, один из офицеров ловким ударом выбил из-под ног Подтелкова табурет. Все большое грузное тело Подтелкова, вихнувшись, рванулось вниз, и ноги достали земли. Петля, захлестнувшая горло, душила, заставляла тянуться вверх. Он приподнялся на цыпочки — упираясь в сырую притолоченную землю большими пальцами босых ног, хлебнул воздуха и, обводя вылезшими из орбит глазами притихшую толпу, негромко сказал:

— Ишо не научились вешать... Кабы мне пришлось, уж ты бы, Спиридонов, не достал земли...

Изо рта его обильно пошла слюна. Офицеры в масках и ближние казаки затомашились, с трудом подняли на табурет обессилевшее тяжелое тело.

Кривошлыкову не дали окончить речь: табурет вылетел из-под ног, стукнулся о брошенную кем-то лопату. Сухой, мускулистый Кривошлыков долго раскачивался, то сжимаясь в комок так, что согнутые колени касались подбородка, то вновь вытягиваясь в судороге... Он еще жил в конвульсиях, еще ворочал черным, упавшим на сторону языком, когда из-под ног Подтелкова вторично вырвали табурет. Вновь грузно рванулось вниз тело, лопнул на плече шов кожаной куртки, и опять кончики пальцев достали земли. Толпа казаков глухо охнула. Некоторые, крестясь, стали расходиться. Столь велика была наступившая растерянность, что с минуту все стояли, как завороженные, не без страха глядя на чугуневшее лицо Подтелкова.

Но он был безмолвен, горло засмыкнула петля. Он только поводил глазами, из которых ручьями падали сле-

зы, да, кривя рот, пытаясь облегчить страдания, весь мучительно и страшно тянулся вверх.

Кто-то догадался: лопатой начал подрывать землю. Спеша рвал из-под ног Подтелкова комочки земли, и с каждым взмахом все прямее обвисало тело, все больше удлинялась шея и запрокидывалась на спину чуть курчавая голова. Веревка едва выдерживала шестипудовую тяжесть; потрескивая у перекладины, она тихо качалась и, повинуясь ее ритмичному ходу, раскачивался Подтелков, поворачиваясь во все стороны, словно показывая убийцам свое багрово-черное лицо и грудь, залитую горячими потоками слюны и слез.

XXXI

Мишка Кошевой и Валет только на вторую ночь вышли из Каргинской. Туман пенился в степи, клубился в балках, ник в падинах, лизал отроги яров. Опушенные им, светлели курганы. Кричали в молодой траве перепела. Да в небесной вышине плавал месяц, как полнозрелый цветок кувшинки в заросшем осокой и лещуком пруду.

Шли до зари. Выцвели уже Стожары. Пала роса. Близился хутор Нижне-Яблоновский. И вот тут-то, в трех верстах от хутора, на гребне догнали их казаки. Шесть всадников шли за ними, топча следы. Кинулись было Мишка с Валетом в сторону, но трава низка, месяц светел... Попались... Погнали их обратно. Саженей сто двигались молча. Потом выстрел... Валет, путая ногами, пошел боком, боком, как лошадь, испугавшаяся своей тени. И не упал, а как-то прилег, неловко, лицом в сизый куст полынка.

Минут пять шел Мишка, не чуя тела, звон колыхался в ушах, на сухом вязли ноги. Потом спросил:

— Чего же не стреляете, сукины дети? Чего томите?

— Иди, иди. Помалкивай! — ласково сказал один из казаков.— Мужика убили, а тебя прижалели. Ты в Двенадцатом в германскую был?

— В Двенадцатом.

— Ишо послужишь в Двенадцатом. Парень ты молодой. Заблудился трошки, ну, да это не беда. Вылечим!

«Лечил» Мишку через три дня военно-полевой суд в станице Каргинской. Было у суда в те дни две меры наказания: расстрел и розги. Приговоренных к расстрелу

ночью выгоняли за станицу, за Песчаный курган, а тех, кого надеялись исправить, розгами наказывали публично на площади.

В воскресенье с утра, как только поставили среди площади скамью, начал сходиться народ. Забили всю площадь, полно набралось на прилавках, на сложенных у сараев пластинах, на крышах домов, лавок. Первого выпороли Александрова — сына грачевского попа. Рьяным слыл большевиком, по делу — расстрелять бы, но отец — хороший поп, всеми уважаемый, решили на суде всыпать поповскому сыну десятка два розог. С Александрова спустили штаны, разложили голоштанного на лавке, один казак сел на ноги (руки связали под лавкой), двое с пучками таловых хворостин стали по бокам. Всыпали. Встал Александров, отряхнулся и, собирая штаны, раскланялся на все четыре стороны. Уж больно рад был человек, что не расстреляли, поэтому раскланялся и поблагодарил:

— Спасибо, господа старики!

— Носи на здоровье! — ответил кто-то.

И такой дружный гогот пошел по площади, что даже арестованные, сидевшие тут же неподалеку, в сарае, заулыбались.

Всыпали и Мишке по приговору двадцать горячих. Но еще горячее боли был стыд. Вся станица — и стар и мал — смотрела. Подобрал Мишка шаровары и, чуть не плача, сказал поровшему его казаку:

— Непорядки!

— А чем?

— Голова думала, а ж... отвечает. Срамота на всю жисть!

— Ничего, стыд не дым, глаза не выест,— утешал казак и, желая сделать приятное наказанному, сказал: — А крепок ты, паренек: раза два рубанул я тебя неплохо, хотелось, чтоб крикнул ты... гляжу: нет, не добьешься от этого крику. Надысь одного секли — обмарался голубок. Значит, кишка у него тонка.

На другой же день, согласно приговору, отправили Мишку на фронт.

Валета через двое суток прибрали: двое яблоновских казаков, посланных хуторским атаманом, вырыли неглубокую могилу, долго сидели, свесив в нее ноги, покуривая.

— Твердая тут на отводе земля,— сказал один.

— Железо прямо-таки! Сроду ить не пахалась, захрясла от давних времен.

— Да... в хорошей земле придется парню лежать, на вышине... Ветры тут, сушь, солнце... Не скоро испортится.

Они поглядели на прижавшегося к траве Валета, встали.

— Разуем?

— А то чего ж, на нем сапоги ишо добрые.

Положили в могилу по-христиански: головой на запад; присыпали густым черноземом.

— Притопчем? — спросил казак помоложе, когда могила сравнялась с краями.

— Не надо, пущай так,— вздохнул другой.— Затрубят ангелы на Страшный суд — все он проворней на ноги встанет...

Через полмесяца зарос махонький холмик подорожником и молодой полынью, заколосился на нем овсюг, пышным цветом выжелтилась сбоку сурепка, махорчатыми кистками повис любушка-донник, запахло чабрецом, молочаем и медвянкой. Вскоре приехал с ближнего хутора какой-то старик, вырыл в головах могилы ямку, поставил на свежеоструганном дубовом устое часовню. Под треугольным навесом ее в темноте теплился скорбный лик божьей матери, внизу на карнизе навеса мохнатилась черная вязь славянского письма:

В годину смуты и разврата
Не осудите, братья, брата.

Старик уехал, а в степи осталась часовня горюнить глаза прохожих и проезжих извечно унылым видом, будить в сердцах невнятную тоску.

И еще — в мае бились возле часовни стрепета, выбили в голубом полынке точок, примяли возле зеленый разлив зреющего пырея; бились за самку, за право на жизнь, на любовь, на размножение. А спустя немного тут же возле часовни, под кочкой, под лохматым покровом старюки-полыни, положила самка стрепета девять дымчато-синих крапленых яиц и села на них, грея их теплом своего тела, защищая глянцевито оперенным крылом.

СОДЕРЖАНИЕ

ТИХИЙ ДОН

Книга вторая

Михаил Александрович
ШОЛОХОВ

Собрание сочинений
ТОМ 2

Редактор Т. Халилова

Художественный редактор
Е. Ененко

Технический редактор
С. Ефимова

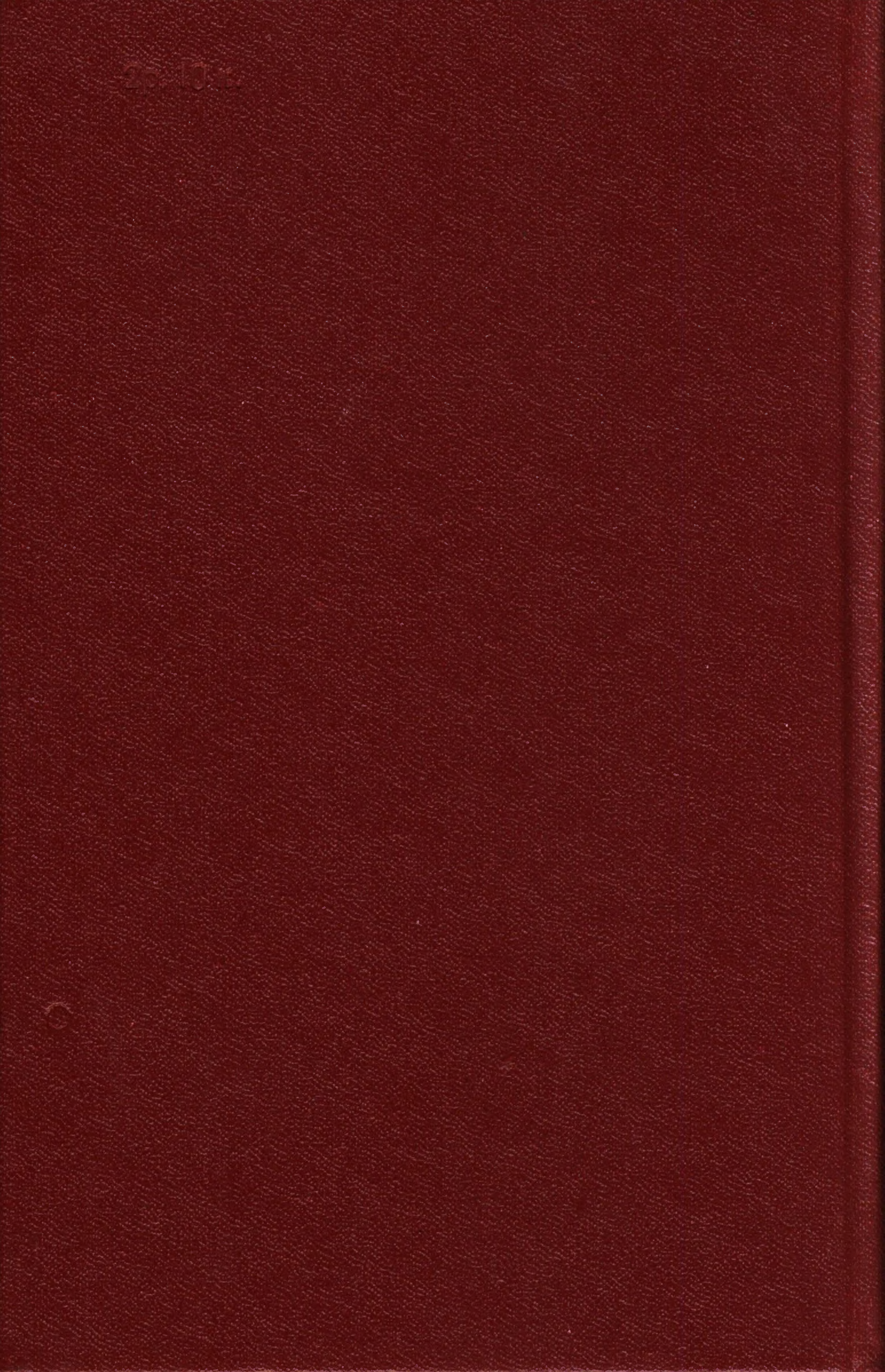
Корректоры
Т. Калинина, И. Филатова

ИБ № 4183

Сдано в набор 13.08.84. Подписано в печать 25.03.85. Формат 84×108[1]/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 18,48. Усл. кр.-отт. 18,48. Уч.-изд. л. 20,31. Тираж 1 000 000 экз. Изд. № III-1817. Заказ № 1540. Цена 2 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78.,Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.




МИХАИЛ ШОЛОХОВ
2